

Э. КОСЕРИУ



СИНХРОНИЯ, ДИАХРОНИЯ И ИСТОРИЯ



УРСС

*Лингвистическое Наследие XX века*



*Э. Косериу*

**Синхрония,  
диакрония  
и история**



УРСС

**E.Coseriu**  
**Sincronía, diacronía**  
**e historia**

El problema del cambio lingüístico

Montevideo, 1958



**Э.Косериу**  
**Синхрония, диахрония**  
**и история**  
(Проблема языкового изменения)

*Перевод с испанского*  
**И.А.МЕЛЬЧУКА**

Издание второе,  
стереотипное



**УРСС**  
**Москва • 2001**

Серия «Лингвистическое наследие XX века»

**Косериу Э.**

**Синхрония, диахрония и история (проблема языкового изменения).**  
2-е изд., стереотипное. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — 204 с.

ISBN 5–8360–0258–4

Э. Косериу — профессор Тюбингенского университета, в прошлом руководитель отделения лингвистики в Монтевидео (Уругвай) — является автором большого количества работ, затрагивающих наиболее острые проблемы современного теоретического языкознания.

Предлагаемая читателям книга, как и все теоретические работы Э. Косериу, отличается широким научным кругозором, хорошей документированностью и смелостью мысли. Э. Косериу, будучи в курсе как старой, так и самой новейшей лингвистической литературы, для решения собственно лингвистических вопросов нередко прибегает к общефилософским посылкам (используя труды философов от Аристотеля и св. Августина до Дюркгейма и Хайдеггера). Он делает немало тонких разграничений и замечаний. Употребляя несколько условное разделение, его работу следует отнести не столько к теоретическому (или общему) языкознанию, сколько к философии языка.

Издательство «Эдиториал УРСС». 113208, г. Москва, ул. Чертановская, д. 2/11, к. п.  
Лицензия ИД № 03216 от 10.11.2000 г. Пигиенический сертификат на выпуск книжной  
продукции № 77.ФЦ.8.953.П.270.3.99 от 30.03.99 г. Подписано к печати 23.03.2001 г.  
Формат 60×84/16. Тираж 400 экз. Печ. л. 13.

Отпечатано в ООО «Орбита». Тульская обл., г. Плавск, ул. Сурикова, 7.

**Эдиториал УРСС**  
научная и учебная литература

ISBN 5–8360–0258–4



Тел./факс: 7(095)135–44–23  
Тел./факс: 7(095)135–42–46  
E-mail: urss@urss.ru  
Каталог изданий в Internet: <http://urss.ru>

© Оригинал: Э. Косериу, 1958  
© Перевод: И. А. Мельчук, 1963, 2001  
© Эдиториал УРСС, 2001

«...потому что сокровища разума не откуда-либо еще, а именно из самого разума нашего мы черпаем».

(Д ж. Б р у н о, О бесконечном)

## І. ЯВНЫЙ ПАРАДОКС ЯЗЫКОВОГО ИЗМЕНЕНИЯ. АБСТРАКТНЫЙ ЯЗЫК И СИНХРОННАЯ ПРОЕКЦИЯ

1.1. Проблема языкового изменения явно заключает в себе глубокое противоречие. В самом деле, уже то, что мы обсуждаем эту проблему в причинных терминах и задаемся вопросом, *почему изменяются языки* (как будто они не должны изменяться), подразумевает, очевидно, *естественную устойчивость*, нарушаемую и даже отрицаемую развитием, которое представляется противоречащим самой сущности языка. Именно это и называют иногда парадоксом языка; так, Ш. Балли пишет: «Языки непрерывно изменяются, однако они могут функционировать только не изменяясь»<sup>1</sup>. Более того, язык является «синхронным по определению»; рассматривать его как нечто неустойчивое, изменяющееся и эволюционирующее — значит применять к нему «точку зрения, которая, по сути дела, несовместима с идеей языка». Так полагает шведский ученый Б. Мальмберг, для которого «развивающийся язык» — это *contradictio in adiecto*, «разумеется, если понимать под языком систему в строгом смысле этого термина»<sup>2</sup>. Было бы естественно, если бы язык не изменялся: «Если язык — это система, в которой все взаимосвязано, а его назначением

<sup>1</sup> «Linguistique générale et linguistique française», Bern, 1950, стр. 18.

<sup>2</sup> «Système et méthode», Lund, 1945, стр. 25—26. Эту же идею Мальмберг отстаивает в «Studia Linguistica», III, стр. 134. Ср. также L. Hjelmslev, «Acta Linguistica», IV, 3, стр. VII: «Глоссематика отрицает подход, при котором некоторое состояние языка рассматривается просто как преходящий момент эволюции, как нечто зыбкое и непрерывно меняющееся».

является взаимопонимание в обществе, использующем язык, то следовало бы ожидать устойчивости языка как системы, адекватно исполняющей свою функцию»<sup>3</sup>. Указывается, что именно так и было бы в действительности, если бы не вмешивались внешние факторы неустойчивости: «Без воздействия факторов внешнего порядка языковая система, уравновешенная по определению, была бы обречена на вечную устойчивость, на неподвижность»<sup>4</sup>. Отсюда известное разграничение внешних и внутренних факторов: первые считаются причиной изменений, вторые же якобы сопротивляются изменениям и восстанавливают нарушенное равновесие системы<sup>5</sup>.

1.2. Нетрудно указать постоянный источник, к которому непосредственно восходят подобные утверждения, относящиеся к статической концепции языка,— это положение Соссюра о том, что «сама по себе система неизменяема»<sup>6</sup>. Правда, может показаться странным, что такие утверждения встречаются как у ученых, культивирующих диахронический структурализм, зачинателями которого были фонологи Пражского кружка, так и у тех, кто полагает, что соблюдает большую верность соссюрским принципам, сохраняя совершенно отчетливую границу между диахронией и синхронией, и считает более «лингвистической» синхроническую точку зрения. Как и Балли, Б. Мальмберг принадлежит к этой последней группе. По его мнению, «единственный метод, который может принять лингвистика и который гармонирует с самой природой изучаемого объекта,— это синхронический метод»; из двух возможных аспектов — статического и динамического — только первый соответствует, по мнению Мальмберга, «гению языка»<sup>7</sup>. В этом он является, несомненно, ортодок-

<sup>3</sup> E. Alarcos Llorach, *Fonología española*, Madrid, 1954, стр. 97: «Однако,— добавляет Льюрач,— имеет место обратное: система изменяется».

<sup>4</sup> A. G. Haudricourt и A. G. Juillard, *Essai pour une histoire structurale du phonétisme français*, Paris, 1949, стр. 5—6. Но как мы можем знать, что случилось бы, если бы произошло то, что никогда и никак не происходит и что, таким образом, остается вне всякого опыта?

<sup>5</sup> Ср. E. Alarcos Llorach, *Fonología*, стр. 100 и сл. По Мальмбергу («Système», стр. 26), «эволюция языка обусловлена только внешними факторами и несовершенством системы».

<sup>6</sup> «Cours de linguistique générale», исп. перев. «Curso de Lingüística General» [CLG], B. Aires, 1945, стр. 154.

<sup>7</sup> «Système», стр. 32.

сальным соссюррианцем, ибо Соссюр думал точно так же: «Если лингвист встанет на диахроническую точку зрения, то он увидит не язык, а ряд явлений, изменяющих язык. Обычно говорят, что нет ничего важнее, чем понять происхождение данного состояния... однако именно это доказывает, что цель диахронии отнюдь не в ней самой»<sup>8</sup>.

1.3. В противоположность упомянутым утверждениям задача настоящей работы состоит в том, чтобы показать: а) что пресловутого парадокса языкового изменения в действительности не существует: он объясняется смещением перспективы, которое проявляется главным образом в отождествлении (явном или неявном) «языка» и «синхронической проекции»; б) что проблема языкового изменения не может и не должна ставиться в причинных терминах; в) что указанные утверждения все-таки основываются на правильной интуиции, которая, однако, затемняется и ошибочно интерпретируется, поскольку исследуемому объекту приписывается то, что вводится только для нужд исследования. Отсюда и появляются все противоречия, с которыми неизбежно сталкиваются авторы упомянутых утверждений; г) что антиномию «синхрония — диахрония» следует отнести не к плоскости объекта, а к плоскости исследования, т. е. она относится не к речевой деятельности, а к лингвистике; д) что у самого Соссюра — в той мере, в какой действительность языка проникла в его теорию в обход его постулатов и даже вопреки им, — можно найти элементы для преодоления указанной антиномии *в том смысле, в каком она преодолима*; е) что, однако, концепция Соссюра и другие разившиеся из нее концепции содержат существенную ошибку, которая мешает им преодолеть внутренние противоречия; ж) что нет никакого противоречия между «системой» и «историчностью», наоборот, историчность языка обуславливает его системность; з) что в плане исследования антиномия «синхрония — диахрония» может быть преодолена только в истории и с помощью истории.

1.4. В последнее время часто говорилось о необходимости ослабить категоричность соссюрвских дихотомий<sup>9</sup>. Справедливо указывали, что необходимо заполнить пропасть, вырытую Соссюром между *языком* и *речью*. Что же

<sup>8</sup> CLG, стр. 161.

<sup>9</sup> Cp. E. Coseriu, *Forma y sustancia en los sonidos del lenguaje*, Montevideo, 1954, стр. 11—13.

касается «языка», то настаивали на необходимости заполнить пропасть между *диахронией* и *синхронией*<sup>10</sup>. Это во многих отношениях необходимо, хотя маловероятно, что это обеспечит единство лингвистики: ведь лингвистика отнюдь не является целиком сосюрговской, да и вряд ли желательно, чтобы она была таковой. Следует заметить, что антиномии Соссюра были сознательно отвергнуты целым рядом ученых<sup>11</sup>. Но еще важнее показать, что пресловутые пропасти вообще не существуют<sup>12</sup> или, точнее, что они появились из-за частого смешения плана исследуемого объекта с планом исследовательского процесса в результате подлинного *transitus ab intellectu ad rem*<sup>13</sup>.

2.1. Прежде всего следует подчеркнуть, что авторы, цитируемые нами, не отрицают того, что в *действительности* язык изменяется. Следовательно, несовместимость имеет место не между изменением и *действительностью языка*, а между изменением и определенным *представлением* о «языке». Но, поскольку изменение реально, приходится признать, что это представление неадекватно. Явные конфликты между разумом и реальностью являются на самом деле конфликтами разума с самим собой: ведь не действительность должна приспособливаться к интеллекту, а наоборот. Поэтому если реальный язык не является таким, каким он «должен был бы быть», то есть «системой в строгом смысле этого термина», то он или не соответствует никакой реальности (и в таком случае речь идет о чисто формальном определении, об условном понятии), или соответствует *другому* объекту, а не реальному языку. Однако этот

<sup>10</sup> См. A. Martinet, *The unity of linguistics*, «Word», X, стр. 125.

<sup>11</sup> Среди многих критиков Соссюра достаточно назвать *unus sed leonem*. В своем обзоре «Курса» (1917) Г. Шухардт писал относительно разграничения синхронической и диахронической лингвистики: «Для меня это выглядит так, как если бы учение о координатах пытались разделить на учение об ординатах и учение об абсциссах. Покой и движение (взяты в самом широком смысле) как вообще, так и в частности в языке не образуют противопоставления; лишь движение действительно, лишь покой воспринимаем» (Hugo Schuchardt-Brevier<sup>2</sup>, Halle, 1928, стр. 330).

<sup>12</sup> Ср. E. Coseriu, *Sistema, norma y habla*, Montevideo, 1952 [SNH].

<sup>13</sup> См. по этому поводу тонкую статью Боргстрёма (C. Hj. B orgström, *The technique of linguistic descriptions*, «Acta Linguistica», V, стр. 1—14), которая помогает решить или, вернее, устранить ряд проблем современной лингвистики именно тем, что вскрывает их бесосновательность.

другой объект может соответствовать определенному способу рассмотрения реального языка.

2.2. В действительности имеет место последнее: неизменяющийся язык — это *абстрактный язык* (который, впрочем, не является нереальным: различие между конкретным и абстрактным не должно смешиваться с другим различием — между реальным и нереальным). Никто никогда не видел грамматики, которая бы изменилась сама собой, или словаря, который обогатился бы по своей собственной воле. От так называемых «внешних факторов» не зависит только абстрактный язык, зафиксированный в грамматике и словаре. Изменяется же *реальный язык в своем конкретном существовании*. И этот язык невозможно изолировать от «внешних факторов», то есть от всего того, что составляет физическую сторону речи, историческую обстановку и присущую говорящим свободу выражения. Этот язык дан только в говорении: «Язык не живет своей особой жизнью вне или помимо жизни говорящих»<sup>14</sup>.

2.3.1. При *синхронном рассмотрении языка* также не изменяется. «Засвидетельствовать изменение [как таковое] в синхронии» никоим образом невозможно; первый принцип при синхронном изучении языка — это сознательное игнорирование развития и изменения. Это не противоречит ни тому, что в языке есть взаимозависимость между «бытием» и «становлением»<sup>15</sup>, ни тому, «что любое состояние языка является *синхронным*, но не *статическим*»<sup>16</sup>. В действительности же в сосюрговской концепции речь идет не о том, что представляет собой состояние языка, и не о двух *способах существования языка*, а только и исключительно о том, как именно мы рассматриваем язык. Соссюр говорит, что «синхроническое можно сравнить с проекцией тела на плоскость. Эта проекция непосредственно зависит от проектируемого тела, и, однако, она представляет собой

---

<sup>14</sup> N. H a r t m a n n, *Das Problem des geistigen Seins*<sup>2</sup>, Berlin, 1949, стр. 219.

<sup>15</sup> Ср. по этому поводу работу W. von W a r t b u r g, *Einführung in Problematik und Methodik des Sprachwissenschaft*, исп. перев. «*Problemas y métodos de la lingüística*», Madrid, 1951, стр. 13 и сл., 229 и сл.

<sup>16</sup> См. R. J a k o b s o n в «*Results of the Conference of Anthropologists and Linguists*», приложение к *IJAL*, XIX, 2, Baltimore, 1953, стр. 17—18. С другой стороны, сам Соссюр (*CLG*, стр. 50) указывает, что «в каждый данный момент речевая деятельность предполагает одновременно фиксированную систему и эволюцию».

совсем иную, отличную от самого тела вещь»<sup>17</sup>. И тут же Соссюр добавляет, что то же самое отношение имеет место «между исторической действительностью и состоянием языка». Это может означать лишь, что «синхроническое», или «состояние языка», является для Соссюра *не* исторической действительностью состояния языка, а проекцией этого состояния на неподвижный экран исследователя. Естественный язык можно вполне удовлетворительно понимать как «установление, которое находится не в статическом, а в динамическом равновесии» и которое исключительно для целей исследования «можно рассматривать как неподвижное»<sup>18</sup>. Однако мы не можем представлять себе язык в одно и то же время как подвижный и как неподвижный. Одно дело — говорить, что «Система и Движение взаимно обусловлены»<sup>19</sup>, — по этому поводу нет сомнений. Совсем другое дело — указывать, что описание *системы* и описание *движения* (*описание системы в движении*) должны обязательно располагаться на двух разных плоскостях: здесь речь идет не о действительности языка, а о *позиции исследователя*. Независимым от диахронии является *синхронное описание*, а не реальное *состояние языка*, которое всегда представляет собой «результат» предшествующего состояния и даже для самого Соссюра есть продукт исторических факторов»<sup>20</sup>. Соссюр говорит как раз об *описании*, хотя он и не проводит достаточно ясного различия между «реальным» (историческим) состоянием языка и «спроецированным» состоянием языка. В своем знаменитом сравнении с шахматами Соссюр говорит: «Чтобы описать (NB!) шахматную позицию совершенно незачем вспоминать, что случилось на доске десять секунд тому назад»<sup>21</sup>. В другом месте Соссюр настаивает на том, что для *описания* языка надо выбрать его «состояние»<sup>22</sup>. Таким образом, соссюровская антиномия, ошибочно перенесенная в плоскость объекта, — это не что иное, как различие между описанием и историей. В этом смысле она не содержит ничего соссюровского, кроме терминологии, и не может быть устранена, так как является концептуальной необходимостью.

<sup>17</sup> CLG, стр. 157.

<sup>18</sup> G. Devoto, I fondamenti della storia linguistica, Firenze, 1951, стр. 39 и 13.

<sup>19</sup> W. von Wartburg, Problemas, стр. 229.

<sup>20</sup> CLG, стр. 136.

<sup>21</sup> CLG, стр. 160.

<sup>22</sup> CLG, стр. 149.

2.3.2. Верно, что в данном состоянии языка мы можем обнаружить, например, архаизмы. Но архаизмы, поскольку они существуют и функционируют, представляют собой элементы современного языка. Более того; с функциональной точки зрения «архаизм» (элемент, способный придавать речи архаическую окраску) является таковым только с точки зрения современного языка; в другие эпохи он не мог выполнять эту функцию. Несомненно также, что даже сами говорящие осознают тот факт, что некоторые элементы являются «более старыми», а другие — «более новыми». Однако это осознание проявляется не тогда, когда говорящие говорят *с помощью* этих элементов, то есть в *первичном языке*, а тогда, когда они говорят *об этих элементах*, то есть в *метаязыке*, другими словами, когда они, перестав быть просто «говорящими», становятся своего рода «лингвистами» и принимают историческую точку зрения. Верно также и то, что в некотором данном состоянии языка намечаются *возможные*, будущие системы. Однако в той мере, в какой эти системы воспринимаются в настоящее время, они не просто «возможные» и «будущие», но и актуальные; в той мере, в какой они представляют собой чистую «возможность» (которая, быть может, никогда и не реализуется), они никоим образом не даны исследователю, и описание как таковое игнорирует их<sup>23</sup>. «Телеологическое» объяснение уже не является собственно синхронным и не является абсолютно «объективным» (ср. VI, 5). Для чисто синхронного описания язык не изменяется: он абсолютно неподвижен, как стрела Зенона, однако именно только как стрела Зенона (которая в действительности двигалась). На самом деле равновесие языка является не устойчивым, а шатким, и исследователь может выбирать и выбирает одну из двух точек зрения — синхроническую или диахроническую. Однако это нисколько не задевает, а, наоборот, подкрепляет различие между синхронией и диахронией в его наиболее ценных аспектах.

---

<sup>23</sup> По этому поводу полезно напомнить общий принцип, сформулированный св. Августином («Confessiones», XI, 24): «Нельзя увидеть того, что не существует. То, однако, что уже существует, является не будущим, а настоящим. Следовательно, когда говорят, что видят будущее, то видят не то, чего еще нет, то есть то, что будет, а причины или, возможно, знаки этого будущего, которые уже существуют; тем самым для видящих существует не будущее, а настоящее и из настоящего предсказывается достигнутое духом».

2.3.3. В своей небольшой статье о фонетических изменениях румынский лингвист А. Росетти заявляет, что Л. Ельмслев посоветовал ему рассмотреть изменения в синхронии и что именно так он и сделал<sup>24</sup>. Однако на самом деле изменения не могут изучаться в синхронии. Это настоящее *contradictio in adiecto*, эквивалентное попытке наблюдать «движение в неподвижном». Изменения происходят между двумя моментами времени, и поэтому они обязательно являются диахронными. Сам Росетти утверждает, что в «речи» наблюдается происходящее изменение, а в языке — «законченное изменение»<sup>25</sup>. Это некоторым образом верно (в том смысле, что все изменения даются в конкретной речи и в процессе осуществления), но «законченное изменение» — это нечто, уже переставшее быть изменением. Здесь нам остается лишь согласиться с Соссюром: «Изменения существуют лишь в диахронии»<sup>26</sup>. Верно также, что, поскольку изменения реальны, они должны отражаться каким-либо образом и в синхронии. В действительности это и имеет место (ср. IV, 2.4), однако в синхронной проекции *изменения* не могут наблюдаться как таковые.

3.1. Постановка вопроса полностью меняется, если рассматривается, чем является состояние языка. Любой язык в обиходном смысле слова (испанский, французский и т. д.) — это по своей природе «исторический объект»<sup>27</sup>. Правда, пока мы задаемся только вопросом, *как устроен язык*, мы рассматриваем его не как исторический объект, а просто как *один* из объектов того же рода. Только в этом смысле приемлемо утверждение Соссюра о том, что, «вообще говоря, никогда нет необходимости знать обстоятельства, в которых развивался тот или иной язык»<sup>28</sup>. Но с того момента, как мы задаемся вопросом, *почему* данный язык является таким, а не другим, или спрашиваем, *что это за язык*, и как-то отвечаем на этот вопрос (даже, например, если мы говорим только, что это — «испанский

<sup>24</sup> «Les changements phonétiques», Copenhague, 1948, стр. 5.

<sup>25</sup> Там же, стр. 7.

<sup>26</sup> CLG, стр. 169.

<sup>27</sup> Историческим объектом «по природе» является объект, полностью индивидуализированный в своем роде, как *этот*, а не *другой*, благодаря первичному знанию, которое манифестируется в языке, то есть объект, имеющий собственное имя. Ср. E. S o s e r i u, *El plural en los nombres propios*, «Revista Brasileira de Filologia», I, 1, стр. 15. Любой объект (собака, лошадь, шпaga) может иногда мыслиться как «исторический объект» и обозначаться именем собственным. С языками это происходит всегда и совершенно обязательно; нет языка, который не имел бы своего индивидуального обозначения. Можно было бы возразить, что языки называются именами народов; однако это не всегда имеет место, и, с другой стороны, исторически не языки определяются народами, а наоборот.

<sup>28</sup> CLG, стр. 69.

язык» или «романский язык»), мы тем самым уже приступаем к повествованию и, как говорил Пауль, занимаемся историей, «еще не зная этого»<sup>29</sup>. Дело в том, что вопрос, касающийся истории объекта, существенно отличается от вопроса, касающегося структуры объекта. Однако Пауль не заметил, что понимание структуры как таковой достаточно независимо от исторического объяснения этой структуры<sup>30</sup>. Отсюда его знаменитое, отчасти риторическое отождествление «науки о языке» (Sprachwissenschaft) с «историей языка» (Sprachgeschichte), что, очевидно, является сужением первого понятия. Соссюр, напротив, ясно понял различие обеих точек зрения, и это привело его к структуральной концепции языка, а также к новому, правильному и очень глубокому пониманию системного описания.

3.2. Конечно, соссюровская концепция имеет глубокие корни в традиции науки о языке. Как известно, еще до Соссюра различие между *языком* и *речью* (Sprache и Rede) проводили Г. фон дер Габеленц, А. Марти и Ф. Н. Финк; даже у Пауля можно найти в какой-то мере аналогичное различие между узуальным и окказиональным. Особенно Ф. Н. Финк в четкой форме провел различие<sup>31</sup> между «языком как говорением» и «языком как единой совокупностью средств выражения»; однако в отличие от Соссюра Финк считал объектом лингвистики именно «говорение» (речь), а не «язык»<sup>32</sup>.

<sup>29</sup> «Prinzipien der Sprachgeschichte»<sup>5</sup>, Halle, 1920, стр. 20. Ср., кроме того, В. Блосх и Г. Л. Трагер, *Outline of linguistic analysis*, Baltimore, 1942, стр. 8—9; а также CLG, стр. 139.

<sup>30</sup> См. по этому поводу Е. Сассигер, *Zur Logik der Kulturwissenschaften*, исп. перев. «Las ciencias de la cultura», México, 1951, стр. 61—62, 91—92, 101—102.

<sup>31</sup> «Die Aufgabe und Gliederung der Sprachwissenschaft», Halle, 1905.

<sup>32</sup> Ср. Н. Аренс, *Sprachwissenschaft. Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart*, Freiburg—München, 1955, стр. 359—360. С другой стороны, уже Гегель («Энциклопедия», § 459) противопоставлял «речи» язык и даже *язык как систему* («die Rede und ihr System, die Sprache»). Точнее, следует говорить не о соссюровском различии между языком и речью, а о соссюровской интерпретации этого различия, которое само по себе является интуитивно ясным и общеизвестным. Поэтому, когда обсуждается учение Соссюра, необходимо помнить, что спорным является не различие между речью и языком, само по себе неязвимое (поскольку очевидно, что язык *не есть* то же самое, что речь), а антиномический характер, который придал этому различию Соссюр, отрывая язык от речи; как следует из формулировки Гегеля, язык — это система речи, а отнюдь не что-то конкретно противопоставленное ей. Далее, важно не различие само по себе, а то, что на нем основывается. И, естественно, тот факт, что интерпретация какого-либо различия является спорной, несколько не затрагивает теории,

Известно также, что «системный» характер языка был отчетливо понят Гумбольдтом<sup>33</sup> и признавался Паулем (ср. IV, 4. 2.3). В. Брендалль утверждает<sup>34</sup>, что Гумбольдт, «как настоящий романтик», видел только речь, а не язык. Это совершенно неверно. Гумбольдт, безусловно, отличал язык от речи, но он понимал язык не дуалистически, то есть он не мыслил существование языка вне речи. Это объясняется вовсе не его романтизмом, а тем, что вне речи язык не имеет конкретного существования. Если это «романтизм», то американские антименталисты, считающие, что «система не может наблюдаться непосредственно», а выводится из речевой деятельности<sup>35</sup>, такие же романтики, как Гумбольдт. С другой стороны, поскольку ни одна ошибка не является только ошибкой, то же самое интуитивное представление о системности является рациональным зерном в неудачном учении об языках как об «организмах». Таковы же, по сути дела, и основания традиционной грамматики<sup>36</sup>. Правда, современное понятие «системы» значительно отличается от того, как понималась система в традиционной грамматике; однако правда также и то, что без осознания системности речи грамматика не могла бы возникнуть. Поэтому попытки представить дело так, будто вся лингвистика началась с Соссюра, и стремление оторвать Соссюра от всякой традиции, «очистить его от всех дососсюровских пережитков» не имеют никакого оправдания. Наоборот, если Соссюра можно упрекнуть в чем-либо, то скорее в том, что он не отнесся к традиции с достаточным вниманием. Так, если взять в качестве примера лишь один аспект его учения, то в «De magistro» св. Августина и у св. Фомы Соссюр мог бы найти элементы гораздо более тонкой и глубокой теории знака<sup>37</sup>, чем та, которую он построил на двойной ошибке, допустив «произвольность» знака<sup>38</sup>.

---

основывающейся на этом различии как таковом. Точно так же указать связи Соссюра с традицией — это не значит преуменьшить его роль в истории лингвистики, а скорее наоборот.

<sup>33</sup> Ср. например, «Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues», изд. H. Nette, Darmstadt, 1949, особенно стр. 43 и сл. В. Матезиус (TCLP, IV, 1931, стр. 292) указывает, что Гумбольдт был подлинным основателем современной «статической» лингвистики, то есть именно системного изучения языков.

<sup>34</sup> «Langage et logique» в «Essais de linguistique générale», Copenhague, 1943, стр. 52.

<sup>35</sup> Как пишут В. Блох и Г. Л. Трагер, Outline, стр. 5—6.

<sup>36</sup> См. A. Sommerfelt, Le point de vue historique en linguistique, «Acta Linguistica», V, стр. 113, а также CLG, стр. 150.

<sup>37</sup> О теории знака у св. Августина см. К. Куурес, Der Zeichen und Wortbegriff im Denken Augustins, Amsterdam, 1934. О св. Фоме — J. Maritain, Signo y simbolo в «Quatre essais sur l'esprit dans sa condition charnelle», исп. перев. «Cuatro ensayos sobre el espíritu en su condición carnal», B. Aires, 1944, стр. 58 и сл.

<sup>38</sup> «Двойная» ошибка — потому, что в объективном смысле, хотя знак по природе и «произволен» (не мотивирован), исторически он «необходим» (мотивирован); см. J. Dewey, Logic. The theory of inquiry, исп. перев. «Lógica. Teoría de la investigación», México, 1950, стр. 62, 397; A. Pagliaro, Il linguaggio come conoscenza, Roma, 1951 [1952], стр. 79 и «Il segno vivente», Napoli,

3.3.1. Итак, вопреки Паулю Соссюру утвердил важность и автономность структурного изучения. Но, с другой стороны, выявив структуру («язык») в синхронной проекции, он пришел к недооценке диахронии и непрерывности языка во времени и к установлению странных соответствий *речь—диахрония, язык—синхрония*<sup>39</sup>. Таким образом, Соссюр свел весь язык к *состоянию языка*. Более того, он приписал объекту «язык» не только системность (которая обнаруживается в «проекции» постольку, поскольку принадлежит объекту), но и неподвижность, которая принадлежит только «проекции». Отсюда второе отождествление (более или менее подразумеваемое в «Курсе») языкового состояния и синхронной проекции. На этих двух последовательных отождествлениях (*язык=языковое состояние=синхронная проекция*) и основывается идея о языке как о *синхронной и неподвижной системе*. Однако если первое из этих отождествлений еще может в известной степени быть оправдано техническими требованиями системного описания, то второе не имеет никакого оправдания: оно означает, что мы выходим за пределы данного. В самом деле, точно так же, как в синхронии мы не можем зафиксировать изменение, мы не можем зафиксировать и неизменение (неизменчивость). Чтобы обнаружить, что некий объект не изменяется, необходимо наблюдать его в два различных момента. Следовательно, даже если бы язык был по своей природе синхронным, это можно было бы обнаружить только в диахронии. Иначе пришлось бы ввести понятие «языка» посредством формального определения (ср. 2.1), что, однако, недопустимо, поскольку языки существуют и связаны с опытом, а «объекты опыта,— как указывает Кант в своей малой «Логике»,— не допускают номинальных определений».

3.3.2. К сожалению, оба соссюровских отождествления постепенно приобрели в некоторых лингвистических кру-

---

1952, стр. 116. В субъективном смысле знак произволен для научного мышления, но не для «примитивного мышления», то есть не для наивного сознания говорящих. Поэтому в диахронии наблюдается влияние значения на звуковую субстанцию знаков; ср. A. W. de G r o o t в Actes du Premier Congrès de Linguistes, Leiden, s. a., стр. 84—85. Необходимо подчеркнуть, что знак не мотивирован (и не может быть мотивирован) с точки зрения причины, но он мотивирован с точки зрения цели, поскольку он соответствует целевой установке говорящих (ср. «Forma y sustancia», стр. 58).

<sup>39</sup> Ср. CLG, стр. 172.

гах, особенно в Женеве и Копенгагене, догматический характер. Вместе с этим различие между синхронией и диахронией со временем стали приписывать такую категоричность и абсолютность, которых оно не имеет. Часто можно слышать, что «соссюровское различие между синхронией и диахронией столь очевидно, что его невозможно серьезно оспаривать»<sup>40</sup>. Однако подобные утверждения могут быть приняты лишь с ограничениями и оговорками. В действительности это различие в том, что в нем бесспорно и, более того, очевидно не является специально соссюровским. В том же, что является соссюровским (за исключением методологического аспекта), оно не только подлежит критике, но и оказывается вообще неприемлемым. Как уже отметил Шухардт в своей рецензии на «Курс», Соссюр попытался ввести в лингвистику различие, параллельное различию Конта между «статической социологией» и «динамической социологией»<sup>41</sup>. Однако Соссюр, перейдя разумные пределы, пришел к отрицанию исторических исследований (которые он отождествил с «атомистической диахронией») и к убеждению, что «диахрония не имеет цели в самой себе» (ср. 1.2.), как будто синхрония имеет такую цель. В действительности в любом случае целью является полное познание речевой деятельности как специфического проявления человеческого поведения. Подчеркивать важность синхронии — это не значит соответственно преуменьшать роль диахронии: ведь описывается всегда именно реальный результат традиции. Правда, в *чистом описании* традиция («как передача») не фигурирует, а игнорируется, но это не означает, что она не существует или что она не определяет языка. Неисторичность (синхронность) принадлежит к *сущности описания*, а не к *сущности языка*. Поэтому она и не должна вводиться в определение понятия «язык». Не следует смешивать определение понятия (*теорию*) с описанием объектов, которые ему соответствуют, и тем менее — с описанием объекта в *некоторый данный момент*. Аналогичным образом утверждение, что язык — это исторический объект, не исключает описание и теорию. Описание, история и теория не находятся в антитезе и не противоречат друг другу; они взаимно-

---

<sup>40</sup> A. B u r g e r, Phonématique et diachronie à propos de la palatalisation des consonnes romanes, «Cahiers F. de Saussure», XIII, стр. 19.

<sup>41</sup> B r e v i e r, стр. 329.

дополняют друг друга<sup>42</sup> и составляют единую науку. В особенности же не исключают друг друга — с точки зрения объекта — описание и история; они несовместимы как операции, т. е. они являются различными операциями.

Любопытно, что указанные проблемы встают только в лингвистике, как будто языки — единственные системные объекты или единственные исторические объекты. В науке о государстве, например, также можно различать теорию государства, историю государств и описание данного государства в определенный момент. И никому не приходит в голову, что государство синхронно по своей «природе»: природа государства, его способ существования не таковы. Соссюр говорил не об онтологии, а о методологии; он призывал различать синхроническую и диахроническую лингвистики или, точнее, синхроническую и диахроническую точки зрения в лингвистике. Поэтому различие между синхронией и диахронией принадлежит не к теории речевой деятельности (или языка), а к теории лингвистики. Даже и здесь соссюровское учение о диахронии и в особенности о ее неизбежной несистемности является спорным и нуждается в исправлениях (ср. VII, 1.2). Что же касается переноса этого различия на сам изучаемый объект, то это не просто ошибка, а смешение понятий и его необходимо устранить, поскольку, как говорил Бэкон, *«истина может возникнуть скорее из ошибки, нежели из смешения понятий»*.

4. Однако мы, несомненно, пришли бы к противоречию в терминах или, точнее, язык не мог бы конституироваться никаким образом, если бы языковое изменение было полным и постоянным, а состояние языка представляло бы собой лишь простой эфемерный момент в «непрерывном изменении и постоянном переходе» (ср. сн. 2). Но языковое состояние есть нечто большее. Во-первых, потому, что каждое состояние языка является в большой мере реконструкцией другого предшествующего состояния. Во-вторых, потому, что то, что называется «изменением в языке», является таковым лишь по отношению к языку предшествующей эпохи, а с точки зрения *современного языка* это кристаллизация новой традиции, то есть как раз неизменение. Фактор прерывности по отношению к прошлому, «изменение», является в то же время фактором непрерывности по отношению к будущему.

<sup>42</sup> См. E. Coseriu, *Logicismo y antilogicismo en la gramática*, Montevideo, 1957, ср. 18, 22.

## II. АБСТРАКТНЫЙ ЯЗЫК И КОНКРЕТНЫЙ ЯЗЫК. ЯЗЫК КАК ИСТОРИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННОЕ «УМЕНИЕ ГОВОРИТЬ». ТРИ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО ИЗМЕНЕНИЯ

1.1. По сути дела, затруднения, связанные с языковым изменением, и стремление рассматривать его как «незаконное» явление, вызванное «внешними факторами», объясняются тем, что за исходную точку берется абстрактный и, следовательно, статический язык, оторванный от речи и изучаемый как *нечто готовое*, как *ergon*. При этом даже не задаются вопросом, что же представляют собой языки, как они существуют в действительности и что, собственно говоря, означает «изменение» в языке. Отсюда и постановка проблемы языкового изменения в причинных терминах, поскольку изменения в «вещах», лежащих за пределами сознательной волевой деятельности субъектов, приписываются именно «причинам». Но язык относится к явлениям *не причинного, а целевого* характера<sup>1</sup>, к фактам, которые определяются своей *функцией*. Если понимать язык функционально, *сначала как функцию, а потом как систему*, — а именно так его следует понимать, поскольку язык функционирует не потому, что он система, а, наоборот, он является системой, *чтобы* выполнять свою функцию и соответствовать определенной цели, — то становится очевидным, что проблему изменения надо поставить с головы на ноги. Язык далек от того, чтобы функционировать, «не изменяясь», как это бывает с «кодами»; он изменяется, *чтобы продолжать функционировать* как таковой. Латинский язык Цицерона перестал функционировать как исторический язык именно потому, что он перестал изменяться; в этом смысле он является «мертвым языком», хотя он может неограниченно продолжать функционировать как «код»<sup>2</sup>. Напротив, «живой язык не стоит на месте, он

<sup>1</sup> См. А. P a g l i a r o, Corso di Glottologia, Roma, 1950, I, стр. 112 и сл., 121—122; «Logica e grammatica» в «Ricerche Linguistiche», I, 1, стр. 1; Il linguaggio come conoscenza, стр. 55; Il segno vivente, стр. 33. Также E. C o s e r i u, Forma y sustancia, стр. 17—18.

<sup>2</sup> О различии между «языком» и «кодом» («коды» лишены историчности) см. А. P a g l i a r o, Corso, стр. 195 и Il linguaggio, стр. 78 и 87; E. C o s e r i u, Forma y sustancia, стр. 56, 59. По этому поводу интересно отметить, что часто предлагается использовать латинский язык в качестве «международного вспомогательного языка», аналогично так называемым «искусственным языкам», которые как раз и являются «кодами».

находится в постоянном изменении»<sup>3</sup>. Живой язык, постоянно определяемый (а не определенный раз навсегда) посредством своей функции, не является созданным, а непрерывно создается конкретной языковой деятельностью: это не ἔργον, а ἐνέργεια<sup>4</sup>, точнее, «форма» и «потенция» некоторой ἐνέργεια (ср. 2.1). Язык, в известном смысле,— это «результат»; но, с одной стороны, вообще говоря, «результат не есть действительно реальное: он является реальным лишь вместе со своим становлением»<sup>5</sup>, а с другой стороны, в случае языка «результат» является одновременно непосредственно «потенцией», условием дальнейших актов. Если результат «окончателен», то мы говорим о «мертвом языке». Напротив, в той мере, в какой язык продолжает функционировать как таковой, результат никогда не бывает окончательным. Даже когда некоторое «состояние языка» оказывается практически идентичным предыдущему состоянию, это не означает, что данное состояние сохраняется неизменным; оно просто с достаточной точностью воспроизводится речью, где язык функционирует и дан конкретно. Следовательно,— перефразируя Соссюра<sup>6</sup>, но в прямо противоположном смысле,— чтобы понять механизм языкового изменения, надо сразу же встать на почву речи и принять речь за норму всех прочих проявлений речевой деятельности (включая «язык»). Не только все диахроническое, но также и все синхронное в языке является таковым только благодаря речи, хотя речь в свою очередь существует только благодаря языку.

1.2. Язык существует только в речи индивидуумов, а речь всегда предполагает какой-то конкретный язык. Вся сущность речевой деятельности неизбежно заключена в этом кругу. Сам Соссюр видел это достаточно ясно<sup>7</sup>, но он пожелал выйти из этого круга и решительно предпочел «язык». Возрождая один из аспектов старого спора между аномалистами и аналогистами, Соссюр выбрал более лег-

<sup>3</sup> N. Hartmann, цит. раб., указ. стр.

<sup>4</sup> В. Пизани («Allgemeine Sprachwissenschaft, Indogermanistik» в «Forschungsberichte», Bd. 2, Bern, 1953, стр. 24) справедливо (и это не является парадоксом) замечает, что, когда двести юкагиров «спят и не видят снов», их язык перестает существовать как таковой и вообще прекратил бы свое существование, если бы по какой-либо причине юкагиры перестали просыпаться.

<sup>5</sup> Гегель, Феноменология духа, предисловие.

<sup>6</sup> CLG, стр. 51.

<sup>7</sup> CLG, стр. 50—51.

кий путь аналогии, чтобы избежать подвижности, изменчивости и «неоднородности» речи. Однако следует выбрать более трудный путь: не нужно выходить из указанного круга, потому что этот круг действительно имеет место в речевой деятельности и ничто не позволяет рассматривать один из обоих полюсов в качестве первичного<sup>8</sup>. Кроме того, перед нами отнюдь не порочный круг, поскольку термин «язык» понимается оба раза в разном смысле: в одном случае имеется в виду язык как «знание», как «языковой капитал» (Sprachbesitz)<sup>9</sup>; в другом случае — как конкретное проявление этого знания в процессе говорения. Как писал Платон<sup>10</sup>, говорение — это акт (πράξις), использующий слова, которые предоставляются в его распоряжение «узусом» (υῦσος). Прибавим, что в акте конкретно реализуется υῦσος и что в процессе реализации акт преодолевает и изменяет его.

1.3.1. Чтобы выйти из указанного круга, Соссюр прибегнул к специальному понятию «языка», отделив «систему» от речи индивидуумов и приписав систему обществу, или «массе». Поскольку это понятие выступает как основное в послессоссюровской лингвистике и именно им в значительной степени обусловлены трудности, связанные с языковыми изменениями, целесообразно проанализировать его сущность.

Уже неоднократно указывалось, что в этой части своего учения Соссюр основывался на социологии Дюркгейма. В частности, В. Дорошевский подчеркнул тесную связь между соссюровским понятием «языка» и дюркгеймовским понятием «социального факта»<sup>11</sup>. Дорошевский пишет: «Учение Соссюра почти всегда рассматривают как лингвистическое учение; однако это не совсем правильно. Это учение существенно опирается на философскую концепцию, по сути дела чуждую лингвистике». Несмотря на слегка критический тон, Дорошевский, как кажется, считает этот факт признаком того, что Соссюр был в курсе современных ему основных идеологических течений, поскольку далее говорится: «Все отрасли гуманитарных наук взаимосвязаны. Сила учения Соссюра, которое оказало на лингви-

<sup>8</sup> А именно, встав на почву речи, можно охватить одновременно речь и язык. Дело в том, что язык дан в речи, в то время как речь не дана в языке.

<sup>9</sup> Об этом понятии см. W. P o r z i g, Das Wunder der Sprache, Bern, 1950, стр. 106 и сл. С другой стороны, здесь идет речь об одном из трех соссюровских понятий «языка». Ср. CLG, стр. 57, 65, 144; SNH, стр. 24—26.

<sup>10</sup> Cratylus, 378 b—388 d.

<sup>11</sup> Сначала в сообщении на Конгрессе лингвистов в Женеве (1931), а затем в статье «Algunas observaciones sobre las relaciones de la sociología con la lingüística: Durkheim y F. de Saussure» в «Psychologie du langage» [=«Journal de Psychologie», XXX, 1933], исп. перев. «Psicología del lenguaje», B. Aires 1952, стр. 66—73.

стику значительное влияние, объясняется использованием понятий, выработанных в области социологии, философии и психологии»<sup>12</sup>. Оставив в стороне вопрос о том, стоит ли называть дюркгеймовскую концепцию «философской» в подлинном смысле этого термина<sup>13</sup>, и вопрос о том, может ли социология служить основанием для чего-либо или, скорее, она сама нуждается в надежных опорах, для того чтобы не распасться как наука<sup>14</sup> (вопрос, который отнюдь нельзя считать решенным), следует выяснить, может ли дюркгеймовское понятие «социального факта» служить надежным фундаментом для каких бы то ни было теоретических построений. Оказывается, что не может, поскольку это понятие представляет собой чисто софистическое построение.

Дюркгейм приписывает «социальному факту» две существенные характеристики: 1) «социальный факт» является «внешним» по отношению к индивидууму, т. е. независимым от индивидуумов; 2) «социальный факт» является для индивидуума обязательным. Первую характеристику (основную, поскольку на ней зиждется все здание социологии) Дюркгейм доказывает следующими рассуждениями: «Родившись на свет, верующий застаёт все верования и обряды полностью сформированными; если же они существовали до него, то, значит, они имеют независимое существование. Система знаков, которой я пользуюсь, чтобы выражать свои мысли, система монет, с помощью которых я плачу свои долги, система кредита, к которой я прибегаю в своих коммерческих делах, обряды моей религии и т. д.— все это существует независимо от того, пользуюсь ли я этим. Можно перебрать одного за другим всех членов общества, и перечисленные утверждения будут приложимы ко всем. Таким образом, способы действовать, мыслить и чувствовать обладают тем важным свойством, что они существуют независимо от индивидуальных сознаний»<sup>15</sup>. Это рассуждение часто рассматривалось как само по себе очевидное, как своеобразное колумбово яйцо социологии (сам Дюркгейм был убежден в этом), но оно явно ошибочно. Чтобы доказать это, не требуется ни противопоставлять дюркгеймовскому понятию другое понятие «социального факта», ни задаваться вопросом, является ли язык «установлением» того же самого типа, что и система монет (которые не воссоздаются заново в непрерывной деятельности всех членов общества)<sup>16</sup>, поскольку отсутствие логической строгости в приведенном рассуждении сразу бросается

<sup>12</sup> «Algunas observaciones», стр. 72—73.

<sup>13</sup> Сам Дюркгейм («Les règles de la méthode sociologique», исп. перев. «Las reglas del método sociológico», Madrid, 1912, стр. 237) как типичный позитивист заявляет, что его метод «независим от всякой философии».

<sup>14</sup> Разумеется, сомнение в законности социологии как науки с собственным объектом не затрагивает социологию как совокупность *социальных исследований*, которые либо могут представлять непосредственный практический интерес, либо являются вспомогательными по отношению к истории.

<sup>15</sup> «Las reglas», стр. 38.

<sup>16</sup> Сам Соссюр (CLG, стр. 138—139) отмечает, что существует осязаемое различие между языком и прочими «социальными установлениями». Однако он не осознает, насколько коренным является это различие.

в глаза. В самом деле, на что указывает (скорее, чем доказывает) Дюркгейм? Он указывает попросту на то, что а) определенные социальные факты могут существовать до рождения людей, составляющих в данный момент рассматриваемое общество; б) что социальные факты могут существовать независимо от какого-либо *одного* или вообще *любого* из индивидуумов определенного коллектива (конечно, лишь постольку, поскольку *другие* индивидуумы сохраняют эти факты); в) что социальные факты существуют в обществе независимо от индивидуумов, *не принадлежащих* к данному обществу. Однако отсюда никак не следует, что социальные факты существуют *теперь* и в *любой момент* независимо от *всех* индивидуумов, *составляющих* общество. Вывод Дюркгейма о том, что социальный факт существует *независимо* от индивидуальных сознаний, основывается на ряде ошибок, цепляющихся в его рассуждениях друг за друга. Во-первых, Дюркгейм приписывает постоянную (вневременную) истинность утверждению, связанному с определенным моментом: с моментом, когда рассматриваемые индивидуумы еще не родились. Во-вторых, он распространяет на *всех* индивидуумов то, что он утверждает относительно одного индивидуума. Правда, его рассуждение можно повторить для *любого* из членов общества, однако это рассуждение всегда остается применимым *omnibus* (т. е. ко всем рассматриваемым индивидуально), а не *cunctis* (ко всем сразу). *Mutatis mutandis*, перед нами старый софизм кучи: ясно, что *одно* зерно не составляет кучи и что куча «независима» от *любого* из зерен, взятых в отдельности; однако это верно лишь постольку, поскольку в тот момент, когда из кучи вынимают зерно, другие зерна по-прежнему составляют кучу. Если взять все зерна сразу, то куча исчезнет. Поэтому правильное заключение состоит в том, что *ни одно* зерно не составляет кучи, а не в том, будто *все* зерна не составляют кучи и куча является чем-то «внешним» по отношению к зернам. В-третьих, — и это самое главное — в послылках и в заключении Дюркгейма фигурируют совсем *не одни и те же* индивидуумы. Дюркгейм проводит рассуждение относительно индивидуумов, которые не принадлежат (или еще не принадлежат) к рассматриваемому обществу (индивидуумы, которые, рождаясь, застают социальный факт уже установленным), а затем пытается сделать вывод об индивидуумах, являющихся членами этого общества. Однако, чтобы вывод был верным, он должен был бы основываться исключительно на доказательствах, проведенных относительно именно этих индивидуумов. То, что социальные факты не зависят от тех, кто не принимает в них участия, и от тех, кто еще не родился, — это трюизм, не нуждающийся в доказательстве. На самом деле *не социальные факты являются внешними по отношению к индивидуумам, а индивидуум»* Дюркгейма является *внешним по отношению к обществу*. Ко всему этому добавляется смешение понятий «не быть созданным кем-либо» и «существовать независимо от кого-либо». Утверждение, что социальный факт «не был создан» определенными индивидуумами и существовал до них, означает лишь то, что оно действительно говорит: оно не позволяет сделать никаких выводов о том, *как* именно существуют социальные факты.

Вторая характеристика, которую Дюркгейм приписывает социальным фактам, — это, как уже говорилось, их «обязательная сила»: «Эти типы поведения или мышления не только являются внешними по отношению к индивидууму, но и обладают императив-

ной и обязательной силой; они навязываются индивидууму независимо от его желания». Дюркгейм допускает, что индивидуум может противопоставлять себя социальным нормам и даже иногда «успешно нарушать их»; однако он указывает, что это невозможно без борьбы и сопротивления общества<sup>17</sup>. Этому утверждению можно противопоставить обратное: социальные факты изменяются в результате индивидуальной инициативы, и далеко не все реформаторы обязательно становятся мучениками. Следует, однако, пойти дальше и сформулировать мысль, неявно содержащуюся в утверждениях Дюркгейма. Эта мысль, как известно, состоит в следующем: «Индивидуум сам по себе не может изменить социальный факт». Однако она еще не означает, что индивидуум «не изменяет» социального факта; если ее интерпретировать именно так, то она превращается в паралогизм: обусловленному утверждению приписывается абсолютная значимость. Указанное соображение означает лишь, что индивидуум не изменяет социального факта, *если другие индивидуумы не принимают изменения*; а это происходит не потому, что социальный факт не зависит ни от данного индивидуума, ни от прочих индивидуумов, а, совсем наоборот, именно потому, что он зависит как от первого, так и от последних. С другой стороны, простое сопротивление социальному факту (непринятие его) — это не то же самое, что стремление изменить его, которое является положительным фактором.

Похоже, что Дюркгейм никогда не замечал внутренней слабости своих парадоксальных выводов. Более того, он полагал, что парадокс должен быть принят в соответствии с требованиями разума и «фактов»<sup>18</sup>. Следует заметить, однако, что в подобных случаях правильным является как раз обратный подход: если рассуждение и то, что мы считаем «фактами», приводят нас к выводу, который интуитивно представляется абсурдным, то прежде всего необходимо попытаться выяснить, нет ли ошибки в рассуждении или не допускают ли факты другой интерпретации. Однако Дюркгейм не последовал этому правилу. Думая, что он «доказал», будто социальные факты являются внешними по отношению к индивидуальным сознаниям, он приписывает социальные факты воображаемому существу, которое он назвал «коллективным сознанием». Затем, чтобы доказать «существование» этого сознания, Дюркгейм прибегает к аналогии: «Если мы не находим ничего необычного в том, что индивидуальные представления, производимые действиями и реакциями нервных элементов, не являются внутренне присущими этим элементам, то что же удивительного в том, что коллективные представления, производимые реакциями элементарных сознаний, из которых состоит общество, не содержатся непосредственно в этих сознаниях, а выходят за их пределы?»<sup>19</sup>. Но не говоря уже о том, что существование коллективных представлений, независимых от индивидуальных сознаний, никоим образом не было доказано, эта аналогия оказывается совершенно неадекватной. Ведь единство сознания — это фундаментальный факт, открытый самим сознанием, а не выведенный одним из многочисленных «нервных элементов». Точно так же если бы

<sup>17</sup> «Las reglas», стр. 39—40. Ср. также стр. 28.

<sup>18</sup> Ср., например, «Las reglas», стр. 1—2.

<sup>19</sup> «Représentations individuelles et représentations collectives» в «Sociologie et philosophie», Paris, 1924, стр. 35.

коллективное, или социальное, сознание действительно существовало как «внешнее» по отношению к индивидуумам, то только оно само могло бы сказать нам это и писать работы по социологии, а не социолог Дюркгейм — индивидуум, который, будучи в соответствии с его собственной аналогией простым нервным центром, был обязательно исключен из царства этого сверхсознания.

В области лингвистики Соссюр — хотя имя Дюркгейма ни разу не появляется в «Курсе» — принял учение Дюркгейма о социальном факте и следует ему вплоть до деталей и фразеологии. Так, Дюркгейм утверждает, что социальные факты «бытуют в самом обществе, которое производит их, а не в его частях, то есть не в членах общества»<sup>20</sup>, и что социальная «результатирующая не проявляется полностью ни у одного отдельного индивидуума»<sup>21</sup>. И Соссюр утверждает, что язык «полностью существует только в массе»<sup>22</sup>. Дюркгейм считает, что социальные явления являются «внешними по отношению к индивидуумам», которые получают их «извне»<sup>23</sup>, а Соссюр говорит, что язык — это «социальная часть речевой деятельности, внешняя по отношению к индивидууму»<sup>24</sup>, и, далее, что язык «социален по своей сущности и независим от индивидуума»<sup>25</sup>. Дюркгейм настаивает на том, что социальные факты навязываются индивидууму<sup>26</sup>; Соссюр полагает, что язык — «это продукт, который индивидуум пассивно усваивает», и что язык навязывается индивидууму, который «сам по себе не может ни создать язык, ни изменить его»<sup>27</sup>. Дюркгейм говорит, что коллективное мышление «должно изучаться в самом себе и само по себе»<sup>28</sup>, а Соссюр — что язык должен изучаться «в себе и сам по себе»<sup>29</sup>. Дюркгейм говорит, что социальные факты должны изучаться «как вещи»<sup>30</sup> и именно так Соссюр поступил с языком<sup>31</sup>. Дюркгейм представляет себе социологию как науку о «коллективных представлениях», то есть практически как «социальную психологию»; Соссюр же говорит, что

<sup>20</sup> «Las reglas», стр. 18.

<sup>21</sup> «Représentations», стр. 36.

<sup>22</sup> CLG, стр. 57.

<sup>23</sup> «Las reglas», стр. 15, 40 и т. д.; «Représentations», стр. 35.

<sup>24</sup> CLG, стр. 58.

<sup>25</sup> CLG, стр. 64. Кроме того, Балли и Сэше добавляют в примечании (CLG, стр. 128): «Для Соссюра язык — это, по существу, вклад со стороны, вещь, полученная извне».

<sup>26</sup> «Las reglas», стр. 39—40; «Représentations», стр. 35 и т. д.

<sup>27</sup> CLG, стр. 57—58.

<sup>28</sup> «Las reglas», стр. 23.

<sup>29</sup> CLG, стр. 364. Эта фраза является типично дюркгеймовской: даже социальное разделение труда Дюркгейм пытается изучать (неизвестно, с какой целью) «в самом себе и для самого себя» и как «объективный факт»; см. «De la division du travail social»<sup>4</sup>, Paris, 1922, стр. 8—9.

<sup>30</sup> «Las reglas», стр. 9, 55 и сл.; 241.

<sup>31</sup> Дюркгейм указывает, что подходить к фактам как к «вещам» означает лишь «придерживаться по отношению к ним определенной точки зрения» («Las reglas», стр. 10). Но плохо как раз то, что эта точка зрения состоит в нежелании рассматривать факты такими, какими они являются.

изучение языка «чисто психично»<sup>32</sup>, и рассматривает лингвистику как часть «социальной психологии»<sup>33</sup>. Дюркгейм приписывает социальные факты «коллективному сознанию»; Соссюр же, говоря о синхронической лингвистике (которая для него практически представляет всю лингвистику; ср. I, 1.2), указывает, что эта дисциплина «должна изучать логические и психологические отношения, которые связывают сосуществующие элементы и образуют систему в том виде, как они представляются коллективному сознанию»<sup>34</sup>. А. Мейе замечает, что соссюровское понятие «языка» в точности соответствует определению социального факта у Дюркгейма<sup>35</sup>. Однако это совсем не означает, будто данное понятие соответствует реальному языку; это означает лишь, что оно, некритически принятое и превращенное в аксиому соссюровской лингвистики, основывается на тех же логических ошибках. Сам Соссюр говорит, что «речевая деятельность имеет индивидуальную сторону и социальную сторону, причем одну нельзя мыслить без другой»<sup>36</sup>; однако, взяв в качестве нормы речевой деятельности язык, оторванный от речи индивидуумов и помещенный в «коллективном сознании» «массы», Соссюр оказался именно в области немислимого<sup>37</sup>. Тот факт, что логические ошибки принадлежат Дюркгейму, а не Соссюру, отнюдь не оправдывает соссюровское понятие языка, а лишь показывает, насколько опасно безоговорочно основываться на понятиях сомнительной ценности, выработанных другими дисциплинами, вместо того чтобы брать за основу реальность изучаемого объекта. Лишь гениальность и тонкое языковое чутье позволили Соссюру увидеть существенные аспекты языка, несмотря на шаткость его исходного представления о языке. Однако для тех, кто не обладает гениальностью и языковым чутьем Соссюра, весьма рискованно придерживаться того же самого понятия.

1.3.2. Даже Мейе при всей его признанной тонкости и обширнейшей лингвистической эрудиции не сумел преодолеть соссюровскую концепцию и принял ее без всяких оговорок. В самом деле, Мейе также повторяет дюркгеймовские леммы: «Язык представляет собой строго организованную систему средств выражения, общих для определенной совокупности говорящих. Язык не существует вне индивидуумов, которые говорят (или пишут) на нем. Однако язык существует независимо от каждого отдельного индивидуума: он как бы навязывается ему. Реальность языка — это реальность социального установления, присущего индивидуумам, но в то же

<sup>32</sup> CLG, стр. 64.

<sup>33</sup> CLG, стр. 47 и 60. Дюркгейм, напротив, включает «лингвистическую социологию» вместе с другими «частными социологиями» в то, что он называл «социальной физиологией»; ср. «Sociología y ciencias sociales» в «De la méthode dans les sciences», исп. перев. «Del método en las ciencias», Madrid, 1911, стр. 345.

<sup>34</sup> CLG, стр. 174.

<sup>35</sup> «Linguistique historique et linguistique générale», II, Paris, 1938, стр. 72—73.

<sup>36</sup> CLG, стр. 50.

<sup>37</sup> В действительности язык *может* мыслиться изолированным от речи, но только в качестве абстрактного языка; конкретный же язык нельзя представить себе в отрыве от языковой деятельности.

самое время независимого от каждого из них»<sup>38</sup>. В другом месте Мейе идет еще дальше, отрицая значение того факта, что языки не существуют вне говорящих: «Часто повторялось, что языки не существуют вне говорящих и что, следовательно, нет основания приписывать им независимое существование, собственное бытие. Это очевидное утверждение, но оно не имеет особого значения, как большинство очевидных утверждений, ибо, хотя действительность языка не представляет собой чего-то материального, от этого язык не перестает существовать. Его действительность одновременно является языковой и социальной»<sup>39</sup>. В самом деле, тот факт, что языки существуют только в речи, не мешает признавать за ними *идеальную объективность* (ср. 2.4). Но это не означает, что языки имеют *независимое существование*. Говорить, что язык имеет «языковую реальность», — это явная тавтология, которую, возможно, пытаются понимать как утверждение, что язык *системен*: однако это относится к тому, *каков* объект, а не к его существованию. Говорить же, что язык имеет «социальную реальность», еще не означает допускать, будто он существует «вне говорящих»; ведь общество не существует независимо от индивидуумов. «Социальные» компоненты языка даются в речи, как и все, что составляет язык. С другой стороны, с более общей точки зрения следует заметить, что в науках о человеке все, представляющееся нашему сознанию как *очевидное*, отнюдь не может быть отброшено как «не имеющее значения», а, напротив, должно быть принято за основу исследования. Необходимо указать, что еще замечательный французский лингвист М. Бреаль<sup>40</sup>, которому часто приписывают то, чего он на самом деле не сделал и что явилось бы к тому же чисто внешней заслугой (в самом деле, его упоминают как основателя семантики, хотя эта дисциплина была создана лет за пятьдесят до опубликования его «Essai»), и которого мало вспоминают за его пронизательную и здравую концепцию речевой деятельности, неустанно повторял, что языки не существуют вне говорящих. Приписывая языкам существование, «внешнее» по отношению к говорящим, Мейе явно противопоставляет себя Бреалю.

Соссюр расходится с Бреалем гораздо более резко и отчетливо, чем с младограмматиками, — как своим дюркгеймовским социологизмом, так и сохранившимися в его учении пережитками шлейхеровской концепции языков как «естественных организмов». Действительно, социологическая концепция Соссюра часто представляет собой перевод натуралистической концепции Шлейхера на язык социологии<sup>41</sup>. Шлейхер приписывал языкам собственную «жизнь»<sup>42</sup>,

<sup>38</sup> Цит. раб., цит. стр. Далее следует замечание, что язык, понимаемый таким образом, «в точности соответствует определению, которое Дюркгейм дает социальному факту»; в примечании на стр. 73 Мейе прямо указывает, что он следует концепции Ф. Соссюра.

<sup>39</sup> «Linguistique historique et linguistique générale», I, новое издание, Paris, 1948, стр. 16.

<sup>40</sup> Ср. «Essai de sémantique», Paris, 1897, стр. 3 и сл. и особенно стр. 306—307.

<sup>41</sup> По этому поводу см. V. P i s a n i, August Schleicher und einige Richtungen der heutigen Sprachwissenschaft, «Lingua», IV, стр. 337—368. Ср. также «Forma y sustancia», стр. 61—62.

<sup>42</sup> Ср. «Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen», Weimar, 1866, стр. 2, примечание: «Языки

а Соссюр приписывает им «социальное существование», независимое от говорящих. Бреаль же в явной форме протестовал против шлейхеровских догм и отказывался принять их даже в качестве «метафор»<sup>43</sup>. Выступая против натуралистического догматизма и схематизма, Бреаль в известные моменты может показаться недостаточно логически строгим. В самом деле, упрощенные догмы и схемы, игнорирующие бесконечное разнообразие действительности, кажутся «более строгими». Но такими они только кажутся. Схемы — это удобные инструменты, но их не надо отождествлять с изучаемой действительностью: не следует смешивать строгость схем как таковых (строгость в строении нашего инструмента) со строгостью отношений между схемами и действительностью. От этой последней строгости при построении схем приходится отказаться заранее — именно потому, что строятся схемы. Что касается догм, то они обычно бывают жесткими, а не строгими.

1.3.3. Сказанное выше не означает, будто мы считаем, что язык не является «социальным фактом». Совсем наоборот. Язык — это социальный факт в самом естественном смысле термина «социальный», то есть в смысле «собственно человеческий». Однако язык — это не просто *один* из социальных фактов — «среди других» и «как другие» (как система монет, например); язык — это основной фундамент всего социального. Далее, социальные факты не таковы, какими их воображал Дюркгейм. Социальные факты не являются внешними по отношению к индивидуумам; они не *внеиндивидуальны*, а *межиндивидуальны*, что соответствует самому способу существования человека, который состоит в том, чтобы существовать «вместе с другими». Социальный факт, и в частности язык, — в той мере, в какой он опознается как «принадлежащий также и другим» или создается с целью быть таковым, — стоит над индивидуумом; однако он ни в коем случае не является «внешним» по отношению к индивидууму, так как человеку свойственно «выходить за пределы самого себя», становиться над самим собой как простым индивидуумом. Преимущественным проявлением, специфическим способом осуществления этого «возвышения над самим собой» является как раз речевая деятельность. Нельзя говорить, что индивидуум «не создает» социального факта; наоборот, он создает его непрерывно, так как своеобразная форма «создавать» социальный факт — это не что иное, как *участвовать в нем*, принимать и признавать как «собственное» нечто такое, что в то же самое время осознается как свойственное «также другим». Поэтому социальные факты не навязываются индивидууму извне; индивидуум сам принимает их в качестве способов действия, необходимых и подходящих для его взаимодействия с обществом. В случае языка «язык-установление воздействует на индивидуума со всей своей обязательной нормативной силой», поскольку сам индивидуум позволяет ему закрепиться в его окончательной форме — точно так же, как это обстоит с другими социальными ценностями, которые никогда не закрепляются в человеческом обществе, если их не порождает и не узаконивает конститутивная

---

живут, как все естественные организмы. В отличие от людей они не имеют деятельности и, следовательно, не имеют истории, если мы будем понимать это слово в его собственном, узком смысле.

<sup>43</sup> «Essai», стр. 4—5.

ценность отдельного лица»<sup>44</sup>. Факты, которые действительно навязываются индивидууму, всегда являются внешними по отношению к нему (они свойственны «только другим», а не «также другим») и бывают в основном антисоциальными. Иначе обстоит дело с социальными фактами: их не просто «терпят» сообщая, а принимают как общие и сообща участвуют в них. Для них характерна не «обязательность» в смысле внешнего принуждения, а скорее «обязательность», «облигаторность» в этимологическом смысле латинского термина *obligatio*: они носят характер внутреннего устремления или *принятого обязательства*. И, наконец, неверно, что индивидуум «не изменяет» или «не может изменять» социальных фактов: само приспособление того, что установлено социально, к требованиям конкретных обстоятельств и конкретных лиц уже является в определенном смысле «изменением». Если же вернуться к языку, то бессмысленно утверждать как абсолютную и доказуемую истину, будто индивидуум «не может изменять язык», поскольку это как раз не доказано и не может быть доказано<sup>45</sup>. Доказать можно другой, весьма важный факт: обычно говорящий не изменяет язык и не имеет намерения изменять его. Если, несмотря на это, язык все-таки изменяется, то здесь нужно предполагать более глубокие причины, чем сосюрровский «чистый случай». Изменения языка должны находить объяснение в самой функции языка и в его конкретном способе существования.

2.1. Итак, язык функционирует и конкретно дан в *речи*. Принять этот факт за основу всей теории языка означает исходить из известного тезиса Гумбольдта о том, что язык — это не *ἔργον*, а *ἐνέργεια*<sup>46</sup>. Этот тезис часто цитируют, но в большинстве случаев лишь для того, чтобы сразу забыть о нем и рассматривать язык как *ἔργον*. Поэтому прежде всего необходимо принять положение Гумбольдта всерьез, то есть принять его за основу. Ведь это не парадокс и не метафора, а просто формулировка истины. Язык на самом деле, а не в каком-то переносном смысле есть *деятельность*, а не *продукт*. Более того: поскольку язык есть деятельность и познается как таковая, он может быть абстрагирован и изучаться, так же как и «продукт»<sup>47</sup>.

<sup>44</sup> L. Stefanini, Trattato di estetica, I, Brescia, 1955, стр. 82.

<sup>45</sup> Абсолютная невозможность не может быть доказана эмпирически. Невозможность, которая доказывается эмпирически, всегда является условной (при тех или иных обстоятельствах). Когда кажется, будто абсолютная невозможность доказывается фактически, речь идет на самом деле о логической невозможности.

<sup>46</sup> «Sprachbau», цит. изд., стр. 44.

<sup>47</sup> То, что прежде всего и главным образом дано как «продукт», не может быть опознано и изучено как таковой, если неизвестна создавшая его деятельность; такой «продукт» можно изучать лишь как «вещь». Ничто не может быть опознано как *Werk*, без обращения к соответствующему *wirken*.

Действительно, в соответствии с учением Аристотеля деятельность может рассматриваться: а) как таковая, *κατ'ἐνέργειαν*; б) как деятельность в потенции, *κατὰ δύναμιν*; в) и как деятельность, реализованная в продуктах, *κατ'ἔργον*. Очевидно, речь идет не о трех различных реальностях, а о трех аспектах, или, лучше сказать, о трех способах рассматривать одну и ту же реальность. С другой стороны, это *универсальная* деятельность, которая осуществляется *отдельными* индивидуумами как членами *исторических* обществ. Именно поэтому речь и может рассматриваться в универсальном смысле, в частном смысле и в историческом смысле. Речь *κατὰ δύναμιν* — это *умение говорить*, в котором можно различать универсальный, частный и исторический аспекты. Последний аспект и есть как раз «язык» как *идиоматическая совокупность*, то есть как *умение говорить в соответствии с традициями данного общества*. Речь *κατ'ἐνέργειαν* — это в универсальном плане просто *речь*, то есть конкретная языковая деятельность, рассматриваемая в общем; с частной точки зрения, это *речь* (акт речи или ряд таких актов) определенного индивидуума в определенных обстоятельствах; с исторической точки зрения, это *конкретный язык*, или *способ говорить*, присущий данному обществу, который проявляется в языковой деятельности как основной аспект этой деятельности. Что касается речи *κατ'ἔργον*, то здесь не может быть собственно универсальной точки зрения, поскольку здесь имеются в виду только частные «продукты»; в крайнем случае можно говорить о «полной совокупности текстов». С частной точки зрения речь как «продукт» — это именно *текст*. С исторической точки зрения речь совпадает с «языком», понимаемым как «идиоматическая совокупность», ибо «исторический продукт» в той мере, в какой он сохраняется (или, точнее, в той мере, в какой он принимается в качестве модели для дальнейших актов и таким образом закрепляется в традиции), превращается в речь *κατὰ δύναμιν*, то есть в языковые навыки. Это означает, что «язык» никогда не является собственно *ἔργον*.

2.2. Далее, термин *ἐνέργεια* следует понимать в его точном и плодотворном смысле. Вспомним, что Гумбольдт, проводя различие между *ἐνέργεια* и *ἔργον*, основывался прежде всего на положении Аристотеля. Поэтому его *ἐνέργεια* (Tätigkeit) должна пониматься не в обиход-

ном смысле — как любая деятельность, как простое «действии» (Handlung), — а в смысле термина ἐνέργεια, принятого Аристотелем (который создал как само понятие, так и термин) — как свободная и целенаправленная деятельность, содержащая в себе свою цель и представляющая собой реализацию этой цели и, кроме того, логически предшествующая «потенции». По этому поводу целесообразно провести очевидную аналогию между языком и искусством независимо от того, как мы будем понимать отношение между указанными видами человеческой деятельности. Как и искусство, речь является свободной деятельностью, а «объект свободной деятельности бывает обязательно бесконечным и никогда полностью не реализуется»<sup>48</sup>. Следовательно, поскольку речь представляет собой ἐνέργεια в гумбольдтовском и аристотелевском смысле, она логически предшествует «языку» и ее объект (а именно значение) по необходимости бесконечен. В этом смысле является неудовлетворительным определение речевой деятельности как «деятельности, *использующей* знаки [готовые]». Речевую деятельность следует определять как «деятельность, *создающую* знаки». Так обстоит дело с логической точки зрения. Исторически же, напротив, «потенция» предшествует «акту». При этом потенция не может рассматриваться как импотенция. Поэтому необходимо связать свободу с историчностью: как историческая деятельность речь всегда означает говорение на некотором «языке», который является исторической δύναμις речи, а как свободная деятельность речь не зависит полностью от своей потенции, а преодолевает ее<sup>49</sup>. В исторической речи уже установленный язык выступает в качестве необходимого предела свободы. Однако этот предел — техника и материал для новых свободных актов — является скорее не собственно «границей», а необходимым *условием*

---

<sup>48</sup> F. W. J. Schelling, System des transzendentalen Idealismus, VI, 1.

<sup>49</sup> Если бы все значения уже содержались в «языке», объект речи перестал бы быть бесконечным, а сама речь перестала бы быть свободной деятельностью, то есть созданием новых значений. Поэтому те, кто пытается построить «современные» и «полные» языки со значениями, определенными раз и навсегда, заблуждаются в существенном: они ставят перед собой абсурдную, немислимую и бесполезную задачу, так как пытаются превратить речь в то, чем она не является. Ср. по этому поводу замечания Гегеля в «Wissenschaft der Logik», III, 1, 3, A d, прим. и «Encyclopädie», § 459.

свободы. У всякого акта речи, исторически обусловленного и свободного в одно и то же время, одна сторона связана с его исторической «необходимостью», то есть с его исторически необходимым условием, а именно с языком, а другая — с определенной целью, с выражением значения, и поэтому она выходит за пределы установленного языка<sup>50</sup>. К данному пункту мы еще вернемся ниже (ср. III, 2 и III, 5.1).

2.3. Далее, необходимо подчеркнуть, что если понимать под «языком» конкретный язык, а не абстрактный, то язык оказывается не менее подвижным, чем речь. В самом деле, язык конкретно существует в качестве *формальных и семантических правил речи* (ср. 2.1) — как форма или схема деятельности. Для речи каждого индивидуума «язык» состоит в том, что этот индивидуум *говорит, как другие*, или, точнее, в этом самом *как*, которое всегда является исторически обусловленным. Прибегнув к несколько парадоксальной формулировке, можно было бы сказать, что язык — это как бы «субстантивированное наречие»: «говорить *по-латински*» *latine* [loqui] преобразуется в «*латинский язык*», точно так же как *быстро* [идти] может быть преобразовано в *быстроту* [ходьбы]. Однако так можно сказать, помня, что речь идет о крайне сложном правиле, представляющем собой обширную совокупность взаимозависимых правил. Эти правила в значительной части одинаковы в речи определенного общества, рассматриваемой в данный момент (если отвлечься от времени самого исследования). В этом смысле указанные правила и образуют *состояние языка*, или «язык в синхронии». Далее, указанные правила одинаковы или происходят одни из других и для разных последовательных состояний языка; в этом смысле они образуют *языковую традицию*, или «язык в диахронии». Однако и при такой точке зрения следует, конечно, помнить, что язык существует только в речи и благодаря речи: в «истории, которая осуществляется» (*res gestae, Geschichte*), даны исключительно инди-

---

<sup>50</sup> Это означает, что проблема «первичности» языка или речи — это проблема ложная или по крайней мере неправильно поставленная, если мы пытаемся решить ее, приписывая одному из полюсов предшествование во времени: в одном смысле язык как историческое условие языковой деятельности предшествует речи; в другом смысле речь как свободная творческая деятельность предшествует языку.

видуальные языковые акты, использующие существовавшие ранее правила и воспроизводящие предшествующие образцы; напротив, для «истории, систематизирующей и изучающей происходящее» (*historia rerum*, *Historie*), язык становится единственным «развивающимся» объектом.

В том и другом смысле язык может рассматриваться как «система изоглосс»<sup>51</sup> и «абстрагироваться» как объект изучения. Именно поэтому язык «по своей природе» не есть ни синхронное, ни диахронное явление, поскольку не может быть речи о двух противоречащих друг другу способах бытия и не существует объектов синхронных и объектов диахронных (ср. I, 2.3.1). С диахронической точки зрения язык — это совокупность традиционных («передаваемых») языковых средств; с синхронической точки зрения язык — совокупность общих «актуальных» (для данного момента) средств, которые тем не менее являются и традиционными (то есть «передаваемыми», ср. I, 3.3.2); более того, они являются общими именно потому, что они традиционны. Лишь в плане техники исследования синхрония предшествует диахронии, поскольку понимание объекта как такового необходимо предшествует разработке его истории (ср. I, 3.1)<sup>52</sup>.

2.4. В связи с этим, чтобы избежать возможных недоразумений, необходимо подчеркнуть, что выражение «язык абстрагируется» из речи никоим образом не отрицает объективности языка. То, что язык является объектом, «абстрагированным» из речи, то есть *идеальным объектом*, связано с онтологическими вопросами, а не с *объективным* (для всякого сознания, мыслящего язык) характером языка. Известно, что конкретные языки абстрагируются и признаются в качестве идеальных объектов самими говорящими (ср. I, сн. 27). В известной степени прав такой ученый, как Л. Вайсгербер<sup>53</sup>, когда он протестует против тенденции рассматривать языки как чистые «грамматические абстракции». Язык является «абстракцией» лишь с технической точки зрения — для лингвиста, который выводит его из языковой деятельности. Язык может быть «абстра-

<sup>51</sup> Ср. V. P i s a n i, *La lingua e la sua storia* в «*Linguistica generale e indeuropea*», Milano, 1947, стр. 9—19 и «*L'etimologia*», Milano, 1947, стр. 49 и сл.

<sup>52</sup> Конечно, этим не устраняется антиномия между синхронией и диахронией (поскольку ее и не нужно устранять), а лишь снова подтверждается ее технический характер: она связана с техникой исследования, а не с реальностью языка. По этому поводу напомним, что сам Соссюр (CLG, стр. 149) утверждал: «Синхронным является все то, что относится к статическому аспекту нашей науки» (а не ее объекту).

<sup>53</sup> «*Die Sprache unter den Kräften des menschlichen Daseins*», Düsseldorf, 1954, стр. 8—9.

гирован» именно потому, что он существует (как способ говорения и как языковые навыки), и потому, что, приступая к изучению языка, мы уже имеем «предварительное знание» о его объективности<sup>54</sup>. С другой стороны, вопреки распространенному убеждению, признавать объективность «языка» и изучать его как таковой, еще не означает «отрывать» или «изолировать» его от речи. Действительно, лингвистический позитивизм со своей тенденцией «овеществлять» абстракции доходит до того, что рассматривает «язык» и «речь» как две различные вещи. Вместо того чтобы помещать язык в речь, позитивизм помещает «речь» в индивидуумов, а «язык» — в общество (или — еще хуже — в «массу»), как если бы индивидуумы были вне-социальны, а общество независимо от индивидуумов и от их межиндивидуальных отношений. В этом, как уже указывалось, состояла и ошибка Соссюра. Но наивный (а часто и не наивный) идеализм, выступая против этой ошибки, впадает в противоположную крайность: смешивая абстракцию (мысленную операцию) с *делением* (*seragación*—операцией, которая осуществляется в действительности), идеализм приходит к убеждению, что изучать формы и структуры — это значит нарушать целостность языка, калечить его. Если бы лингвистический идеализм последовательно проводил такой подход, — в действительности это не имеет места<sup>55</sup>, — он должен был бы отказаться от всякого исследования, поскольку исследование — это всегда расчленение и абстракция и только в интуитивных объектах даны «в своей целостности». Выступая против теоретических положений значительной части идеалистической лингвистики (в которых, впрочем, не повинен философский идеализм), необходимо настаивать на том, что «познавать» — это прежде всего значит «различать» и что *мысленное различение* (*distinctio rationis*) не является и не может являться «калечением» реальности, поскольку оно осуществляется не в плоскости объекта. Не следует никоим образом смешивать то, как даны объекты, и то, как мы их рассматриваем. Если верно, что не следует «овеществлять» абстракции, верно также и то, что, когда две характеристики выступают вместе, это еще не значит, что их нельзя рассматривать в отдельности. Например, форма и цвет объекта выступают вместе, но они являются независимыми переменными (цвет может изменяться без изменения формы и наоборот) и поэтому могут изучаться независимо друг от друга. Говорить, что данный объект — квадрат, не значит «изолировать» его форму или пренебречь его возможным голубым цветом.

3.1.1. Рассматриваемые в совокупности «аналогичные» правила, образующие язык, *системны*: они функционируют не только как таковые, но и в силу противопоставления одних другим в определенных парадигматических или синтагматических или одновременно парадигмати-

<sup>54</sup> «Forma y sustancia», стр. 33—36, 52.

<sup>55</sup> На практике лингвисты-идеалисты работают со всеми общепринятыми абстракциями («язык», «диалект», «субстрат», «слово», «основа», «корень», «суффикс», «окончание» и т. д.), которые, впрочем, являются вполне законными.

ческих и синтагматических структурах<sup>56</sup>. В этом смысле язык является системой взаимозависимых структур.

3.1.2. Лингвистический идеализм обычно с недоверием относится к понятиям «система» и «структура». Но это недоверие лишено основания: Гегель, который был идеалистом, без всяких колебаний говорил о языке как *системе* (ср. 1, сн. 32). Структуры, составляющие язык, являются структурами речи — формами конкретной языковой деятельности. В том, что эта *деятельность системна*, нет никакого противоречия. Верно, что языки не «организмы». Однако это не означает, что надо игнорировать их «органичность». Кроме того, изучать структуры речи — это еще не значит вводить искусственные антиномии, «сводить» речевую деятельность к структурам или пренебрегать ее бесконечным разнообразием<sup>57</sup>. Структуры,

---

<sup>56</sup> Именно своей системностью языковые правила существенно отличаются от неязыковых «символов» (как, например, весы — «символ правосудия»).

<sup>57</sup> Кажется, что К. Шикк в своей рецензии на «Forma у sustancia» («Paideia», X, 4) не заметила этого. В этой рецензии, помимо того что местами применяется странный метод — противопоставлять тезисам, которые рецензируемый автор мог бы выдвинуть (но на самом деле не выдвигает), свои собственные тезисы, подвергается сомнению различие между *системой* и *нормой*: «Тому, кто освоился с принципами какой-либо школы идеалистического направления, кажется несколько сомнительной необходимостью вводить дальнейшие подразделения, чтобы преодолеть существующую дихотомию... Косериу вводит понятие нормы, промежуточное между *системой* и *речью*» (стр. 272—273). Действительно, автор «Forma у sustancia» достаточно «освоился» с идеализмом, а различие между *нормой* и *системой* — это не «подразделение» сосюрковского языка (являющегося «овеществленной» абстракцией, которую бесполезно подразделять), и оно проводится отнюдь не с целью преодолеть дихотомию, которая как в SNH, так и в «Forma у sustancia» отвергается совершенно явно. Речь идет о различии между типами структур речи, а именно между общими (традиционными) и функциональными (различительными) структурами. Не поняв этого, К. Шикк пишет далее: «Итальянские лингвисты и прежде всего Террачини приходят к преодолению всех искусственных антиномий посредством прямого обращения к языковой деятельности как таковой, а эта деятельность в свою очередь есть постоянное преодоление различных контрастов» (стр. 273). Я далек от недооценки заслуг итальянской лингвистики, идеи которой я разделяю. Благодаря сильной гуманистической традиции, которая в Италии сохраняется лучше, чем где бы то ни было, а также благодаря значительным успехам итальянской философии XX в. итальянская лингвистическая школа в настоящее время наиболее свободна как от социологических и физикалистских ошибок, так и от абсурдности и наивности псевдоматематического подхода. Верно, однако, что некоторые итальянские лингвисты (и можно даже добавить, особенно Террачини, который в то же время является одним из наиболее тонких и проницательных лингвистов) сохраняют неоправданное недоверие к различиям, вводимым в теоретические постро-

различаемые в языковой деятельности, можно уподобить понятию, которое, как сказал Ортега, является инструментом не для замещения стихийных проявлений действительности, а для закрепления их<sup>58</sup>. Абстракции не опасны, если рассматривать их как таковые; они становятся опасными лишь при отождествлении их с конкретными фактами (ср. 2.4). Совсем другое дело — говорить, что не следует «овеществлять» абстрактные системы (абстрагированные из речи): в этом смысле сохраняют силу предостережения Пауля<sup>59</sup>.

3.1.3. В структурах, составляющих язык, важно различать то, что является нормальным, или всеобщим (*норма*), и то, что является функциональным и дается в противопоставлении (*система*)<sup>60</sup>. Так, например, звук *e* в испанском слове *papel* «бумага» открытый, а в слове *queso* «сыр» закрытый, хотя в фонологической системе испанского языка отсутствует различительное противопоставление *e* открытого и *e* закрытого. Произношение [kɛso] и [papɛl] не задевает *системы* (так как в испанском языке не существует двух форм, которые различались бы только противопоставлением *e/e*), но противоречит *норме* испанского языка. Аналогично [b] и [β] как невзаимонезаменяемые «комбинаторные варианты» являются в испанском языке (а не просто в речи того или иного индивидуума) *нормальными инвариантами*, которые, однако, соответствуют одному *функциональному инварианту* /b/. Противопоставление [b] и [β], не будучи функциональным (различительным), тем не менее принадлежит испанскому языку, а именно его

---

ния и представляющим собой инструмент исследования, как будто эти различия нарушают целостность объекта. Такая позиция означает выбор другого пути, но отнюдь не преодоление антиномий. Ведь «преодолеть» не значит просто «не принять» или «отвергнуть». «Преодолеть» — это значит «пойти дальше, отрицая и в то же время сохраняя рациональное зерно отрицаемого». Неверно также и то, будто языковая деятельность состоит в «преодолении» различных антиномий: для говорящего как такового антиномий попросту не существует. Более того, указанный подход приводит к недопустимому смешению позиций говорящего с позицией лингвиста. Лингвистика — это не «первичная речь» (ср. 1, 2. 3. 2), а «речь о речи»; поэтому лингвистика не может принять точку зрения простого говорящего. Нужно исходить из *знаний говорящего* о речевой деятельности, но нельзя смешивать план речи с планом лингвистики. Если бы лингвистика приняла принцип не проводить тех различий, которые не проводит говорящий как таковой, она не могла бы проводить никаких различий и вообще не могла бы оформиться как наука.

<sup>58</sup> «Meditaciones del Quijote», Madrid, 1914, стр. 43.

<sup>59</sup> «Prinzipien», стр. 11.

<sup>60</sup> Ср. SNH, стр. 54 и сл.

норме реализации<sup>61</sup>. В определенном смысле норма шире, чем система, ибо норма содержит большее число признаков (так, например, в случае исп. /b/, согласно норме, следует различать фрикативность и взрывность, тогда как с функциональной точки зрения эти признаки нерелевантны). Однако в другом смысле норма уже, чем система, поскольку она связана с выбором в пределах тех возможностей реализации, которые допускаются системой. Выбор же представляет «внешние» (например, социальные или территориальные) и «внутренние» (комбинаторные и дистрибутивные) вариации. Следовательно, *нормой* определенного языка является его «внешнее» (социальное, территориальное) равновесие — между различными реализациями, допускаемыми системой (так, например, во французском языке — равновесие между альвеолярными и увулярными реализациями фонемы /г/), и в то же время его «внутреннее» равновесие — между комбинаторными и дистрибутивными вариантами («нормальные инварианты») и между различными системными изофункциональными средствами; ср., например, равновесие между голландскими суффиксами множественного числа -s и -en или между формами множественного числа на -ān и на -hā в классическом персидском<sup>62</sup> или же между «сильными» и «слабыми» причастиями в испанском<sup>63</sup>. Норма, выражающая равновесие системы, может быть названа *нормой функциональной*.

В общем виде можно, следовательно, сказать, что *функциональный язык* (язык, на котором можно говорить) — это «система функциональных противопоставлений и нормальных реализаций», или, точнее, это *система* и *норма*. Система есть «система возможностей, координат, которые указывают открытые и закрытые пути» в речи, «понятной»

---

<sup>61</sup> Некоторые другие примеры (из области фонетики, грамматики и лексики) можно найти в SNH, стр. 42—54 и в «Forma y sustancia», стр. 25—32. Что касается фонетики, то в указанных работах приводятся замечания Н. Ван-Вейка, Я. Лазициуша и Б. Мальмберга. Ср. еще такие работы Мальмберга, как уже цитированную «Système» и «Till frågan av språkets systemkaraktär», Lund, 1947.

<sup>62</sup> В настоящее время окончание -ān — это малоупотребительный «факультативный вариант» окончания -hā, которое практически является всеобщим.

<sup>63</sup> В ту эпоху, когда допускались как *cinto* и *visto*, так и *ceñido* и *veído*, речь могла идти о простых «вариантах» или, в крайнем случае, об инвариантах реализации, находящихся во «внешнем» равновесии. Теперь же функциональная норма допускает только *visto* и *ceñido*, находящиеся во «внутреннем» равновесии.

данному коллективу<sup>64</sup>; норма, напротив,— это «система обязательных реализаций» (обязательных в смысле изложенного в § 1.3.3), принятых в данном обществе и данной культурой: норма соответствует не тому, что «можно сказать», а тому, что уже «сказано» и что по традиции «говорится» в рассматриваемом обществе<sup>65</sup>. Система охватывает идеальные формы реализации определенного языка, то есть технику и эталоны для соответствующей языковой деятельности; норма же включает модели, исторически уже реализованные с помощью этой техники и по этим шаблонам. Таким образом, через систему выявляется динамичность языка, то, как он формируется, и в силу этого — его способность выходить за пределы уже реализованного; норма соответствует фиксации языка в традиционных формах. Именно в этом смысле норма в каждый данный момент представляет синхронное («внешнее» и «внутреннее») равновесие системы.

3.1.4. Следует, однако, подчеркнуть, что функциональный язык нельзя смешивать с историческим, или конкретным, языком (как, например, испанский язык, французский язык и т. д.). Исторический язык может охватывать не только несколько норм, но также и несколько систем. Так, например, реализации слова *саза* как [kaða] и [kasa] являются в равной мере испанскими, но соответствуют двум разным системам: в одной системе *саса* и *саза* различаются, в другой этого различия не существует (по крайней мере фонологически)<sup>66</sup>. Таким образом, «испанский язык» — это «архисистема», которая включает в себя несколько функциональных систем<sup>67</sup>. Равновесие

---

<sup>64</sup> Конечно, эти «возможности» не существуют и познаются лишь потому, что в значительной своей части они оказываются реализованными. Непонятно, каким образом система может существовать, даже если, как иногда говорят, «она и не реализуется» (см. L. Hjelmslev, *Omkring Sprogteoriens Grundlaeggelse*; англ. перев. *Prolegomena to a theory of language*, Baltimore, 1953, стр. 68). Языковые системы являются исторически реальными системами, а не чисто гипотетическими конструкциями.

<sup>65</sup> Ср. SNH, стр. 59. В данной работе говорится о «социальном и культурном навязывании». Однако это неудачное выражение, поскольку язык не «навязывается» говорящим (ср. III, 1.1).

<sup>66</sup> Ср. «Forma y sustancia», стр. 28—29, 70—71.

<sup>67</sup> Эти системы могут различаться территорией распространения, но могут сосуществовать и на одной и той же территории (например, в различных социальных или культурных слоях). О сосуществовании разных систем в пределах одного «состояния языка»

между системами, включенными в архисистему, можно назвать *исторической нормой* <sup>88</sup>.

3.2.1. Языковые элементы, которые обнаруживаются в конкретной речи, представляют собой, как уже говорилось (ср. 2.1), «языковые навыки» говорящих. Для каждого говорящего язык — это *умение говорить, знание того, как говорят* в определенном обществе и в соответствии с определенной традицией. На основе такого знания говорящий создает свои высказывания, которые в той мере, в какой они совпадают с высказываниями других говорящих или принимаются ими, составляют (или могут составлять) язык, засвидетельствованный в речи. В этом смысле всякий говорящий лишь в исключительных случаях создает свои собственные модели; языковые навыки он непрерывно приобретает от других говорящих <sup>89</sup>.

3.2.2. Взятые сами по себе языковые навыки — это *умение делать*, то есть *техническое умение*. Иногда утверждают, что речь — это «бессознательная» деятельность или что говорящие «не осознают» норм языка, на котором они говорят (ср. 3.2.3). Однако это положение ошибочно и противоречиво и от него следует отказаться. Непатологическая деятельность бодрствующего сознания не бывает и

---

см. также Ch. C. Fries and K. L. Pike, Coexistent phonemic systems, «Languages», XXV, стр. 29 и сл.; V. P i s a n i, Forschungsbericht, стр. 38—39; уже цитированные работы Б. Мальмберга («Système» и «Till frågan»).

<sup>88</sup> В другом месте я покажу, что *противопоставления в норме* существенно отличны от *противопоставлений в системе*. Последние являются *внутренними*, в то время как первые — *внешними*. Факт нормы может быть «функциональным» (например, он может иметь экспрессивную или аппелятивную функцию), но лишь по отношению к *другой норме* (соответствующей *другой* социальной среде, *другой* территории, *другому* «месту» в системе) или просто по отношению к тому, что «не говорят» (к несуществующей норме), а не внутри той же самой нормы. Поэтому противопоставления различных систем внутри одной «архисистемы» могут рассматриваться как «нормальные». Так, например, тот факт, что в уругвайском варианте испанского языка /ʒ/ представляет собой именно /ʒ/ (а не /ʒ/ и не /ʒ/), это факт, стилистически функциональный по отношению к «стандартному кастильскому варианту испанского языка», но он не является таковым внутри самой системы уругвайского варианта. Ср. «Forma y sustancia», стр. 26; E. Coseriu у W. V á s q u e z, Para la unificación de las ciencias fónicas, Montevideo, 1953, стр. 11.

<sup>89</sup> Ср. N. H a r t m a n n, цит. раб., стр. 213: «Индивидуум не создает своего языка, а находит для себя язык, на котором уже говорят, и „перенимает“ его от говорящих путем речевого общения».

не может быть «бессознательной». Принцип, сформулированный некогда одним картезианским мыслителем, — «не может быть, чтобы тот, кто не знает, как делается нечто, делал это» («impossibile est, ut is faciat, qui nescit quomodo fiat») <sup>70</sup>, — применяя к языковому творчеству, скорее следует перевернуть: «не может быть, чтобы тот, кто делает, не знал, как это делается». Верно, впрочем, что знание языка — умение говорить и понимать то, что говорится, — это не *теоретическое знание*, т. е. оно не может быть объяснено или по крайней мере оно не может быть объяснено во всех своих частях. Однако для каждого говорящего на родном языке знание этого языка является ясным и несомненным знанием. Знание языка принадлежит к тому типу знания, который Лейбниц <sup>71</sup> называл *ясно-смутным* (то есть несомненным, но необъяснимым), и к другому типу знания, который Лейбниц называл *отчетливо-неадекватным* (знание, которое может быть объяснено лишь частично), хотя простое *умение говорить на определенном языке* граничит, с одной стороны, с *темным* знанием (включающим все то, что говорящий знает, но в чем сомневается), а с другой стороны, с *отчетливо-адекватным* знанием (знание грамматиста, то есть лингвиста, и самого говорящего, когда он выступает как грамматист) <sup>72</sup>. Существование и несомненность языковых навыков (знания языка) проявляются позитивно в том, что говорящий использует традиционные формальные и семантические схемы, а негативно в том, что говорящий опознает как чужое

---

<sup>70</sup> Эта фраза принадлежит нидерландскому философу XVII в. А. Гелинксу (Geulinx).

<sup>71</sup> «De cognitione, veritate et ideis» (1684), исп. перев. в «Tratados fundamentales»<sup>4</sup>, Buenos Aires, 1946, стр. 149 и сл.

<sup>72</sup> Б. Кроче (B. Croce, Questa tavola rotonda è quadrata в «Problemi di estetica»<sup>4</sup>, Bari, 1949, стр. 173—177) утверждает, что грамматика не наука, поскольку она не имеет своего объекта, так как не является «специальной формой познания» и поскольку не существует «грамматического взгляда на вещи». Что грамматического взгляда на «вещи» нет, это очевидно, однако грамматика занимается не *вещами*, а *словами*, которые так же принадлежат действительности, как и вещи. Грамматика систематизирует не знания о внеязыковом мире, находящие свое отражение в речевой деятельности, а знания о самой речевой деятельности, т. е. о формальных и семантических элементах речи. Ср. Н. J. P o s, The Foundations of word-meanings, «Lingua», I, 3, стр. 285: «Известно, что человек располагает не только знаниями о вещах, получаемыми с помощью языка, но и знаниями о самом языке». Это последнее знание и составляет основу грамматики (и всей лингвистики).

все, не соответствующее его языку. Так, носитель испанского языка принимает за неиспанские такие формы, как \*tö-göör или \*stramd, и в этом проявляется его знание системы языка, на котором он говорит. В то же время, если ему предложить такие формы, как \*piggo или \*llambada, он просто скажет, что этих слов он не знает. Создатели слов изобретают всегда только такие слова, которые подходят к данной системе. Если говорящий понимает, что произношение слова ambos «оба» как [anvos] является неиспанским, а форма escibido (вместо escrito) — «неправильной», то он проявляет знание нормы. Тот же, кто объясняет форму [aža] посредством формы [ala] (halla), проявляет знание *другой* системы, принадлежащей тому же самому конкретному языку.

3.2.3. Целесообразно напомнить, что необходимость постановки проблемы языковых навыков была уже достаточно очевидна Герману Паулю. Пауль пытался даже различать несколько ступеней «осознания» этих навыков (с точки зрения производства звуков)<sup>73</sup>, но он не сумел понять их истинную природу и удовлетворительно осветить этот вопрос, что, несомненно, объясняется его гербартианскими принципами. Соссюр, напротив, даже не поставил указанной проблемы и в согласии с мнением Шлейхера утверждал безусловную «бессознательность» говорения: «Говорящие в основном не осознают законов языка; а если они не отдадут себе отчета в этих законах, то как они могут изменять их?..» Эта система представляет собой сложный механизм, который можно понять только путем рассуждения; даже те, кто ежедневно пользуется ею, совершенно не знают ее устройства<sup>74</sup>. На самом деле говорящие полностью осознают систему и так называемые «законы языка». Они не только знают, *что* они говорят, но также и *как* следует говорить (и как не следует говорить); в противном случае они вообще не могли бы говорить. С другой стороны, сказанное не означает, что говорящие «понимают» свой языковой инструмент (это дело лингвиста), но они *умеют применять* его, умеют сохранять (воссоздавать) норму и творить в соответствии с системой.

3.3. В качестве *передаваемого знания* (а не просто сугубо личного «навыка») знание языка есть факт *культуры*. Это означает, что язык, помимо того, что он лежит в основе внеязыковой культуры и «отражает» ее, помимо того, что он является, как говорил Гегель, «действительностью [действительностью: Wirklichkeit] культуры»<sup>75</sup>, — сам по себе

<sup>73</sup> Ср. «Prinzipien», стр. 49 и сл.

<sup>74</sup> CLG, стр. 137—138. Ср., однако, стр. 265—266, где аналогично этому Соссюр отмечает, что говорящие осознают системные отхождения в языке.

<sup>75</sup> «Phänomenologie des Geistes», VI B.

есть культура<sup>76</sup>. В самом деле, человек обладает не только знанием о вещах *через посредство* языка, но и знанием самого языка (ср. сн. 72). В этом смысле «культурный аспект» языка — это сам язык как совокупность языковых навыков.

3.4.1. Наконец, в качестве *знания, общего* для нескольких или многих говорящих, знание языка является *межиндивидуальным*, или *социальным*; а в качестве *традиционного* (неуниверсального) *знания* оно является *историческим* знанием. Именно поэтому историческая точка зрения может быть применена без противоречий к синхронному языку: с *исторической* (не *диахронической*) точки зрения синхронный язык — это *актуальная* система старых и новых языковых традиций (ср. 2.3).

3.4.2. Межиндивидуальность языковых навыков является следствием их историчности и не нуждается в другом объяснении, нежели то, которое вытекает из самой функции речевой деятельности. Нет необходимости помещать язык в «массу», как это сделал Соссюр, или прибегать (как Фосслер) к предполагаемым «коллективным тенденциям народного духа». Межиндивидуальность не обуславливается языком «массы», а, наоборот, сама является условием и основанием для становления этого языка. Языковой факт является «фактом языка» именно потому, что он первично дается и наблюдается как межиндивидуальный, а не наоборот; и нет «народного духа» вне традиционного знания и традиционных навыков. Равным образом незачем прибегать к «надиндивидуальному разуму», как это делает, например, Ломан<sup>77</sup>, или к понятию «super-ego», предлагаемому Р. Холлом мл.<sup>78</sup> С помощью таких неудачных способов пытаются подчеркнуть «альтруистический» характер, присущий речевой деятельности с точки зрения индивидуального сознания (которое само «социально»), то есть то, что для любого сознания язык представляется принадлежащим «также и другим» (ср. 1.3.3). Однако указанные выше понятия — даже если понимать «super-ego» как «индивидуальное» — слишком напоминают известное понятие «коллективной психологии», изгнанное из лингвистики еще Г. Паулем<sup>79</sup>. С другой стороны, помимо того, что эти понятия являются

<sup>76</sup> О речевой деятельности как «факте культуры» и в то же время как «условии» культуры см. важные соображения Дьюи (J. Dewey, *Lógica*, стр. 60—61, 72).

<sup>77</sup> J. Lohman, «Lexis», III, 2, стр. 217; ср. реплику В. Пизани («Paideia», IX, 6, стр. 386).

<sup>78</sup> «Idiolect and linguistic super-ego» в «*Studia Linguistica*», V, стр. 21—27.

<sup>79</sup> «Prinzipien», стр. 10—12. Ср. также В. Гросе, *La Völkerpsychologie e il suo preteso contenuto* в «*Conversazioni critiche*», I<sup>a</sup>, Bari, 1924, стр. 121—125 и O. Jespersen, *Mankind, nation, and individual from a linguistic point of view*, исп. перев. «*Humanidad, nación, individuo, desde el punto de vista lingüístico*», В. Aires, 1947, стр. 26—27, 47.

спорными, они не «объясняют» межиндивидуальности языка. Наоборот, они сами основываются на межиндивидуальности знания языка (и других аналогичных знаний и навыков). Эти понятия являются по отношению к межиндивидуальному не первичным и «действенным», а вторичным и производным.

3.5.1. Из сказанного следует, что в реальном языке совпадают системное, культурное, социальное и историческое (хотя границы различных системных, культурных, социальных и исторических структур могут и не совпадать). Это не означает, что мы игнорируем разнообразие исторических языков. Обычно исторический язык не исчерпывается одной системой и одной нормой (ср. 3.1.4), но все, что в языке является в какой-то степени «системным» (как система и норма или как различные нормы), является в то же время культурным, социальным и историческим. «Значения традиционны, а традиций много»<sup>80</sup>, то же самое можно сказать о любом другом аспекте знания языка: в пределах основной общей языковой традиции всегда существует несколько частных традиций. Это разнообразие языковых навыков проявляется не только «в коллективе», но и в одном индивидууме, который, будучи историческим индивидуумом, знает целый ряд традиций и может пользоваться ими в соответствии с обстоятельствами и обстановкой, сложившимися к моменту разговора (то есть в соответствии с потребностями взаимопонимания), и в соответствии с намерениями выразить то, что ему нужно. Так, например, в Уругвае учитель при преподавании обычно использует как фонологическую систему уругвайского варианта испанского языка, так и фонологическую систему «образцового» кастильского варианта (последнюю особенно во время диктантов). Учитель может даже прибегнуть к графической системе, указывая, например: «с буквой *hache*», «с буквой *elle*»<sup>81</sup>, «с буквой *zeta*», «с буквой *v corta*», чтобы отличить *hojea* «листать» от *ojea* «взглянуть», *halla* «находит» от *haa* «чтобы имелось», *saza* «охота» от *sasa* «дом», *revelar* «разоблачать» от *rebelar* «ссорить». И если, например, учитель произносит [aʒa], а затем объясняет: «[aja], с буквой *hache*» (то есть ни *halla* «находит», ни *aa* «няня», а *haa* «чтобы имелось»), то, значит, он в одном и том же высказывании пользуется тремя различными

<sup>80</sup> J. Dewey, *Lógica*, стр. 66.

<sup>81</sup> Заметим, что диграмма *ll* даже в уругвайском варианте испанского называется [eʎe], а не [eʒe].

системами, хотя и употребляет их в *метаязыке* (то есть говоря о словах).

3.5.2. Поэтому, вопреки мнению Р. Холла<sup>82</sup>, понятие *идиолекта*, введенное Б. Блоком, не снимает трудностей, которые возникают перед объективистским системным описанием в силу сосуществования систем. Это понятие не может быть введено также в качестве промежуточного между *языком* и *речью*, поскольку если различие между языком и речью интерпретировать должным образом, то оно окажется различием абстрактного и конкретного (или умения и делания, потенции и акта, виртуального и актуального), а не количественным различием, не различием по степени распространения. Кроме того, надо сказать, что понятие идиолекта не ново. Нов лишь сам термин «идиолект», а понятие соответствует понятию *Individualsprache* К. Роггера и понятию *lingua individuale* различных итальянских ученых. О. Есперсен также говорил о языковых навыках индивидуума<sup>83</sup>. Но, как заметил уже А. Гардинер<sup>84</sup>, «индивидуальный язык» — это просто «язык» (*langue*)<sup>85</sup>. Что же касается самого понятия индивидуального языка — в смысле «индивидуального языкового фонда» (который, впрочем, может включать элементы, принадлежащие разным «языкам»), и не в том специальном смысле, какой этот термин приобретает в стилистике, — то это смешанное понятие. «Индивидуальный язык» (выведенный из речи одного индивидуума) — это «язык» лишь с технической точки зрения, а не действительный язык. Будучи «языком», «индивидуальный язык» не является строго индивидуальным; будучи же строго индивидуальным, этот язык не является языком: не может существовать язык, на котором не говорили бы «с другими»<sup>86</sup>.

<sup>82</sup> Цит. статья.

<sup>83</sup> «Humanidad», стр. 25 и сл. и «Atti del III Congresso Internazionale dei Linguisti», Firenze, 1935, стр. 354. Ср. также понятие «языка» (*language*) у Джоунза (D. Jones, *On phonemes*, TCLP, IV, стр. 74 и *The phoneme: its nature and use*, Cambridge, 1950, стр. 9).

<sup>84</sup> «The distinction of „Speech“ and „Language“» в «Atti», III, стр. 347.

<sup>85</sup> Ср. также «Forma y sustancia», стр. 71.

<sup>86</sup> Заметим мимоходом, что понимание Холлом крочеанской концепции речевой деятельности отличается существенной неточностью. «Индивидуум» у Кроче — это не абстрактный индивидуум некоторых социологов и психологов (внесоциальный и внеисторический индивидуум), а конкретный индивидуум, одновременно социальный и исторический. И «субъект» у Кроче — это не эмпирический, а «всеобщий субъект» (дух в качестве творца). Наконец, речевая деятельность у Кроче понимается как теоретическая деятельность, а не как употребление знаков: Кроче утверждает, что речевая деятельность — это, по существу, поэзия, но он отнюдь не утверждает, что любое высказывание есть поэма. Поэтому Кроче нельзя противопоставлять Блумфилду, ибо они говорят о совершенно разных вещах. Конечно, положения Кроче выглядят абсурдными и нелепыми, если понимать их наоборот и приписывать ему чужие идеи: *pessima corruptio optimi* («это худшее искажение лучшего»). К сожалению, это часто встречается, особенно вне Италии. Удачное исключение представляет собой следующая работа: F. L e a n d e r, *Några språkteoretiska grundfrågor*, Göteborg, 1943. Автор, тонко

4.1. Итак, мы определили основания для постановки проблемы языкового изменения, решив рассматривать его в плане свободы и с точки зрения речевой деятельности как *ἐνέργεια*. При этом указанная проблема, сохраняя всю свою фактическую сложность, освобождается от логических противоречий и от надуманной таинственности. Более того, в известном смысле языковое изменение оказывается доступным каждому говорящему, поскольку оно вытекает из повседневного опыта речевой деятельности. Язык не есть нечто созданное раз и навсегда — это нечто, что создается, или, точнее, непрерывное «создание». Поэтому, как отмечал уже Штейнталь<sup>87</sup>, «в языке нет различия между „первичным“ творением и тем, которое повторяется каждый день». Естественно, что тот, кто создает, то есть любой говорящий, знает также что и как он создает,— в том смысле, который был разъяснен выше (3.2.2).

4.2. Необходимо, однако, различать три следующие проблемы языкового изменения, которые часто смешиваются: а) *логическую* проблему изменения (почему изменяются языки, то есть почему они не являются неизменными?); б) *общую* проблему изменения, которая, как мы увидим, является не «причинной», а «условной» проблемой (в каких условиях обычно происходят изменения в языках?); в) *историческую* проблему определенных изменений<sup>88</sup>. Вторая проблема является проблемой так называемой

---

интерпретируя тезисы Кроче, успешно критикует ошибки противников Кроче, а также различные вульгаризирующие толкования его учения. Ср. также разумное использование крочеанских идей у Ч. Фриза (Ch. C. Fries, *The Teaching of English*, Ann Arbor, 1948, особенно стр. 107 и сл.). О значении учения Кроче для лингвистики см. M. L e g o u, *Benedetto Croce et les études linguistiques*, «*Révue Internationale de Philosophie*», № 26, 1953, стр. 342—362 и A. S c h i a f f i n i, *El lenguaje en la estética de Croce* в «*Homensaje a Amado Alonso*», I (=NRFH, VII, 1—2), 1953, стр. 17—22. Критиковать Кроче можно (главным образом за его позицию по отношению к языку, который не является чистой абстракцией), но, безусловно, не в терминах Холла мл.

<sup>87</sup> «*Grammatik, Logik und Psychologie. Ihre Prinzipien und ihr Verhältnis zu einander*», Berlin, 1855, стр. 231.

<sup>88</sup> Смысл различия между этими тремя проблемами можно пояснить в известной степени с помощью следующей аналогии: а) почему умирают люди? (то есть почему люди не бессмертны?); б) от чего умирают люди? (от старости, от болезней и т. д.); в) от чего умер гражданин N? Первая из этих проблем — это логическая проблема смерти (или смертности человека), и ее нельзя свести ко второй проблеме.

«общей лингвистики». Поскольку «общая» лингвистика есть не что иное, как обобщение результатов исторической лингвистики, эта проблема представляет собой обобщение определенных аспектов проблем третьего типа, а решение этой проблемы является обобщением различных решений конкретно-исторических проблем. Это последнее как сводка сведений об исторических фактах в свою очередь позволяет выдвигать гипотезы для решения новых конкретных проблем. Первая проблема в отличие от второй представляет собой теоретическую проблему *изменчивости языков*. Как теоретическая проблема она, конечно, зависит от знания «фактов», поскольку всякая теория есть теория опыта (то есть реального), но ее решение ни в коей мере не является простым обобщением различных частных решений. Напротив, так как это проблема первичная, от ее решения зависит правильная постановка проблем б) и в). Что касается постановки самой этой проблемы, то, как это всегда бывает в науках о человеке, она основывается на «первоначальном знании» речевой деятельности, то есть на том знании, которое человек имеет о себе самом и которое предшествует всякой науке<sup>11</sup>. Одна из наиболее опасных для лингвистики ошибок, происходящая оттого, что языки рассматриваются как «вещи», и оттого, что науки о человеке и науки о природе часто смешиваются, состоит в стремлении свести теоретические (логические) проблемы к «общим» проблемам. В случае языкового изменения эта самая ошибка состоит в допущении, будто проблема *изменчивости языков* может быть разрешена, если мы найдем «причину» или все предполагаемые «причины» многих частных *изменений* (ср. VI, 2.4.4).

### III. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗМЕНЕНИЯ. ИННОВАЦИЯ И ПРИНЯТИЕ. ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ.

1.1. Логическая проблема языкового изменения, являющаяся проблемой *изменчивости языков*, становится вдвойне незаконной, если она смешивается с условной проблемой частных изменений и ставится в причинных терминах, в терминах *внешней необходимости*. В самом деле,

<sup>11</sup> Ср. по этому поводу важную статью Поса: H. J. Pos, *Phénoménologie et linguistique*, «Revue Int. de Philosophie», I, 2, стр. 354—365. См. также «Forma y sustancia», стр. 18—20, 35—37.

спрашивать — в теоретическом плане, — почему изменяются языки (почему языки не являются неизменными), означает спрашивать, почему язык *изменчив*, почему *изменчивость* следует относить к самой природе языка, а не «какими причинами» объясняются изменения, наблюдаемые в языках. Речь идет не о том, почему «все-таки» изменяется нечто, что по 'определению не должно было бы изменяться'; такой вопрос означал бы, что мы исходим из формального определения языка, то есть, в конце концов, из произвольной догмы (ср. 1.2.1). Напротив, мы должны задать вопрос, почему изменение соответствует бытию языка. Если проблему изменчивости поставить правильно, то она станет существенной и необходимой проблемой характеристики языка. В известном смысле эта проблема выступает и как «причинная», однако здесь имеется в виду *формальная причина*, или причина как *логическая необходимость*, а не «действенная причина», воспринимаемая как *внешняя необходимость*. То есть в этом смысле имеется в виду не проблема, «подлежащая решению», а проблема, которая решается самим пониманием действительного бытия языка. Язык изменяется именно потому, что он *не есть нечто готовое*, а непрерывно *создается* в ходе языковой деятельности. Другими словами, язык изменяется, потому что на нем говорят, потому что он существует лишь как техника и совокупность закономерностей речи. Речь — это творческая деятельность, свободная и целенаправленная; речь всегда выступает как новое — в той степени, в какой ее определяет индивидуальная, актуальная, заново поставленная цель — выразить нечто<sup>1</sup>. Говорящий создает, или формирует, свои высказывания, используя ранее существовавшую технику и материал, которые предоставляют ему его языковые навыки. Таким образом, язык *не навязывается* говорящему, а предлагается ему; говорящий *использует* язык для реализации своей свободы выражения.

1.2. Итак, скорее всего следует задаться вопросом, почему язык не изменяется полностью, почему он *воссоздается*, то есть почему говорящий не изобретает сред-

---

<sup>1</sup> Ср. М. Merleau-Ponty, Sur le phénoménologie du langage. Problèmes actuels de la phénoménologie, Bruxelles, 1952, стр. 100. «Я выражаю нечто, когда, используя все эти говорящие инструменты, заставляю их говорить то, чего они никогда не говорили». См. также J. Vendryes, Le langage<sup>9</sup>, Paris, 1950. тp. 182—183.

ства выражения всякий раз заново. Это невозможно понять, не уяснив себе того, что историчность человека совпадает с историчностью речевой деятельности. Говорящий не употребляет *особую* технику, а использует ту *систему*, которую ему предлагает коллектив, и, более того, ту реализацию этой системы, которая соответствует традиционной *норме*, потому что именно такова его *собственная* традиция.

Говорящий не изобретает заново средств выражения, а использует существовавшие ранее модели именно потому, что он является данным историческим индивидуумом, а не каким-либо иным, а также потому, что язык характеризуется той же историчностью и тем же бытием, что и *данный* индивидуум<sup>2</sup>. Таким образом, речь, не теряя индивидуальной свободы выражения и смысловой целенаправленности, обязательно реализуется в определенных исторических рамках, которые суть не что иное, как язык<sup>3</sup>. При этом речевая деятельность сама исторична и является основой историчности человека, потому что она представляет собой *диалог, разговор с другим*: «Сознание, которое создает обозначения чего-то, предполагает существование сознания, которое может *интерпретировать* сказанное, то есть может воспринять знак и *понять* его»<sup>4</sup>. Говорить — это всегда «сообщать» (ср. 2.3.4). Благодаря сообщению «нечто становится общим»<sup>5</sup>; точнее говоря, сообщение (коммуникация) существует лишь постольку, поскольку говорящие уже имеют нечто общее, что проявляется в процессе разговора одного с другим<sup>6</sup>. В этом смысле речевая деятельность является одновременно и первым основанием и первой формой проявления *интерсубъективности*<sup>7</sup>,

<sup>2</sup> Ср. G. Gentile, *Sommario di pedagogia come scienza filosofica*, I<sup>a</sup>, Firenze, 1954, стр. 65: «Конечно, вместо „столик“ я бы мог сказать „перо“. Абстрактно говоря, да, но конкретно — нет. Ибо я, говорящий, имею за своей спиной историю; она вокруг меня, точнее, она внутри меня, и я сам есть эта история. Точно так же обстоит дело с тем, что я говорю, и поэтому я должен сказать „столик“, а не иначе». В этом же смысле можно интерпретировать сказанное Соссюром о «законе традиции» (CLG, стр. 139).

<sup>3</sup> Ср. A. Pagliaro, *Corso*, стр. 26—27.

<sup>4</sup> G. Calogero, *Estetica, semantica, istorica*, Torino, 1947, стр. 240.

<sup>5</sup> J. Dewey, *Lógica*, стр. 61.

<sup>6</sup> Ср. M. Heidegger, *Sein und Zeit*, исп. перев. *El ser y el tiempo*, México, 1951, стр. 188, 194.

<sup>7</sup> Ср. M. Merleau-Ponty, цит. статья, стр. 108.

бытия с другими, что совпадает с историческим бытием человека. В самом деле, «бытие с другими» означает именно возможность «взаимопонимания», то есть возможность находиться на одной и той же исторической плоскости. А эта возможность дается лишь языком, который и в говорящем и в слушающем представляет свойственную им форму исторического бытия. Человеческое сознание — это всегда историческое сознание, а основной формой проявления в человеке исторического сознания является «язык», умение говорить, как другие, то есть так, как уже говорили раньше в соответствии с традицией. Другими словами, говорить — это всегда означает говорить на каком-то определенном языке именно потому, что это значит говорить (а не просто «выражать вовне»), потому, что это значит «говорить и понимать», выражать нечто так, чтобы другой понял, то есть потому, что сущность языка проявляется в диалоге<sup>8</sup>. Отсюда следует также, что понятое слушающим (в той мере, в какой оно понятно) усваивается, становится «языком» (языковыми навыками) и может использоваться как модель для последующих актов речи: слушающий не только понимает то, что ему говорит говорящий, но и замечает также, как именно он говорит это.

1.3. В связи со сказанным необходимо подчеркнуть следующее: тот факт, что говорящему приходится пользоваться языком (определенным, конкретным языком), ни в коей мере не ограничивает свободу выражения, как часто полагают: свобода нуждается в языке, чтобы исторически реализовать свою цель — выразить нечто. Язык — это условие или инструмент языковой свободы, понимаемой как историческая свобода (ср. II, 2.2), а инструмент, которым пользуются, — это не тюрьма и не оковы. Жалобы на «недостаточность» языка, если они не просто риторические, либо представляют собой косвенное признание беспомощности в области выражения, либо объясняются знанием чужих языков, предлагающих говорящему другие возможности. Для одноязычных субъектов их родной язык всегда достаточен. Столь же несостоятельны жалобы по поводу так называемой «тирании» языков над мышлением. Верно, что француз именно потому, что он француз, «не может думать, как русский»<sup>9</sup>. Но это никоим образом не означает «принуждения» или

<sup>8</sup> Ср. M. Heidegger, Hölderlin und das Wesen der Dichtung, Frankfurt a. M., 1936, III. А. В. де Гроот, признавая фундаментальную важность диалога, правильно противопоставляет дихотомии «язык — речь» различие между языком, речью и интерпретацией; ср. BCLC, V, стр. 6.

<sup>9</sup> A. Schopenhauer, El pensamiento y la lengua o cómo concebir la relación orgánica de lo individual y lo social en el lenguaje, исп. перев. в уже цитированной «Psicología del lenguaje», стр. 53. В той же самой статье — которая, впрочем, представляет собой

ограничения конкретной свободы, поскольку француз, если он не знает русского языка, и не думает, что он может думать по-иному. Необходимость же быть самим собой не есть принуждение. Верно также, что говорящий не может изменить язык, которым он располагает, уже установившийся язык, до того как он воспользуется им, поскольку это логически невозможно. Однако говорящий приспосабливает язык к своим потребностям выражения и тем самым преодолевает его. Кроме того, язык — это инструмент особой природы, потому что в качестве «системы возможностей» (ср. II, 3.1.3) он является также инструментом для преодоления самого себя<sup>10</sup>.

2.1. Исторически сложившийся язык используется и проявляется в речи; но язык *κατ'ἐνέργειαν* полностью не совпадает с языком *κατὰ δὴνασιν*. В речи язык «искажается» как целевыми установками выражения, так и психофизическими условиями звуковой реализации.

2.2.1. Некоторые из психофизических воздействий на звуковую реализацию являются случайными (например, простая усталость или возбуждение говорящего), другие постоянны для данного говорящего, а третьи присущи всем говорящим: например, несоответствие между глобальным характером акустического образа и «линейным» характером звуковой реализации (причина антеципаций, метатез, регрессивных ассимиляций), инерция органов речи (причина появления эпентетических звуков и прогрессивных ассимиляций) и прежде всего асимметрия речевого

---

попытку преодолеть соссюрские схемы — Сэше превращает Гумбольдта в своеобразного мистика (стр. 48, 49), но зато утверждает, что Соссюр блестящим образом реализовал разумную точку зрения Уитни, в соответствии с которой «всякое творчество или инновация в области языка в конечном итоге сводится к выбору, сделанному кем-либо» (стр. 50). Это, с другой стороны, не мешает ему заметить совсем в соссюрском духе, что язык «является объектом, внешним по отношению к индивидууму», который, «хочет он того или нет, вынужден принять язык и мириться с ним» (стр. 52). Напомним, что, по мнению Соссюра (CLG, стр. 145), «принцип непрерывности отменяет свободу».

<sup>10</sup> Ср. замечания Ч. Хоккета (Ch. F. Hockett в «Language», XXXII, стр. 468), который подчеркивает «тот неоспоримый факт, что в любом языке любой говорящий может сказать (и часто говорит) нечто, что никогда не было сказано раньше, без малейшего нарушения процесса коммуникации». Заметим, что, поскольку американская (блумфилдовская) лингвистика исходит из речи, а не из абстрактного языка, то, несмотря на провозглашение ею антиментализма, она, вообще говоря, находится в условиях, более благоприятных для понимания языка как открытой системы возможностей и как «способа создавать», чем соссюрская лингвистика.

аппарата, справедливо подчеркиваемая А. Мартине<sup>11</sup>. Кроме того, модификации, имеющие место в физиологии органов речи, можно объяснять еще и такими факторами, как климат или раса.

2.2.2. Иронические замечания по этому поводу, которые встречаются у многих лингвистов, в том числе и у таких проницательных, как О. Есперсен<sup>12</sup>, лишены основания, так как в действительности указанные факторы нельзя исключить а priori<sup>13</sup>. Прежде всего, их не может исключить лингвистика. В самом деле, язык есть факт культуры, но в то же время речь есть физическая деятельность, и она определяется всем тем, что составляет физическую природу говорящих. Однако сама лингвистика как таковая никоим образом не может решать проблемы возможных влияний климата и расы, поскольку здесь идет речь соответственно о проблемах экологии человека и физической антропологии. Более того, лингвистика даже не должна ставить эти проблемы. Лингвист может интересоваться, как именно физическая природа говорящих обуславливает речь, но он не компетентен заниматься тем, что обуславливает физическую природу человека. Лингвист исходит из человека как *такового*<sup>14</sup>.

2.2.3. Психофизические воздействия *могут быть* причинами «искажения», но это случается не всегда. Причинами «изменения» психофизические воздействия быть *не могут* (ср. 3.2.1). Специфически человеческие явления определяются физической природой лишь настолько, насколько человек соглашается на это. В человеке культурная сторона и целенаправленность постоянно берут верх над биологической стороной и необходимостью<sup>15</sup>; речь не является исключением в этом смысле<sup>16</sup>. В речи

---

<sup>11</sup> «Équilibre et instabilité des systèmes phonologiques» в «Proceedings of the Third International Congress of Phonetic Sciences», Gante, 1939, стр. 30—34; «Function, structure, and sound change» в «Words», VII, стр. 23—28. Ср. также А. Haudricourt и А. Jullian, цит. раб., стр. 21 и сл.; E. Alarcos Llorca, «Fonología», стр. 101.

<sup>12</sup> «Language. Its nature, development, and origin», London, 1950, стр. 256—257.

<sup>13</sup> Ср. А. Мартинет, «The voicing of old Spanish sibilants», «Romance Philology», V, стр. 156.

<sup>14</sup> Ср. E. Coseriu, «La geografía lingüística», Montevideo, 1956, стр. 8.

<sup>15</sup> Ср. J. Dewey, «Lógica», стр. 57.

<sup>16</sup> «Искажение» может, конечно, распространиться, но лишь если оно будет *принято*, то есть в результате свободного акта, обусловленного только в плане культуры и целенаправленности (ср. 3.2.2). Гипотеза о «постепенном и нечувствительном» физиологическом изменении нерациональна, так как она заставляет приписывать языку физическую непрерывность, которой язык не имеет

«физиологические» искажения подавляются и строго ограничиваются благодаря языковым навыкам и функциональной нагрузке. Следовательно, «физиологические» искажения могут «воздействовать» на язык (то есть быть принятыми и распространяться) только в случае недостаточности или непрочности языковых навыков и притом в случае, если они не затрагивают функционирования системы. Так, палатализация латинских *ke*, *ki* (предполагая, что это «физиологически обусловленное» изменение; ср., однако, V, 2.2.2) оказалась возможной лишь потому, что в латинском не было палатальных *i*, следовательно, это «искажение» не затрагивало различительных противопоставлений; однако новые *ke*, *ki*, возникшие в так называемой «вульгарной латыни», уже не палатализовались, потому что в системе существовали палатальные. Так называемый «синхронный фонологический закон симметрии систем гласных»<sup>17</sup>, который находится в прямом противоречии с асимметрией речевых органов,— это еще одна наглядная иллюстрация того, как функциональная целенаправленность преодолевает физическую необходимость.

2.3.1. Что касается воздействия целенаправленности на речь, то следует различать *целенаправленность выражения* и *целенаправленность коммуникации*: то, что *нечто говорится*, и то, что *нечто говорится кому-то*.

2.3.2. Разумеется, намерение говорящего выразить нечто ограничивается по большей части рамками разрешенного языком (то есть языковой традиции). Однако в самом разнообразии языковых навыков содержатся обширные возможности *выбора* (между разными нормальными реализациями и между разными изофункциональными средствами, имеющимися в системе), а всякий выбор — это уже модификация равновесия языка, которая дана в речи. С другой стороны, говорящий может не знать традиционной нормы; или в этой норме может отсутствовать необходимая ему в данном случае модель, и тогда он строит свои высказывания в соответствии с возможностями системы, как это делают дети, когда говорят *сабо* и *андé*

---

(ср. V, 1.3.3). «Физиологическое» искажение исчерпывается в данном речевом акте и может сохраняться только как *навык*, то есть как культурный, а не физический факт.

<sup>17</sup> Ср. N. S. T r u b e t z k o y, Grundzüge der Phonologie, франц. перев. «Principes de Phonologie», Paris, 1949, стр. 120.

вместо *querer* и *aprovecharse*<sup>18</sup>, или как поступил тот, кто, не заглянув в Академический словарь, впервые сказал *parar* «картофельное поле» в смысле *plantación de papas*. Более того, в соответствии с необходимостью выразить нечто говорящий может прибегнуть к средствам и элементам других систем и даже других исторических языков. Наконец, воздействие на речь контекста и обстоятельств позволяет говорящему сознательно игнорировать и изменять норму и даже устранять все те системные различия, которые оказываются избыточными в речевой цепи (ср. IV, 4.4) или в тех конкретных условиях, в которых имеет место акт речи.

2.3.3. Все это связано с потребностями общения, поскольку одно из «обстоятельств» говорения — и самое важное — это, конечно, наличие слушающего. Коммуникативная целенаправленность также обычно удерживается в большинстве случаев в рамках языка. Но язык (языковые навыки) говорящего никогда не бывает полностью идентичен языку слушающего<sup>19</sup>; слово, как говорил Монтэн, принадлежит (и должно принадлежать) «наполовину говорящему и наполовину слушающему». Этим объясняются постоянные усилия собеседников сделать обе «половины» как можно более тождественными, их стремление говорить, *как другой*. В силу приспособления к навыкам другого говорящий может даже отказываться в значительной части от собственных навыков, как это бывает при разговоре с иностранцами<sup>20</sup>, и модифицировать в определенной степени реализацию своих моделей таким образом, *чтобы другой лучше понимал его*.

2.3.4. А. Пальяро<sup>21</sup> преуменьшает значение коммуникации, считая, что она относится к «практическому» аспекту речевой деятельности и что речь развивается между двумя полюсами — между намерением выразить нечто и языком. Быть может, было бы точнее

<sup>18</sup> Детская речь не может дать нам никаких сведений о предполагаемом «примитивном» состоянии языка; однако она дает много сведений о том, как функционируют языковые системы.

<sup>19</sup> Можно сказать, что в диалоге, который ведется с помощью одного и того же «исторического языка», всегда неявно присутствует четыре различных языка: а) языковые навыки говорящего; б) языковые навыки слушающего; в) общая часть тех и других навыков; г) новый язык, образующийся в процессе диалога.

<sup>20</sup> Ср. по этому поводу замечания и примеры Р. Якобсона в «*Sur la théorie des affinités phonologiques entre les langues*», перепечатано в N. T r o u b e t z k o u, *Principes*, стр. 355—356.

<sup>21</sup> «*Il linguaggio come conoscenza*», стр. 80 и сл.

сказать, что речь — это свободная деятельность, заключающаяся в выражении чего-либо и развивающаяся по двум осям соответствия — соответствия с традицией и соответствия со слушающим. Обе оси совпадают в значительной части (в противном случае диалог был бы невозможным); однако — в той мере, в какой они не совпадают, — обычно преобладает соответствие со слушающим, поскольку нет речи, которая не была бы коммуникацией. Правда, коммуникация как практический факт не принадлежит к сущности речевой деятельности, но сама эта сущность дается в диалоге (ср. 1. 2). Поэтому коммуникация является как бы постоянной атмосферой речи и ее постоянным внешним условием<sup>22</sup>. Кроме того, следует отличать практическую и случайную коммуникацию (*сообщение чего-либо*, что означает «сказать кому-либо то или это»), которую было бы, вероятно, лучше называть «информацией», от собственно коммуникации, основной и первичной, то есть от *общения с кем-либо*, что не является внешним по отношению к речевой деятельности, поскольку собственно коммуникация существует и тогда, когда практическая коммуникация не устанавливается (то есть когда сказанное не понимается слушающим). В самом деле, уже само «говорение» предназначено *для другого*, поскольку речевая деятельность является именно проявлением самого себя для других<sup>23</sup>. В этом смысле речь — это всегда «коммуникация»; в силу этой коммуникации речь по необходимости является «языком», а слова по необходимости являются всеобщими.

3.1. Языковое изменение происходит в диалоге при переходе от языковых навыков, проявляющихся в речи одного собеседника, к языковым навыкам другого. Все то, в чем сказанное говорящим (рассматриваемое с точки зрения *языковых закономерностей*) отклоняется от моделей, существующих в языке, на котором ведется разговор, может быть названо *инновацией*. Допущение инноваций со стороны слушающего в качестве модели для дальнейших высказываний можно назвать *принятием*<sup>24</sup>. Различие

<sup>22</sup> Ср. V. P i s a n i, L'Etimologia, стр. 50.

<sup>23</sup> Об этом никто не сказал лучше Гегеля, который — после Аристотеля и несмотря на то, что он относительно мало занимался соответствующей проблемой, — является, несомненно, мыслителем, наиболее глубоко проникшим в существо речевой деятельности: «ведь он [язык] есть *ту-бытие* чистого себя как себя; в нем *существующая для себя единственность* самосознания начинает существовать таким образом, что становится единственностью *для другого*» (H e g e l, Phänomenologie, VI, B). Ср. также G. C a l o g e o, Estetica, стр. 244: «Язык — это распахивание закрытых окон, раскрытие своего духа духу другого». Однако в заключение совершенно неожиданно Калоджеро высказывается за практичность («риторичность») языка.

<sup>24</sup> Разумеется, мы имеем в виду диалог, сведенный к простейшей схеме. Реальный диалог гораздо сложнее. В действительности говорящий не только создает инновации, но в то же время распространяет чужие инновации. Кроме того, «инновация» может воз-

между инновацией и принятием кажется хотя очевидным, но малосущественным; однако оно является фундаментальным для понимания и правильной постановки теоретической проблемы языкового изменения. Многие ученые, очевидно, думают, что, объясняя «инновацию», они объясняют «изменение»; однако это еще одна ошибка, вытекающая из того, что проблема изменения рассматривается в плоскости абстрактного языка. В самом деле, в абстрактном языке каждая модель единственна (*одна фонема, одно слово*); но каждой модели абстрактного языка соответствует большое число моделей в различных индивидуальных комплексах языковых навыков, и невозможно представить себе, чтобы все эти модели изменялись одновременно.

**3.2.1.** Инновация (если мы оставим в стороне возможные, но крайне редкие случаи создания *ex nihilo*) может представлять собой: а) *искажение* традиционной модели; б) *выбор* одного из изофункциональных вариантов и элементов, существующих в языке; в) *системное образование* («изобретение» форм в соответствии с возможностями системы); г) *заимствование* из другого «языка» (которое может быть полным или частичным и по отношению к своей модели может означать также «искажение»); д) *функциональную экономию* (пренебрежение к различиям, избыточным в речи). Быть может, возможны и другие типы инновации. Типология инноваций представляет интерес для исследования способов, посредством которых речь преодолевает рамки данного языка. Однако эта типология не столь существенна по сравнению с проблемой языкового изменения, поскольку инновация не есть «изменение». *Языковое изменение* («изменение в языке») представляет собой распространение или обобщение инновации, то есть оно является рядом последовательных принятий. Таким образом, в конечном итоге всякое изменение — это прежде всего *принятие*.

**3.2.2.** Принятие — это акт, существенно отличный от инновации. Инновация, поскольку она определяется никнуть и у слушающего, например из-за неточности восприятия или из-за непонимания того, что высказано говорящим. Далее, каждый из двух участников диалога является в одно и то же время говорящим и слушающим, а каждый говорящий слушает также и самого себя. Наконец, слушающий «научается» от говорящего не только «инновациям», но также и традиционным правилам, которых он попросту раньше не знал.

обстоятельством и целевой установкой языкового акта, является «фактом речи» в самом строгом смысле этого термина: она связана с использованием языка. Напротив, принятие, будучи освоением новой формы, нового варианта, нового способа выбора в перспективе будущих актов, является становлением «факта языка», преобразованием опыта в «навык»: оно принадлежит к освоению языка, к его «воссозданию» посредством языковой деятельности. Инновация — это преодоление языка; принятие — это приспособление языка как *δύναμις* (т. е. языковых навыков) для преодоления его самого. Как инновация, так и принятие обусловлены языком, но в противоположном направлении. Кроме того, инновация может объясняться даже физическими «причинами» (например, такими, как ограничение свободы из-за физической необходимости), в то время как принятие, будучи освоением, модификацией или замещением определенной языковой модели, какой-либо возможности выражения, — это чисто мыслительный акт и, следовательно, принятие может быть обусловлено только целевыми установками — культурными, эстетическими или функциональными (ср. 4.3).

3.2.3. Те, кто приписывает языкам «внешнее» по отношению к индивидуумам существование, часто ошибочно допускают возможность одновременных изменений во всем историческом языке (или во всем «диалекте»). Так, по мнению самого А. Мейе, который выступает здесь скорее как младограмматик, чем сосюрнянец, — существуют не только «обобщенные» инновации, но также и «общие» инновации<sup>25</sup>. Однако подобное мнение (не говоря уже о том, что ему противоречат материалы, доставляемые лингвистической географией, то есть «факты») не может быть логически обосновано — именно потому, что язык не существует автономно, а существует лишь в речи и в умах говорящих (ср. II, 1.3.2). Поскольку это именно так, «общая» инновация не может получить никакого логического объяснения. Верно, что при исследовании изменений трудно или даже невозможно добраться до начальных актов инновации или принятия, однако это фактическая, а не логическая или рациональная трудность<sup>26</sup>. Другое дело — допущение того, что аналогичные инновации могут возникать у различных индивидуумов, находящихся в аналогичных исторических условиях и сталкивающихся с одними и теми же внутренними противоречиями системы (ср. IV, 4.4), и что инновации могут оказаться в благоприятных для их распространения условиях. Однако все это несколько не задевает индивидуальности самих инноваций. Особняком стоит случай «выученных» языков, которые приспособляются к системе «известного»

<sup>25</sup> Ср., например, «La méthode comparative en linguistique historique», Oslo, 1925, стр. 85—86.

<sup>26</sup> Ср. В. Г о с е, *Conversazioni critiche*, I, стр. 123.

языка, и случаи форм языка А, которые приспособляются к системе *другого* языка В. Так, любой носитель испанского языка усваивает англ. ticket «билет» как tique, st- как est-, r- как rr-, ph как p и т. д. Однако здесь мы имеем не инновации, а *адаптации* (приспособления); проблему же адаптации следует последовательно отличать от проблемы изменения в языке. Адаптации имеют место при использовании не одной системы, а двух различных систем. «Инновации», обусловленные «субстратом», — это именно адаптации, а не инновации (с точки зрения языка-субстрата); они становятся «изменениями» только в том случае, если имеет место обратное отношение между рассматриваемыми языками, то есть если выживает язык-«суперстрат»<sup>27</sup>. Однако Мейе был совершенно прав, когда отвергал вульгарную теорию «имитации»: дело совсем не в том, чтобы противопоставлять одного социолога другому (Тарда Дюркгейму), поскольку принятие — это не акт механической имитации, а сознательный и избирательный акт.

4.1. Проблема языкового изменения, по существу, есть не что иное, как проблема принятия<sup>28</sup>. Но это не проблема *причин* принятия (так как речь идет о целевом акте), а проблема возможности (4.2) и условий (4.3) принятия. Что касается, в частности, принятия звуковых инноваций, то здесь возникает еще и проблема их «общности» или «регулярности» (4.4).

4.2. Почему же слушающий понимает «искаженное» и «новое», то есть то, что «никогда не говорилось раньше», если коммуникация устанавливается посредством «языка»? Что касается чистых «искажений», то понимание слушателя определяется самим характером восприятия, которое всегда активно: языковое восприятие (как и любое другое) — это структурная интеграция воспринимаемого и немедленная его интерпретация в терминах предшествующего знания. Когда же мы имеем дело с собственно «новым», следует иметь в виду, что языковая *система* представляет собой «систему возможностей» (ср. II, 3.1.3) не только

---

<sup>27</sup> Первую, хотя и недостаточно отчетливую постановку проблемы «выученных» языков можно найти в работе E. Coseriu, *La lingua di Ion Barbu*, «Atti del Sodalizio Glottologico Milanese», I, 2, Milano, 1949, стр. 47—53. О фонематических адаптациях см., в частности, E. Polivаnov, *La perception des sons d'une langue étrangère*, TCLP, IV, стр. 79—96.

<sup>28</sup> Ср. замечания Пауля о звуковых изменениях (H. Paul, *Prinzipien*, стр. 63): «Можно сказать, что основная причина звуковых изменений связана с передачей звуков новым индивидуумам». Иногда говорят, что инновация «индивидуальна», а изменение «социально»; однако это (если не забывать о том, что сам индивидуум «социален») отличает не природу обоих явлений, а лишь их распространение.

для говорящего, но и для слушающего: она является сводом правил не только для построения выражений, но и для интерпретации еще не реализованных возможностей. Кроме того, хотя коммуникация существенно обусловлена языком, она использует также контекстные и ситуационные средства (все то, что говорящие видят или знают)<sup>29</sup>, например тон, мимику, жесты<sup>30</sup>. Наконец, говорить — это значит не только говорить *нечто*, но и говорить *о сказанном*, то есть объяснять и толковать то, как именно это сказано: обычная речь является одновременно «первичным языком» и «метаязыком». Все это позволяет понимать новое, ранее неизвестное, так что новое в свою очередь становится «языком» и присовокупляется к языковым навыкам собеседника.

4.3.1. Почему же из многочисленных инноваций, имеющих место в речи, только некоторые принимаются и распространяются?<sup>31</sup> Ответ на этот вопрос, частично в неявной форме, содержится в утверждении, которое раскрывается самим вопросом: принятие — это не механическое воспроизведение, это всегда выбор.

4.3.2. Таким образом, что касается звуковой стороны языка, то выбор начинается уже в момент восприятия благодаря его структурному и интегральному характеру. «Естественное расхождение между говорением и слушанием», о котором упоминает Фосслер<sup>32</sup>, существует, однако само по себе оно не имеет никакого значения, поскольку звуки произносятся и *слышатся*

---

<sup>29</sup> По этому поводу см. E. C o s e r i u, *Determinación y entorno. Dos problemas de una lingüística del hablar*, «Romanistisches Jahrbuch», VII, стр. 29—54.

<sup>30</sup> Очевидно, существуют такие элементы языка, которые могут проявляться только в сопровождении жестов. См. В. M i g l i o r i p i, «Lingua nostra», XII, 2, стр. 55: «Чтобы объяснить выражения типа *con tanto di barba* «вот с такой бородой», надо вспомнить, что первоначально они сопровождалась жестом, указывающим длину». Ср. исп. *con una barba así de larga*.

<sup>31</sup> Б. Мальмберг («*Studia Linguistica*», III, стр. 134) справедливо отмечает, что основной проблемой языкового изменения является именно данная проблема, а не проблема инноваций.

<sup>32</sup> «*Gesammelte Aufsätze zur Sprachphilosophie*», исп. перев. «*Filosofía del lenguaje*», Buenos Aires, 1947, стр. 102. Фосслер, допуская одну из частых непоследовательностей, рассматривает фонетическое изменение как «сумму минимальных отклонений, механических и незамечаемых». Но как же все-таки сохраняется «механическое» отклонение, чтобы к нему могли присоединиться другие? (ср. сн. 16).

в рамках нормальных и функциональных схем<sup>33</sup>. Большинство минимальных искажений, остающихся в рамках нормы и не имеющих никакой функциональной значимости, не только не распространяется, но не имеет даже каких-либо шансов быть замеченными<sup>34</sup>. Именно так обстоит

<sup>33</sup> Это не означает, что фонетические схемы должны пониматься обязательно как схемы акустические. Б. Мальмберг в своей полемике с И. Форххаммером («*Studia Linguistica*», IX, стр. 101) утверждает, что «мы объясняем с помощью звуков, а не с помощью движений определенных органов (механизм этих движений неизвестен большинству говорящих)». Может показаться, что данный тезис, соответствующий известному учению Якобсона, диктуется самой действительностью и здравым смыслом. Однако этот тезис оказывается спорным, поскольку в действительности акустический образ невозможно отделить от артикуляторного. Часто можно наблюдать, что слушающий правильно «понимает» слово или фразу лишь после того, как *повторит* их, то есть после того, как поставит их в соответствие со своим собственным артикуляторным движением. И вообще существует немало доказательств того, что понимание услышанного требует по крайней мере частичной артикуляции. Дело в том, что человеческое восприятие — особенно когда речь идет о значащих фактах — не пассивно, а предполагает «активное участие»: оно предполагает внутреннее воспроизведение воспринимаемого. Когда же Мальмберг утверждает, что говорящий не знает «механизма артикуляции», то он прав лишь в том случае, если имеет в виду говорящих, которые не обладают *научными* знаниями в данной области. В самом деле, те говорящие, которые не являются фонетистами или физиологами, не имеют научного представления о механизме артикуляции. Однако то же самое и с большим основанием можно сказать об акустическом механизме — поскольку обычный говорящий, как правило, незнаком с физиологией слуха. Зато все говорящие обязательно обладают *техническими* знаниями артикуляторных движений, ибо они умеют их осуществлять (ср. II, 3.2.2).

<sup>34</sup> Именно так следует понимать замечание Л. Гоша (L. G a u s s e n, *L'unité phonétique dans le patois d'une commune*; цитируется у О. Есперсена в «*Humanidad*», стр. 44) о том, что обследованные им крестьяне «не знали», что они говорят неодинаково. Вообще физикалистский объективизм приучил нас к мысли, что ни одно слово (как физический акт) не идентично другому; есть даже ученые, полагающие, что это связано с пониманием языка как *ἐνίρρημα*. Однако в действительности это вещи не связанные: язык как *ἐνίρρημα* нельзя смешивать с простой физической варьированностью, наблюдаемой как таковая. В одном случае утверждение «ни одно физическое слово не идентично другому» верно *объективно* (для ученых и для регистрирующих приборов), но не *объективно* (для говорящих). Говорящий — это не кинмограф. Трубецкой («*Principes*», стр. 12) определяет фонетику как «феноменологическую» науку (поскольку она должна заниматься звуками в том виде, как они представляются слушающему), и этот же термин фигурирует в «*Projet de terminologie phonologique standardisée*»,

дело, когда мы сталкиваемся с многочисленными случайными и индивидуальными звуковыми вариациями и отклонениями, которые можно обнаружить с помощью приборов, но которые «не слышатся»<sup>35</sup>.

4.3.3. Что касается воспринимаемого, то выбор может быть только сознательным. В силу сознательного характера (хотя это и «неясное» знание, см. II, 3.2.2) языковых навыков слушание всегда предполагает определенную позицию по отношению к говорящему как к носителю языка и по отношению к сказанному как к реализации языковых правил. Здесь выступает критерий «престижа», на который чаще всего обращают внимание итальянские неолингвисты<sup>36</sup>: большой престиж одного носителя языка по сравнению с другими носителями или большой языковой престиж одного общества по сравнению с другим обществом. Поскольку язык есть «навык, умение», то языку научаются от тех, кто «говорит лучше», от тех, кто *умеет* (или считается умеющим), а не от тех, кто не умеет. Слушающий всегда сравнивает свои языковые навыки с навыками говорящего, хотя чаще всего делает это непосредственно и бессознательно, и склонен перенять манеру говорящего, если признает за ним культурное превосходство или сомневается в преимуществе своих собственных

---

TCLP, IV, стр. 309. Однако следовало скорее сказать, что фонетика (понимаемая так, как ее трактовал Трубецкой) — это «феноменическая» и объективистская наука. «Феноменологической» — в том смысле, какой придается этому термину после Гуссерля, — является фонология (если понимать ее как функциональную фонетику в широком смысле слова, а не только как изучение «различительных функций»), поскольку она гораздо больше соответствует «естественному знанию говорящих».

<sup>35</sup> Г. Пауль («Prinzipien», стр. 55) справедливо отметил, что в определенных пределах вариации произношения не воспринимаются говорящими. Однако Пауль полагает, что именно здесь и скрыта причина изменений, «не замеченных» говорящими, а это неприемлемо: то, что не воспринимается, не может быть принято и не может распространяться. Л. Гоша (L'humanité, цитируется в O. J e s e r s e n, Humanidad, стр. 41) считает, что когда какой-либо говорящий произносит нечто по-новому (и это затем принимается остальными), то его нововведение «не замечается». Однако, как указывает Есперсен, здесь скрыто противоречие: принятие чего-то такого, что «не замечается», — уже само по себе противоречие. Языковое изменение — это не «инфекция».

<sup>36</sup> А также и другие ученые и среди них прежде всего О. Есперсен (см., например, «Humanidad», стр. 42—46). Есперсен даже приводит засвидетельствованные примеры принятия и распространения индивидуального произношения.

навыков<sup>37</sup>. В силу критической позиции слушающего по отношению к сказанному маловероятно, что слушающий примет «инновацию», которая представляется ему не функциональной или кажется «неправильной»<sup>38</sup>. Внутри же функционального слушающий отличает то, что соответствует постоянной различительной, или сигнификативной, необходимости, от того, что является проявлением индивидуальной *Kundgabe* или случайного *Appell* и, следовательно, не может быть принято в качестве нейтральной значимости «языка». Сводя все это к единому принципу, можно сказать, что принятие инновации всегда соответствует *необходимости выражения* (*necesidad expresiva*)<sup>39</sup>: эта необходимость может быть культурной, социальной, эстетической или функциональной<sup>40</sup>. Слушающий принимает то, чего он не знает, что удовлетворяет его эстетически, подходит ему социально или является для него функционально полезным. Следовательно, «принятие» — это акт, определяемый культурой, вкусом и практическим разумом.

4.4.1. Проблема «регулярности» или «общности» принятия звуковых инноваций совпадает со старой проблемой так называемых «фонетических законов». Существование исторических фактов, сгруппированных в связи с ошибкой в перспективе под этим физикалистским ярлыком, было одной из причин, в силу которых стали думать (а иногда думают и теперь) о более или менее таинственных факто-

---

<sup>37</sup> Этот критерий весьма важен, но его следует рассматривать лишь вместе с критериями функциональности и социальной. Слушающий может принять также языковые особенности индивидуумов более низкой культуры, если эти особенности окажутся функционально полезными для него или особо выразительными. Более того, слушающий может принять их лишь из стремления говорить, «как другие», чтобы не отрываться от языка коллектива. Это стремление — не выделяться слишком резко внутри языкового коллектива — зависит от вкуса: иногда это считается хорошим, а иногда — плохим качеством (очевидно, это все-таки хорошее качество).

<sup>38</sup> Как «неправильность» воспринимается все то, что, будучи чуждо системе или норме, функционально не оправдано.

<sup>39</sup> См. F. Schügg, *Substrattheorie und Phonologie aus dem Blickwinkel des Rumänischen*, «Cahiers Sextil Puscariu», II, 1, 1953, стр. 25—26.

<sup>40</sup> Под «функциональной необходимостью» здесь понимается различительная или десигнативная необходимость, присущая языковой системе. В других отношениях культурные, социальные и эстетические необходимости также являются «функциональными».

рах, воздействующих на языки и неизбежно изменяющих их. Отсюда и знаменитый «младограмматический» тезис — сформулированный последовательно В. Шерером (1875), А. Лескином (1876), Г. Остгоффом и К. Бругманом (1878) — об абсолютной регулярности или об «отсутствии исключений» (*Ausnahmslosigkeit*) в фонетических законах; регулярность понималась как отсутствие исключений в пределах данного диалекта или даже всего данного исторического языка (ср., впрочем, сн. 41). Однако рассматриваемая проблема не может быть решена и отрицательно — одним лишь признанием того, что фонетический закон — это не закон природы, а констатация исторических фактов и что фонетические законы являются не «общими», а обобщенными и поэтому допускают многочисленные исключения. Во всяком случае, к удовлетворительному решению проблемы фонетических законов указанные соображения не приводят. В самом деле, указать, что фонетические законы допускают исключения, — причем сама проблема законов не снимается, и они остаются столь же таинственными, как прежде, — значит принять в качестве основы для дискуссии язык как *εἶδος* и обсуждать в эмпирическом плане, а следовательно, неадекватным образом тезис, основанный на логической ошибке. Тезис об абсолютности (*Ausnahmslosigkeit*) фонетических законов — как и любой другой — ложен не потому, что ему противоречат факты; наоборот, факты противоречат ему потому, что он ложен. Следовательно, чтобы опровергнуть его, необходимо вскрыть его внутреннюю ложность, что, с другой стороны, означает вскрыть его внутреннюю истинность, поскольку ошибка никогда не бывает только и просто ошибкой. Не может быть принят и компромиссный тезис, признающий и «общие» и «обобщенные» инновации, так как само понятие «общей инновации» противоречиво и недопустимо (ср. 3.2.3). Наша задача сейчас состоит не в том, чтобы принять ту или иную точку зрения относительно фонетических законов, а в том, чтобы выяснить, каким реальным фактам соответствует сама идея «фонетического закона», если она отвечает хотя бы какому-нибудь реальному факту. Важным шагом вперед, несомненно, явилось понимание «фонетических законов» не как законов природы, а как исторических констатаций<sup>41</sup>.

<sup>41</sup> Ср. формулировку Г. Пауля («Prinzipien», стр. 68): «Звуковой закон не говорит нам, что именно должно происходить всегда

Это понимание является прогрессом в *методологии*. Оно вскрывает значение «фонетических законов» для *истории как описания фактов* (Historie), но не вскрывает, чем эти законы являются (то есть каким конкретным фактам они соответствуют) в *реальной истории* (Geschichte, ср. II, 2.3).

4.4.2. Указанную проблему, которая является центральной, нельзя решить в плане абстрактного языка. Ее решение следует искать только в плоскости языковой деятельности, ибо именно в этой плоскости язык обретает свое конкретное существование. В плоскости «языка» (langue) можно наблюдать лишь исторический результат, или «проекцию» того, что конкретно дано в речи<sup>42</sup>. Если рассматривать «общее звуковое изменение» в некотором «диалекте» (в «языке определенной группы индивидуумов»)

---

при известных общих условиях; он лишь констатирует закономерность в группе определенных исторических явлений». С другой стороны, Пулгрэм (E. P u l g r a m, Neogrammarians and soundlaws, «Orbis», IV, стр. 63) указывает, что термин Gesetz (в сложном слове Lautgesetz) имеет вообще у младограмматиков значение не собственно «закона», а скорее «закономерности», Gesetzmässigkeit. В той же статье (стр. 64) Пулгрэм воспроизводит формулировку Лескина (L e s k i e n, Die Deklination im Slavisch-Litauischen und Germanischen, Leipzig, 1876, стр. XXVIII), где в явной форме сказано, что фонетические законы *могут* иметь исключения, которые, однако, не являются ни произвольными, ни случайными.

<sup>42</sup> В лингвистике часто случается, что проблемы, которые могут быть решены лишь с точки зрения конкретной речи, ставятся в плане абстрактного «языка», где они попросту не имеют решения или имеют лишь частичное решение. Так, например, обстоит дело с категориями слов, представляющими собой сигнификативные средства речи. Их пытаются интерпретировать как «классы» слов языка. Однако указанные категории не являются «классами». Утверждение, что они не являются классами, не означает (как часто думают), что таких категорий не существует или что они постулируются только в силу некоторой условности или для практического удобства. Этот последний вывод относится лишь к интерпретации категорий как «классов» (что и в самом деле является дидактическим приемом), а не к самим категориям, поскольку, утверждая, что категории не являются «классами слов», мы обязательно должны иметь в виду какие-то реальные категории. Точно так же, утверждая, что фонетические законы *не являются общими*, мы должны иметь в виду реальные фонетические законы, поскольку они выступают в нашем высказывании как субъект негативной предикации. Разумеется, нет никакого противоречия в утверждении, что фонетические законы «не существуют»; однако и в этом случае необходимо указать, что же существует, то есть что именно интерпретируется как «фонетический закон».

с точки зрения речи, то следует отчетливо различать два типа общности: общность речи всех говорящих данной группы, то есть *экстенсивную общность*, или просто «общность», и общность во всех словах, содержащих затронутую изменением фонему или группу фонем (или во всех словах, где затронутая фонема или группа фонем находится в аналогичных условиях), которая выявляется лишь при рассмотрении языковых навыков отдельно у каждого говорящего и которую можно назвать *интенсивной общностью*, или «регулярностью». Неразличение этих двух типов общности — основная ошибка в проблеме фонетических законов. И эта ошибка объясняется именно тем, что данная проблема ставится в плоскости абстрактного языка, где в самом деле каждое слово единственно, как в словаре. И следует подчеркнуть, что слово не может измениться в *один* момент, поскольку оно является моделью «второй ступени», соответствующей целому ряду моделей «первой ступени», содержащихся в индивидуальных комплексах языковых навыков (ср. 3.1).

4.4.3. Экстенсивная общность всегда является результатом «распространения инноваций», то есть ряда последовательных принятий (ср. 3.2.1). Каждый «диалект» — это система изоглосс, то есть аналогичных языковых фактов, и распространение инновации — это не что иное, как становление изоглоссы, то есть факта межиндивидуального языка. Поэтому утверждение, что «фонетические законы действуют в пределах одного и того же диалекта (*innerhalb desselben Dialektes*) без исключений», является порочным кругом. В самом деле, оно означает, что сначала выделяется диалект — путем выявления межиндивидуальной однородности определенных языковых фактов (среди них фигурируют также результаты различных звуковых изменений), — а затем утверждается, что эти звуковые изменения обязательно (без исключения) происходят в диалекте, который был выделен благодаря им<sup>43</sup>; так, например, сначала выделяют в качестве испанского («кастильского») тот романский диалект, в котором латинское *kt* перешло в *č* (лат. *octo* > исп. *ocho* «восемь»),

---

<sup>43</sup> Этот порочный круг был замечен уже Г. Шухардтом (*Über die Lautgesetze*, 1885), который задавал вопрос, как следует рассматривать «диалекты» — «a priori» или «a posteriori» по отношению к фонетическим изменениям; ср. В г е в i е г, стр. 59.

а затем с непонятым удивлением обнаруживают, что переход  $kt > \check{c}$  — это фонетический закон, неукоснительно осуществившийся «во всем испанском языке». Следовательно, если разорвать порочный круг и понять, что диалект сам определяется некоторыми происшедшими изменениями<sup>44</sup>, то формула общности явно обнаружит свой тавтологический характер: согласно формуле, фонетический закон действует в пространстве, относительно которого доказано, что он там действовал<sup>45</sup>. Суть дела в том, что фонетический закон как распространение звуковой инновации относится к становлению языка и, следовательно, предшествует диалекту, который является его результатом: диалектные границы представляют собой поселдующий, а не предшествующий факт по отношению к фонетическим законам<sup>46</sup>.

Напрашивается вывод, что звуковое изменение не может «а ргіогі» иметь экстенсивную общность. Она зависит от специфического исторического процесса, который осуществляется или не осуществляется и может осуществляться в определенную эпоху и у определенной группы индивидуумов. Следовательно, экстенсивная общность не обладает универсальностью: в этом смысле «фонетический закон» — понимаемый отныне не как «осуществляющийся факт» (распространение звуковой инновации), а как «констатация осуществившегося», то есть как факт *истории-описания* (Historie), а не *реальной истории* (Geschichte), — представляет собой в действительности констатацию «а posterіогі» исторических специфических фактов (ср. сн. 41).

4.4.4. Проблема интенсивной общности является проблемой совершенно другого рода. В соответствии с ней представляется нецелесообразным постулировать «распространение» принятия звукового изменения (внутри индивидуального комплекса языковых навыков) от одного слова к другим. Несомненно, возможно постепенное, с многочисленными колебаниями изменение *частоты употребления* какой-либо особенности, усвоенной в качестве нового

---

<sup>44</sup> Неосуществление изменений имеет в этой связи такое же значение, как и их осуществление, поскольку консервативный диалект будет обязательно выделяться на фоне других диалектов, широко допускающих инновации.

<sup>45</sup> С «исключениями» или без них, поскольку это связано с «регулярностью» закона, а не с его «общностью».

<sup>46</sup> Ср. «La geografia lingüística», стр. 29.

языкового навыка. Однако здесь речь идет о колебаниях относительно применения знания, а не относительно самого знания. Принятая инновация обязательно и с самого начала входит в совокупность языковых знаний того, кто ее принимает. Следовательно, если говорить о какой-нибудь звуковой особенности, то эта особенность сразу же *ipso facto* входит как новая возможность выражения в систему звуковых средств, которыми владеет указанный индивидуум. Правда, акустические репрезентанты фонем не даны в реализации изолированно и в силу этого могут восприниматься лишь в целых словах и фразах. Однако слушающий, когда он воспринимает звуковую инновацию, сравнивает слова, которые он слышит, со своими собственными моделями и принимает («изучает») именно различие между первыми и последними. С другой стороны, фонемы и их варианты, равно как различительные признаки и корреляции, которым они соответствуют, «технически» опознаются и идентифицируются благодаря знанию языка; принятие инноваций представляет собой как раз такую операцию, которая осуществляется в языке как «знании» (ср. 3.2.2). Так, например, было бы трудно теоретически объяснить ребенку, что такое корреляция по звонкости. Однако сам ребенок без всяких затруднений имитирует дефектное произношение, рассказывая, допустим, что некто произносит [ezde bado blango] вместо *este pato blanco* «эта белая утка», и повторяя ту же игру с любым словом, содержащим глухие согласные. Поскольку знание языка носит системный характер, звуковая инновация принимается не только для «повторения» слова или слов, в которых эта инновация была услышана, но для всей языковой деятельности в целом<sup>47</sup>. Если принятая инновация затрагивает какую-либо фонему, то она принимается (как возможность) для той же самой фонемы в любом слове и в любой позиции. Если инновация затрагивает какую-либо фонему в определенной группе или в определенной позиции, то она принимается для всех слов, содержащих ту же фонему в той же группе или в той же позиции. В этом нет никакой непроницаемой тайны, все

---

<sup>47</sup> Б. Кроче (B. Croce, *Problemi di estetica*, стр. 171, сн.), подхватывая идею Гумбольдта, справедливо отмечает, что в действительности научаются не «языку», а умению *творить* на данном языке. Точнее говоря, «язык» как раз и есть это последнее—система правил, или техника языкового творчества.

объясняется тем простым фактом, что принятая звуковая особенность в каждом случае является *единственной*: принимается отнюдь не «готовый» элемент (определенный звук в определенном слове), а элемент, производящий шаблон, *способ действия*<sup>48</sup>. Принятие звуковой инновации можно до известной степени сравнить с заменой или искажением литеры на пишущей машинке; если, например, искажена литера *a*, то нет ничего удивительного в том, что во всех словах с *a*, напечатанных на этой машинке, будет иметь место одно и то же искажение, поскольку искаженное, то есть искаженная литера, является *образцом* для последующих реализаций.

В этом смысле «фонетический закон» есть нечто такое, что наблюдается каждый день и даже может осуществляться посредством ряда принятий в условиях специально поставленного языкового эксперимента. Так, исправляя дефект или ошибку в произношении, обучаемому указывают не все слова, содержащие нужную фонему, а только правильное произношение, иллюстрируя его несколькими примерами; затем обучаемый применяет это произношение самостоятельно ко всем словам, которые он знает или выучивает заново. Если указать обучаемому, что такие слова, как *llama* «пламя», *lleno* «полный», *talla* «рост», произносятся в литературном испанском как [lama], [leno], [tala], а не как [lɣama], [lɣeno], [talja] (как их произносит он), то обучаемый, заметив свою ошибку и научившись артикулировать звук [λ], будет применять усвоенную артикуляцию в любом слове, содержащем *ll*, а не только в тех словах, произношение которых было отмечено как ошибочное. Точно так же обучаемый поступит и с любой другой фонемой в определенной позиции. Если, например, ему указать, что в испанском произносится не [ɣama], [ɣesto], а [ɣama] «ветвь», [ɣresto] «остаток», то он станет произносить два *ɣ* и в таких словах, как [ɣɣima] «рифма»,

---

<sup>48</sup> М. Граммон (M. Grammont, *Traité de phonétique*, Paris, 1950, стр. 166) достаточно ясно указывает, в чем именно состоит принцип регулярности, но тут же смешивает «регулярность» с «общностью»: «Звуковые изменения являются регулярными потому, что они состоят не в модификации одного слова или группы слов, а в модификации способа артикуляции. В тех пределах времени и пространства, которые присущи данному фонетическому закону, он действует с абсолютной силой». Это последнее равноценно утверждению, что то, что наблюдается, действительно наблюдается.

[rraspa] «рыбья кость», [rreto] «весло» и т. д. Подобное поведение обучаемого есть не что иное, как неукоснительное выполнение двух «фонетических законов»:  $lj > \lambda$  и  $г \rightarrow гг$ -. Известно также, что, зная регулярные соответствия между двумя сходными системами, или «диалектами», говорящий может переходить от одной системы к другой, причем для этого он не должен обязательно знать все слова чужой системы или «диалекта». При таких переходах обычно возникают многочисленные гиперкорректные формы или гипердиалектизмы, что объясняется именно неукоснительным применением «фонетических законов»<sup>49</sup>. Дело в том, что «фонетический закон» как внутренний и свободный закон речи — это именно тот закон, который применяется говорящим в каждом конкретном случае, когда в соответствии с системой он строит новое высказывание; другим законом, учитывающим действительные соответствия между обеими системами или диалектами (и допускающим исключения), является исторический и исторически обусловленный результат целого ряда аналогически интенсивных [в смысле интенсивной общности: см. выше стр. 201.—Прим. перев.] «законов». Новый способ артикуляции не может возникнуть как «общий», поскольку артикуляция индивидуальна; однако он с самого начала «регулярен», так как он единствен. Поскольку фонетический закон означает артикуляторное изменение, он является «регулярным» (то есть применяется во всех словах, содержащих замененную артикуляцию). Однако этот факт не влечет за собой «общности» фонетического закона: эта общность может быть лишь результатом взаимодействия индивидуальных языковых актов. Новый звуковой элемент не появляется одновременно

---

<sup>49</sup> Так, когда уругваец, пытаясь говорить на литературном испанском, произносит [arɣolo] вместо [arɣojo] «поток, ручей», то он делает это не «по аналогии» и не в соответствии с какой-либо особой моделью (хотя, быть может, здесь оказывает известное влияние контаминация с *desarrollo* «развитие»), а благодаря тому, что он знает о систематическом соответствии  $\tilde{z} \rightarrow \lambda$ , которое в данном случае не имеет места. А тот, кто говорит *abstrapto* вместо *abstracto* «абстрактный» применяет в обратном направлении (ошибочно) «фонетический закон»  $pt > t$ . Произношение *disgresión*, *devstar* вместо *digresión* «отклонение», *devstar* «опустошать» обусловлено наличием префиксов *dis-* и *des-*, а в Уругвае, кроме того, стремлением избежать падения *s* перед согласными (так как это считается простонародным и вульгарным), то есть подсознательным сравнением двух типов речи.

во всех уже «готовых» словах абстрактного языка (это логически невозможно, поскольку в плоскости абстрактного языка ничего не происходит) и не «распространяется» от одних слов к другим<sup>60</sup>, а принимается, с тем чтобы применяться *при построении* слов в будущем.

Проблема регулярности звуковых изменений также в конечном счете не имеет под собой разумных оснований. Эта проблема не просто трудна или сложна, а вообще неразрешима, если она затрагивает язык как *ἔργον*: ведь язык не есть *ἔργον*, и в этом аспекте регулярность должна наблюдаться и приниматься только как факт. Однако данная проблема разрешается или, точнее, «разрушается», поскольку решение заключается в ее снятии, — если рассматривать языковую деятельность как *ἐνέργεια*, а язык — как *δύναμις*, как исторически сложившуюся технику речи, потому что «регулярное» звуковое изменение — это в действительности изменение *не в чем-то уже осуществленном, а в технике языкового творчества*.

4.4.5. К. Фосслер<sup>61</sup>, по-видимому, на какой-то момент приближается к такому пониманию, когда отмечает, что процесс звукового изменения (понимаемого, к сожалению, как «механическое отклонение»; ср. сн. 32) не повторяется заново для каждого слова. Однако он тут же уходит в сторону и говорит о «физиологической аналогии», о моторном чувстве, механической ассоциации звуков, в результате которой изменение, вначале единственное и спорадическое, становится затем все более частым и, наконец, обобщается. Это объяснение является во всех отношениях противоречивым и не может быть принято. Изменение «обобщается» экстенсивно, а не интенсивно. Фосслер смешивает «общность» с «регулярностью», абстрактный язык с конкретным языком, языковое «знание» с языковой деятельностью. Однако, говоря о *внании*, вряд ли разумно прибегать к таким понятиям, как «физиологическая аналогия» и «механическое выравнивание». Знание связано и с физиологическим и с механическим (как со способами материализации функционального), но само по себе не является ни физиологическим, ни механическим. А если даже допустить возможность «механического притяжения, которое испытывают редкие формы со стороны частых форм», как пишет далее

---

<sup>60</sup> Вообще не имеет смысла заменять механизм абстрактного языка механизмом «слов»: слова не менее абстрактны, чем язык. Со словом словаря не может произойти никаких изменений (ср. 4.4.2). Другое дело, что для усвоения нового звукового элемента слушающий должен услышать его в нескольких словах и что в случае межъязыковых контактов несколько слов должны перейти из одного языка в другой, прежде чем звуковой элемент, присущий этим словам, приобретает (в заимствующем языке) права гражданства и перестает рассматриваться как характерный только для иностранных слов (*Fremdwörter*).

<sup>61</sup> «*Filosofía del lenguaje*», стр. 103.

Фосслер, то почему же, пока новые формы являются еще единичными, старые (и более частые) формы не вытесняют новых, воздействуя на них посредством «механического притяжения»? Как получится, что отдельные формы распространяются настолько, что становятся более частыми, чем формы, вытесняемые ими? Дело в том, что распространение и «регуляризация» новых языковых навыков могут объясняться только культурными и функциональными факторами. В языке нет ничего «механического». Кроме того, остается непонятным, почему «отклонения», если они «механические и незаметные», имеют место в одних, а не в других словах и почему «физиологическая аналогия» не начинает действовать прежде, чем отклонение существенно изменит слова, составляющие «авангард» изменения. Равным образом не следует объяснять совпадения фонем и групп, ранее различавшихся (таких, какие фигурируют у Фосслера), посредством так называемого «моторного чувства». Такое совпадение может произойти (и не благодаря «моторному чувству», а в силу признания функциональной идентичности) при «распространении» нового элемента (из одних говоров на другие), но не при «регуляризации» (в том же самом говоре), где это совпадение может осуществляться лишь между вариантами одного и того же функционального элемента. Звук или группа звуков *a* не может быть признана в данной системе «эквивалентом» звука или группы звуков *b*, полностью отличных от *a*, если звуки *a* и *b* не являются взаимозаменяемыми в одном и том же слове. Так, никто не станет сейчас менять исп. falta «недостаток» на halta или исп. firmar «подписать» на higmar: это было возможно лишь в эпоху, когда *h* еще произносилось и было вариантом *f*. Фосслер, по-видимому, помнит о том различии, которое Г. Пауль<sup>52</sup> проводил между Lautwandel (звуковое изменение) и Lautwechsel (звуковое замещение), и рассматривает «обобщение» звукового изменения как Lautwechsel. Это в известной степени справедливо, поскольку выбор, следующий за принятием (ср. 4.4.6), и в самом деле можно рассматривать как Lautwechsel<sup>53</sup>. Однако здесь идет речь не об «аналогиях», а о признании функциональной идентичности двух звуковых элементов. Сделать, с одной стороны, [λ] из любого [l], а с другой стороны — [λ] из l в levar, levaros (по аналогии с llevo, llevas, lleva и т. д. «уносить»), унифицировав тем самым парадигму данного глагола, — это совсем не одно и то же. Регулярное в звуковом изменении (то есть в принятии звукового изменения) объясняется не «анalogией», а «системностью». Поэтому Фосслер не «преодолеывает» антиномию между фонетическим изменением и аналогией, как утверждает А. Алонсо<sup>54</sup>, а попросту смешивает оба явления. Кроме того, здесь нечего «преодолевать», поскольку оба явления действительно совершенно различны и даже противоположны друг другу. В первом случае мы имеем замещение одного звукового элемента другим во всех словах, а во втором — замещение фонемы или группы фонем в одном определенном слове

<sup>52</sup> «Prinzipien», стр. 68.

<sup>53</sup> С другой стороны, поскольку интенсивные изменения не могут быть «постепенными и нечувствительными», всякое звуковое изменение есть «звуковое замещение». Lautwandel Пауля — это Lautwechsel в системе звуковых элементов, а его Lautwechsel — это Lautwechsel в слове или в словоизменяющей парадигме слова.

<sup>54</sup> В своем предисловии к CLG, стр. 17, сноска.

или в различных формах одного и того же слова. В первом случае устанавливается эквивалентность между двумя производящими элементами (например, λ и l<sub>j</sub>) внутри системы различительных звуковых элементов; во втором случае эквивалентность устанавливается между «формами» или «готовыми моделями» (например, lievo и levar) в силу парадигматической или, во всяком случае, семантической (грамматической или лексической) ассоциации. При *звуковом изменении* «формы» изменяются потому, что некоторые «звуки» признаются эквивалентными; при *аналогии* «формы» изменяются потому, что они сами признаются частично эквивалентными или ассоциируются. Другими словами, фонетическое изменение происходит в «системе», а аналогия действует в «парадигме» или в определенном противопоставлении. Тот факт, что с точки зрения «готового» языка результат представляет собой в обоих случаях модификацию звуковой стороны, — это еще не основание для отождествления обоих процессов. Другое дело, что звуковое изменение и аналогия могут быть сведены к единому более общему принципу. Этот принцип — ‘материальная унификация функционально эквивалентного’ — был сформулирован (по другому поводу) еще самим Г. Паулем: «Каждый язык (точнее, каждый говорящий) непрерывно занят тем, чтобы устранить бесполезные различия и обеспечить функционально тождественному тождественное звуковое выражение»<sup>55</sup>. С другой стороны, этот принцип есть не что иное, как принцип системности языка; и в этом смысле совершенно прав А. Дебруннер<sup>56</sup>, утверждающий, что и «фонетический закон» и аналогия объясняются чувством *системности* (Systemgefühl).

4.4.6. Таким образом, «фонетический закон», сведенный к своей внутренней сущности и простейшей форме, совпадает с интенсивной общностью принятия звукового изменения или, точнее, с *единственностью* этого принятия. «Фонетический закон» затрагивает язык как «знание» и начальный акт индивидуального усвоения (создания) нового звукового элемента как *возможность* реализации. Что касается самой реализации и исторической фиксации нового звукового элемента (если только он закрепляется), то здесь имеет место длительный процесс индивидуального и межиндивидуального отбора. *Звуковое изменение не заканчивается, а начинается фонетическим законом.* Затем в процессе отбора этот закон не аннулируется (поскольку принимаемая и распространяющаяся инновация соответствует определенной потребности выражения), но может «корректироваться», а в отдельных случаях и нарушаться как из-за других потребностей выражения (в пределах одной и той же системы), так и из-за взаимовлияния

<sup>55</sup> «Prinzipien», стр. 227.

<sup>56</sup> «Lautgesetz und Analogie» в «Indogermanische Forschungen», LI, 1933, стр. 269.

разных систем. Эти факты, однако, не затрагивают регулярности, присущей «фонетическому закону», рассматриваемому абсолютно, лежащему в первичной плоскости возможностей, а не в плоскости исторических результатов и закрепившихся традиций.

Можно, следовательно, сказать, что звуковое изменение является в экстенсивном плане *распространением*, а в интенсивном плане — *отбором*. Изменение с точки зрения интенсивной общности прекращается («фонетический закон перестает действовать») в тот момент, когда прекращается отбор, то есть когда из двух эквивалентных звуковых особенностей (старой и новой) становится возможной только одна или когда обе закрепляются в различных формах и перестают быть «вариантами». С точки зрения экстенсивной общности а priori не может быть установлен никакой предел: пределы определяются фактическим распространением инноваций. С другой стороны, языковая «норма» может закрепить еще не окончившийся отбор; так, в испанском закрепились, с одной стороны, формы *ser* «быть» и *ver* «видеть» (а не *seer* и *veer*), а с другой — формы *sereer* «верить» и *leer* «читать». Более того, историческая норма может отобрать и закрепить элементы, происходящие из различных систем. В процессе взаимодействия между кастильскими диалектами района Амайя и района Бургоса в одних случаях закрепились бургосские формы, в которых группа *tb* переходит в *п* (*paloma* «голубка», *lomo* «поясница»), а в других — кантабрийские формы (*campiag* «изменяться», *ambos* «оба»), чему способствовало большее сходство этих последних с соответствующими латинскими формами. Таким образом, утверждение, что языковое изменение «допускает исключения», то есть что оно не наблюдается во всех словах, в которых оно «должно было бы произойти», представляется оправданным с точки зрения исторических результатов. Однако, как известно, во многих случаях мы сталкиваемся с ложными исключениями, поскольку слова, не подчиняющиеся тому или иному «фонетическому закону», пришли из тех говоров, где соответствующие изменения не имели места. Другими словами, «исключения» кажутся таковыми, если пытаться рассматривать язык как единую и однородную традицию; однако они оказываются «регулярными» формами, если иметь в виду, что исторический язык — это результат взаимодействия различных языко-

вых традиций. Так, строго говоря, в испанском языке *palma* «ладонь» — это не пример исключения из «фонетического закона» *al* + согласн. > *o*, а пример лексического заимствования из говора, в котором *al* перед согласным не переходило в *o*. В этом случае был принят (говорами, где это изменение происходило) не звуковой элемент, то есть не производящий элемент, а готовая форма, «модель» как таковая. Формы *palma* «ладонь» и *otro* «другой» обе подчиняются «фонетическим законам» говоров, из которых они происходят.

4.4.7. Из сказанного вытекает, что «фонетический закон» — это нечто большее, чем просто методологический прием, оправданный наличием относительного единообразия в средствах выражения, достигнутого определенным коллективом в определенную эпоху. Если бы это единообразие не имело более глубокого объяснения, то оно оказалось бы непонятным и «закон» не имел бы никакой методологической ценности. Однако дело в том, что в своей первичной реальности — интенсивной общности принятия звуковых изменений — «фонетический закон» совпадает с системностью языка<sup>57</sup>. Язык же не есть нечто «готовое», «созданное», он «создается»; поэтому «фонетический закон» связан со способом, в соответствии с которым «создается» (воссоздается) язык в его звуковом аспекте. Это означает, что в реальной перспективе звуковая системность, засвидетельствованная в определенном «состоянии языка», представляет собой проекцию системных способов, посредством которых этот язык создавался, то есть «фонетических законов»<sup>58</sup>. Именно отсюда вытекает возможность для

---

<sup>57</sup> В действительности и в отношении исторических результатов «фонетический закон» имеет силу лишь постольку, поскольку язык «системен» и односистемен. Но язык как совокупность языковых традиций — это не только «система», но и «норма», то есть выбор в пределах возможностей, предоставляемых функциональной системой; кроме того, в любом историческом языке сосуществуют и оказывают друг на друга взаимное влияние несколько систем (ср. II, 3.1.3—4).

<sup>58</sup> Поскольку в силу неизбежных требований исследования динамическое (то есть конкретное) обязательно изучается в промежуток между двумя «состояниями» (синхронными проекциями), о «фонетических законах» говорят главным образом в тех случаях, когда при переходе от одного «состояния» к другому наблюдается замена одних элементов другими. Однако с точки зрения динамической реальности языка в равной степени разумно говорить о «фонетических законах непрерывности» (или возобновления). Впро-

реконструирования и постулирования языковых праформ<sup>66</sup>. Далее, язык «создается» языковой свободой говорящих: его системность есть результат непрерывной системной деятельности. Следовательно, то, что называется «фонетическим законом», соответствует способу действия языковой свободы; обнаружить «фонетические законы» — это значит обнаружить, что говорящие творят язык системно. С другой стороны, та же самая интерпретация имеет силу для всего системного в языке, а следовательно, и для грамматического аспекта языка. Однако никто не спрашивает, почему, например, новое глагольное время (которое, безусловно, возникло в определенный момент и в результате определенного акта) характеризует все глаголы, или почему артикль, возникнув, соединяется со всеми существительными, или почему интонация, как только она усвоена, применима ко всем предложениям одного и того же типа. Никто не приписывает этих фактов (ана-

---

чем, именно это и делают, когда между двумя «состояниями» языка устанавливают соответствия типа а > а. «Законы замещения» характеризуют то, как язык *создается*; «законы непрерывности» — как он *воссоздается*.

<sup>66</sup> Упрямо не желая понять, что реконструируются *формы*, которые могут быть исторически реальными, и *идеальные системы*, а не исторически реальные *языки* (то есть неполные системы, которые целиком могут быть отнесены к определенному историческому моменту и к определенному языковому коллективу), Р. Холл (R. A. Hall Jr., *La linguistica americana dal 1925 al 1950*, «Ricerche Linguistiche», I, 2, стр. 291) называет «упрямцами» тех, кто, напротив, понимает это. В действительности нет никакой гарантии того, что реконструированные формы существовали исторически одновременно. Кроме того, «реконструировать» можно только то, что сохраняется в рассматриваемых языках, но не то, что исчезло полностью. Так, не обращаясь далеко за примерами, напомним, что романские языки лишь в минимальной степени позволяют реконструировать латинское склонение и совсем не позволяют реконструировать латинское пассивное спряжение. Точно так же в случае индоевропейского языка реконструируется в действительности не фонетика «общиндоевропейского», а «общая фонетика» индоевропейского, и как раз того индоевропейского, который соответствует языкам, привлеченным для реконструкции. Это еще более очевидно по отношению к другим аспектам языка, которые системны в меньшей степени, чем фонетика (например, по отношению к лексике). «Упрямыцы» отрицают не возможность реконструкции и не ее методологическое значение в качестве приема исследования, а тот абсурдный смысл, который нередко пытаются приписать ей. Так, они отрицают, что хеттский может быть противопоставлен индоевропейскому, реконструированному без учета тех новых данных, которые дал сам хеттский.

логичных («фонетическим законам») каким-то таинственным причинам; и никто не говорит о «слепых и неуклонных законах грамматического изменения».

Таким образом, «фонетический закон» сам не воздействует на язык, а является свойством и нормой самого акта, посредством которого творится язык. В «фонетическом законе» нет ничего таинственного или механического, как полагают те, кто так или иначе рассматривает язык в качестве «вещи», на которую воздействуют «внешние факторы» (обычно неизвестные), и смешивает «интенсивную общность» с «экстенсивной»<sup>60</sup>. Здесь идет речь не о законе как необходимости, а о норме, которую обуславливает определенная цель и которую принимает в своей творческой деятельности языковая свобода.

4.4.8. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сама свобода может «отменять» тот или иной закон ради определенных целей — определенных потребностей выражения. Именно в этом смысле следует толковать замечание, что фонетические законы не «слепы» — они «считаются со смысловыми различиями»<sup>61</sup>. Хотя это замечание в известной степени и справедливо, его можно принять только с некоторыми оговорками. Прежде всего системная целенаправленность, представленная «фонетическим законом», преодолевает частную целенаправленность, связанную со смысловыми различиями (ср. IV, 4.2.3). Так, исп. alto «высокий» появилось вновь и вытеснило «регулярную» форму *oto* (хотя, конечно, не для того, чтобы эта последняя стала отличной от *oto* «сова»), поскольку и *a* и *l* сохранились в фонологической системе испанского языка. Однако в Уругвае невозможно сохранить *rollo* «цыпленок» как [роло] ради того, чтобы отличать его от *royo* «завалинка», потому что изменение  $\lambda > j > \dot{z}$  привело к устранению фонемы  $\lambda$  из инвентаря фонем уругвайского варианта испанского языка. Далее, «исключение» появляется не одновременно с «законом», а в последующем процессе отбора. Так, тот,

<sup>60</sup> Смещение обоих типов «общности» — то есть попытка рассматривать «фонетический закон» как осуществляющийся в один момент во всем историческом языке — привело к весьма любопытным ошибкам; таково, например, толкование явлений сохранения (ср. логудорск. *ke*, *ki*) как «регрессии» (возврата назад). Регрессия, несомненно, существует и даже встречается довольно часто, однако объясняется иначе. В межиндивидуальной системе незакончившееся изменение (ср. 4, 4.6) может быть устранено *выбором*, благоприятным для более древнего варианта. В процессе взаимодействия между различными системами могут устраняться даже и закончившиеся изменения: это происходит в силу влияния консервативных говоров на говоры, склонные к инновациям, то есть в силу распространения особенностей, противоположной инновации.

<sup>61</sup> На это указывал еще Г. Курциус. Позже на это обращали внимание прежде всего В. Хаверс и В. Хорн; см. соответствующие указания у В. Пизани («Forschungsbericht», стр. 39). С другой стороны, см. замечания Г. Пауля («Prinzipien», стр. 209 и сл.).

кто в определенную эпоху эволюции испанского языка знал варианты *hogta* и *igota* и слышал *hogta* только в одном смысле («колодка, болванка»), а *igota* — только в другом («форма»), довольно быстро начал дифференцировать оба варианта. Если бы мы не знали истории испанского языка, мы могли бы думать, что в испанском слово *ambos* не заменилось *amos*, чтобы остаться отличным от *amos* «хозяева»; известно, однако, что в Бургосе *ambos* перешло в *amos*, а форма *ambos* была вновь введена позже из более консервативных говоров. Таким образом, методологический принцип, состоящий в том, что «фонетический закон» берется за основу, а затем объясняются «исключения», является в основном правильным. В самом деле, с точки зрения речи «фонетический закон» — так, как он толкуется здесь, — носит первичный характер: он относится к самому созданию нового звукового элемента, в то время как «исключения» принадлежат к вторичной фазе «отбора»<sup>62</sup>. «Фонетический закон» не является «слепым»; однако он системен и поэтому не учитывает частные случаи: проблемы, связанные с частными случаями, решаются во вторую очередь и могут решаться разными способами.

5.1. Из сказанного можно сделать вывод, что для понимания языкового изменения и его логической структуры достаточно рассматривать язык в его конкретном существовании<sup>63</sup>. Изменение — это не простая случайность, оно принадлежит самой сути языка: в самом деле, язык *создается* посредством того, что называют «языковым изменением». Поэтому изучать изменения — это не значит изучать «искажения» или «отклонения» (как может показаться, если рассматривать язык как *εἶδος*); наоборот, это значит изучать становление языковых традиций, то есть само *создание* языков. С другой стороны, вопрос «почему изменяются языки?» (то есть «почему они не

<sup>62</sup> Полезно еще раз напомнить следующее замечание Г. Пауля: «Так, например, в немецком сохранилось среднее *e* после *t* и *d* в слабых претеритах и причастиях (*redete*, *retfete*), в то время как оно было утрачено в других позициях. Если, однако, обратиться к материалам XVI в., то мы найдем, что для всех глаголов имеет место колебание между двумя формами: с одной стороны, *zeigete* наряду с *zeigte*, с другой стороны, *redte* наряду с *redete*. Таким образом, звуковое изменение осуществлялось без учета целенаправленности, хотя определенная целенаправленность и сыграла свою роль для сохранения ряда форм». («Prinzipien», стр. 71). Однако здесь следует противопоставлять не целенаправленность и ее отсутствие, а общую (системную) целенаправленность и частную.

<sup>63</sup> См. A. Martinet, *The unity of linguistics*, стр. 125. «Наблюдение над языками показывает не только, как они функционируют сегодня, но также как изменяющиеся и противоречащие друг другу потребности говорящих постоянно действуют и незаметно формируют в рамках сегодняшних языков языки завтрашнего дня. С другой стороны, точно так же на основе вчерашнего языка формируется сегодняшний язык.

являются неизменными', причем подразумевается, что они должны были бы быть такими) абсурден, так как эквивалентен вопросу, почему обновляются потребности выражения и почему люди думают и чувствуют не только то, что уже было продумано и прочувствовано. Если бы язык был создан раз навсегда, а не создавался непрерывно языковой деятельностью, то пришлось бы допустить вместе с Бергсоном, что слова могут выражать новое лишь посредством перетасовки старого<sup>64</sup>. Однако в действительности слова выражают «новое» именно как таковое (ср. сн. 1 и 10), хотя, конечно,— поскольку языковая деятельность входит в культуру — в той же степени, в какой новшества возможны в пределах культуры: «Культура — это традиция, а в пределах традиции культура—это стихийное, изобретаемое»<sup>65</sup>. Язык *воссоздается*, поскольку речь основывается на уже существующих моделях и является говорением и пониманием; язык *преодолевается* языковой деятельностью, поскольку речь — это всегда нечто новое; и язык *обновляется*, ибо понимать — это значит понимать нечто большее по сравнению с тем, что было уже известно благодаря языку, который предшествовал данному акту речи. Реальный и исторический язык динамичен, поскольку языковая деятельность состоит не просто в том, чтобы *говорить на определенном языке и понимать его*, а в том, чтобы *говорить и понимать нечто новое с помощью определенного языка*. Поэтому язык приспосабливается к потребностям выражения говорящих и продолжает функционировать как язык в той мере, в какой он приспосабливается к этим потребностям. Положение Соссюра о том, что «принцип изменения основывается на принципе непрерывности»<sup>66</sup>, верно также (или скорее) и в обратном смысле — «принцип непрерывности основывается на принципе изменения». То, что не «изменяется», характеризуется не *непрерывностью*, а *неподвижностью* и лишено историчности.

5.2. С другой стороны, ставить проблему изменчивости языков с точки зрения языка как *εργον* — это методологи-

---

<sup>64</sup> «La pensée et le mouvant»<sup>6</sup>, Paris, 1934, стр. 102. Ср. также «Essai sur les données immédiates de la conscience»<sup>10</sup>, Paris, 1914, стр. 125—126.

<sup>65</sup> R. Menéndez Pidal, Miscelánea histórico-literaria, Buenos Aires, 1952, стр. 39.

<sup>66</sup> CLG, стр. 140.

ческая ошибка, коренящаяся в смешении плана исследования с планом исследуемой действительности (ср. I, 3.3.1). В самом деле, подобная постановка проблемы требует, чтобы реальное изменение (конкретно создающийся язык) объяснялось посредством абстрактного языка, вместо того чтобы абстрактный язык объяснялся реальным изменением. «Состояние языка» в синхронной проекции — это не язык, а поперечный срез языка, продолжающего исторически развиваться. Можно привести следующую аналогию: некто, сфотографировав движущийся поезд, задается вопросом, почему поезд продолжает двигаться, а не остается неподвижным, как на фотографии, или, еще хуже, смешивает поезд с фотографией. Следовательно, «иррациональным» является не *изменение*, а *проблема изменения*, поставленная с точки зрения абстрактного языка; иррациональная же проблема не может иметь рациональных решений. Отсюда постановка указанной проблемы в «причинных» (в физикалистском смысле) терминах, то есть подмена формальной *причины* действительной, а также необходимость прибегнуть к «внешним» причинам и факторам вместо обращения к тому, что действительно заставляет язык развиваться, — к языковой свободе<sup>67</sup>.

#### IV. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ.

##### СИСТЕМНАЯ И ВНЕСИСТЕМНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ.

##### УСТОЙЧИВОСТЬ И НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ЯЗЫКОВЫХ ТРАДИЦИЙ

1.1. От универсальной проблемы языкового изменения (то есть от проблемы изменчивости языков) существенно отличается *общая проблема изменений*, то есть проблема, встающая при установлении того факта, что изменения внутренне присущи языку. Эта вторая проблема изменения обычно ставится в терминах, внешне сходных с терминами, которыми оперирует первая проблема: почему изменяются

---

<sup>67</sup> Это отчетливо понимал еще М. Бреаль: «В настоящее время я гораздо яснее представляю себе развитие языка, чем тридцать лет назад. Мой прогресс заключается в том, что я отказался от рассмотрения второстепенных причин и непосредственно обратился к единственной действительной причине — к человеческому разуму и воле» («Essai», стр. 7). Совершенно очевидно, что для правильного понимания языкового изменения важно не отрывать язык от говорящих.

языки или каковы «причины» языкового изменения? Это объясняется частично тем, что изменение обязательно изучается между двумя «состояниями», а отчасти — общими недостатками терминологии наук о человеке, часто использующих словарь и выражения, заимствованные у наук о природе. Но главным образом это объясняется отождествлением или смешением обеих проблем, которое в свою очередь коренится в том же самом натуралистическом подходе к языку. Однако в действительности это две совершенно различные проблемы. Проблема изменчивости языков оказывается незаконной, если ее ставить как *эмпирическую проблему*. Это *логическая проблема*, и она не может быть объяснена посредством одного только накопления частных объяснений: она представляет *способ существования языка*, а не конкретные изменения в том или ином языке. Напротив, общая проблема изменений (хотя она должна основываться на предварительном понимании способа существования языка) вполне законна именно как эмпирическая проблема, точнее, как проблема *обобщенного исторического объяснения* (ср. II, 4.2). Вопрос, на который следует отвечать в этом случае, не является вопросом о *причине изменчивости языков*, а представляет собой вопрос о *причине тех или иных изменений*. Здесь спрашивается не о том, почему вообще имеют место языковые изменения, почему языки не являются неизменными, а о том, почему конкретные изменения происходят так, как они происходят. Другими словами, дело не в том, чтобы открыть «причины» языкового изменения (которых оно, очевидно, вообще не имеет, если понимать их как внешние действенные причины), а в том, чтобы определить общие правила изменений и обстоятельства (условия), определяющие эти правила.

1.2. Поскольку язык создается и то, что называется «изменением», есть именно само создание языка (ср. III, 5.1), общая проблема изменений будет состоять в определении правил и условий этого создания. С другой стороны, поскольку язык создается языковой свободой говорящих, та же проблема, поставленная в плане речи, состоит в определении условий, благодаря которым языковая свобода обычно обновляет язык. Если же поставить эту проблему в плане готового языка, то она будет состоять в определении того, как именно язык приспосабливается к потребностям выражения говорящих, иначе говоря, как

и в каких условиях созданное языковой свободой принимается и распространяется, то есть включается в языковую традицию и в свою очередь становится традицией. Поэтому данная проблема также не является проблемой «причинности» в натуралистическом смысле. Не следует также считать, что перечень многих соответствующих решений может дать нам «решение» ложной проблемы причинности языкового изменения. Объяснение, разумеется, идет дальше простого описания, и с помощью его пытаются *мотивировать* или *оправдать* изменения (то, что они происходят в данный момент и являются именно такими, а не другими), найти, как говорят, их «резоны»; но, с одной стороны, найти мотивы конкретных изменений еще не значит найти мотивы изменений вообще, а с другой — указанные «резоны» — это не причины (в том смысле, какой этот термин имеет в плане необходимости), а условия, обстоятельства или ограничения, в пределах которых действует языковая свобода говорящих<sup>1</sup>. Эти ограничения и обстоятельства *не вызывают*, а лишь обуславливают изменения и могут способствовать ускорению или замедлению того, что не совсем удачно называется «эволюцией» языков (ср. VI, сн. 7).

1.3. Следовательно, если общая проблема изменений является проблемой их «обусловленности», то она влечет за собой в равной степени законную проблему относительной устойчивости языковых систем. Объяснить, почему некоторые языки изменяются меньше, чем другие, или почему определенные традиции сохраняются дольше, так же важно, как объяснить изменения.

2.1.1. Что касается второй проблемы языкового изменения, то не будет ошибкой, если мы станем говорить о «внешних» и «внутренних», о структурных и исторических факторах — *обстоятельствах речи и исторических ограничениях языковой свободы*, а не об активных факторах — «причинах», определяющих изменение.

2.1.2. Необходимо, однако, заметить, что в действительности все эти факторы в качестве условий речи являются «внутренними». Так называемые «внешние» факторы (например, смешение народностей, роль культурных центров

<sup>1</sup> Поскольку известен способ существования языка, эти ограничения суть ограничения самой речи, хотя они и рассматриваются с точки зрения всего говорящего коллектива. В связи с этим излишне напоминать, что без этих ограничений изменения не произошло бы, то есть язык не изменялся бы, если бы на нем не говорили (ср. I, 2.2).

и т. д.<sup>2)</sup> — это факторы второстепенные, непосредственно не определяющие языковую деятельность. Ими определяется *конфигурация языковых навыков*, которая в свою очередь является условием речи. Таким образом, обстоятельство, с которым сталкивается языковая свобода, — это не смещение населения, а состояние межиндивидуальных языковых навыков как результат такого смещения. То же самое можно сказать и о «модификациях в структуре общества», которые выдвигает прежде всего А. Мейе<sup>3)</sup> в качестве исходной причины языкового изменения. Модификации в структуре общества не могут отражаться как таковые на *внутренней структуре* языка, поскольку обе эти структуры не параллельны. Структура общества соответствует *внешней структуре* языка, его социальной стратификации, а это есть факт *культуры*. Социальное, несомненно, является важным косвенным фактором языковой «эволюции», однако лишь в той мере, в какой оно обуславливает разнообразие и иерархию языковых навыков, то есть в качестве культурного фактора.

Аналогичное замечание можно сделать относительно различия между «историческими факторами» и «структурными факторами». Структурные факторы являются одновременно историческими; ведь тот факт, что данная система именно такова, — это факт исторический. Если под «историческими» факторами понимать так называемые «внешние» факторы, то их нельзя будет связать со структурными факторами, поскольку, как уже указывалось, это факторы разных уровней.

2.1.3. Поэтому было бы лучше говорить о *системных* и *внесистемных факторах* (различая в обеих категориях *постоянные* и *случайные факторы*). С другой стороны, это различие совпадает с уже указанным различием между *интенсивным* и *экстенсивным*, то есть с различием между обоими направлениями изменения (ср. III, 4.4.2). «Системным» является все то, что относится к функциональным противопоставлениям и к нормальным реализациям данного языка, то есть к его функциональной и нормальной системе. «Внесистемным» (но не «внешним») является все то, что относится к многообразию языковых навыков

---

<sup>2)</sup> Разумеется, мы исключаем физиологические факторы, которые не могут быть причинами изменений (ср. III, 2.2.3 и III, сн. 16).

<sup>3)</sup> «Linguistique historique», I, стр. 17—18.

в говорящем коллективе и к их взаимоотношениям, то есть к силе языковой традиции.

2.2. Таким образом, эти оба ряда факторов принадлежат языку, хотя и не в одном и том же смысле. Следовательно, мы приходим к явно парадоксальному выводу: факторы «изменения языка» существуют в самом языке. Этот вывод был бы даже абсурден, если бы «факторы», о которых мы говорим, действительно являлись определяющими «причинами» изменения. В самом деле, наш вывод означал бы, что язык есть «причина» своего собственного изменения; а поскольку изменение — это появление нового элемента в языке, то наш вывод был бы равносителен утверждению, что язык есть «причина» самого себя. Однако данный вывод не абсурден и не парадоксален, если помнить, что указанные факторы не «причины», а условия или ограничения свободы и что изменение как становление новой языковой традиции, замещающей предшествующую традицию, должно найти себе «место», возможность и интенсивное и экстенсивное (функциональное и культурное) объяснение в рамках уже устоявшихся традиций, то есть в «языке», понимаемом как системная техника и культура. Впрочем, все это является выводом из того факта, что, поскольку изменение есть распространение *инновации*, для последней в данном состоянии языка должны быть найдены условия, благоприятные для ее межиндивидуального принятия.

2.3. Из сказанного вытекает, что «условия» изменения являются исключительно *культурными* и *функциональными* и могут быть засвидетельствованы в любом «состоянии языка». Язык — это «умение творить» (ср. II, 3.2.2), и он изменяется именно как знание. Поэтому положительное и отрицательное ограничение изменений содержится в особенностях межиндивидуального языкового знания, в его способности соответствовать потребностям выражения говорящих. С другой стороны, язык является совокупностью системных особенностей (ср. II, 3.1.1) и может изменяться (обновляться) только системно. Следовательно, для всякого изменения как становления новой системной особенности объяснение и границы должны быть найдены в функциональности системы, в которую эта особенность внедряется. В самом деле, если в любом «состоянии языка» можно обнаружить «систему», то, значит, язык является системой в любой момент, то есть он «эволюционирует»

как система. Точнее, обнаружение системности в синхронии возможно именно потому, что язык воссоздается и обновляется системно (ср. III, 4.4.7). И если в промежутке между двумя «состояниями» язык изменяется, сохраняя свою системность, то это означает, что изменение находит для себя в системе необходимое место, что оно оправдывается наличием определенной возможности или определенной «недостаточности» «первого» состояния — «недостаточности» перед лицом новых потребностей выражения говорящих<sup>4</sup>.

2.4. Следует, кроме того, подчеркнуть, что, поскольку изменение внутренне присуще самому существованию языка, в действительности мы всегда оказываемся перед лицом совершающихся изменений. Поэтому изменения обязательно отражаются также и в «состояниях» языка, хотя они и не могут быть обнаружены как таковые при наблюдении со строго синхронической точки зрения (ср. I, 2.3.3). В самом деле, изменения проявляются в синхронии с точки зрения культуры в «спорадических» формах, в так называемых «типичных ошибках» по отношению к установленной норме и в иносистемных особенностях, наблюдаемых в речи, а с функциональной точки зрения они проявляются в наличии внутри одного и того же типа речи факультативных вариантов и изофункциональных элементов. Все то, что с диахронической точки зрения *уже есть изменение*, с точки зрения «состояния языка» является *условием изменения*, то есть критической точкой системы и возможностью выбора между эквивалентными элементами.

3.1. Что касается культурной стороны, то известно, что условиями, благоприятными для изменения, являются разнообразие (региональное или социальное) языко-

---

<sup>4</sup> Ср. интерпретацию, к которой пришел Мерло-Понти (M. Merleau-Ponty, *Sur la phénoménologie du langage*, стр. 94): «Если язык при рассмотрении одного из его поперечных срезов оказывается системой, то он должен быть системой и в своем развитии... Другими словами, диахрония охватывает синхронию. Если же язык, рассматриваемый на продольном срезе, характеризуется случайными особенностями, то и система синхронии должна в каждый момент иметь пробелы, где может найти себе место внезапное событие». Однако мы имеем дело не со «случайными особенностями» и не с «внезапными событиями» (здесь Мерло-Понти следует за концепцией Соссюра). «Инновация» как таковая может отвечать мгновенной потребности и случайной возможности, но «изменение» может зависеть только от общих потребностей и возможностей.

вых навыков — в пределах одного и того же исторического языка — и слабость этих навыков в эпоху культурного упадка или в социальных группах низкой культуры. В так называемой «вульгарной латыни» большинство изменений, приведших к распаду общероманского языка, являются по происхождению деревенскими, региональными или провинциальными (т. е. происходят от коллективов, недостаточно знакомых с римской нормой) и распространяются в эпоху, когда начинается упадок латинской культуры, а Рим постепенно теряет вместе со своим политическим и экономическим могуществом также и роль культурного центра империи. Напротив, условиями относительной устойчивости (сопротивляемости по отношению к изменениям) являются однородность и четкость языковых навыков, а также вообще приверженность говорящего коллектива к своей языковой традиции.

3.2. Следует по этому поводу заметить, что языковая культура (язык как культура) не должна смешиваться с культурой вообще, хотя часто они совпадают. «Самый образованный» слой общества может быть подвержен иностранному влиянию, и в таком случае наиболее чистый национальный язык можно скорее найти в «народных» говорах. Известно также, что консервативными в отношении языка обычно бывают не только общества с развитой внеязыковой культурой, но также и общества, для которых язык является единственным или почти единственным культурным богатством, поскольку для этих последних защита языковой традиции совпадает с защитой своей собственной индивидуальности<sup>6</sup>. Так обстоит дело с маленькими языковыми коллективами, которые подвергаются «культурной осаде» со стороны обществ с более высокой культурой. С этим связан также тот доказанный факт, что территории, «на которых особенно развиты межнациональные связи», вместо того чтобы быть склонными к инновациям (в соответствии с известным неолит-гвистическим тезисом), оказываются консервативными, когда их язык вступает в контакт с другими языками<sup>7</sup>. Далее, следует отличать *изменения-расщепления* от *изменений-унификаций*, которые происходят в эпохи распространения культурной нормы. К этому последнему типу принадлежат изменения, приведшие от аттического диалекта к эллинистической койне, а также, возможно, фонетические изменения, составившие так называемую «фонологическую революцию» в испанском языке Золотого века.

3.3. Межъязыковые контакты также принадлежат, с культурной точки зрения, к разнообразию языковых

<sup>6</sup> Таким образом, два языка (например, санскрит и литовский) могут оказаться консервативными из-за диаметрально противоположных культурных причин.

<sup>7</sup> См. V. P i s a n i, *Geolinguistica e indeuropeo*, Roma, 1940, стр. 170.

навыков в одном и том же коллективе. Эти контакты приобретают особую важность в эпоху двуязычия или в отдельных случаях двуязычия, когда «иностранные» слова могут употребляться как *Fremdwörter*, то есть не приспособившись к системе родного языка говорящего<sup>7</sup>. Так, в латинском языке архаические грецизмы, например *pūriga* и *gubernage*, приспособились к латинской фонологической системе, в то время как грецизмы, заимствованные в классическую эпоху людьми, знавшими греческий язык, сохранили свою греческую форму. Румынский язык в определенную эпоху принял некоторые славянские элементы с ударным *o* в позиции, где румынская норма требовала *oa*, например: *poră* «поп», *toğbă* «охотничья сумка», *sobă* «печка» и т. д., что затем привело к фонологизации дифтонга *oa*, прежде являвшегося вариантом */o/*. Все это было возможно лишь в условиях двуязычия, так как в противном случае эти слова приспособились бы к системе румынского языка. Однако это известные вещи, и нет необходимости останавливаться на них подробнее<sup>8</sup>.

4.1.1. Таким образом, необходимо более тщательно рассмотреть то, что относится к «системным» или «функциональным» условиям. Мы начнем с наиболее общего и наиболее важного условия, которое состоит в том, что язык *постоянно создается*. Языковая система, поскольку она уже реализована в традиционных формах, далека от того, чтобы быть «по определению в устойчивом равновесии».

---

<sup>7</sup> В этом смысле даже одно-единственное иностранное слово, употребленное *в своей иностранной форме*, представляет собой случай двуязычия, хотя и крайний случай.

<sup>8</sup> В задачу данной работы не входит подробное рассмотрение различных проблем, связанных с межъязыковыми контактами и двуязычием. На эту тему см. В. Террасини, *Conflictos de lenguas y de cultura*, В. Aires, 1951; У. Вейнрих, *Languages in contact. Findings and problems*, N. York, 1953. В последнем исследовании двуязычие рассматривается прежде всего со структуральной точки зрения, однако там содержится обширнейшая библиография по всем проблемам межъязыковых контактов. Относительно двуязычия как условия языкового изменения см. также ценные соображения в С. Пушариу, *Limba română*, немецкий перевод «Die rumänische Sprache. Ihr Wesen und volkliche Prägung», Leipzig, 1943, стр. 241 и сл. Говоря о замещении родного слова иностранным, Пушкарю замечает, что истинная «причина» принятия — это не двуязычие как таковое, а функциональная слабость замещаемого слова (стр. 246). Это верно в большинстве случаев, однако здесь следует говорить не о «причине», а об «условии»: о фактической ситуации, с которой сталкивается языковая свобода.

Эта система по своей природе «несовершенна» (в смысле «не завершена»)⁹. Соссюр упоминает о «повреждениях», которые производятся изменениями в «механизме языка»<sup>10</sup>. В послессоссюровской лингвистике часто говорится о «возмущениях», которые якобы вызываются «внешними факторами» в языковых системах (ср. I, 1.1). В таком случае приходится либо допустить, что системы, выделяемые в синхронии, являются иногда «уравновешенными» системами, а иногда «поврежденными» или «возмущенными» системами, либо признать, что любая языковая система всегда находится в неустойчивом равновесии.

4.1.2. В действительности имеет место последнее. По отношению к системе как технике языковой деятельности всякий функциональный элемент имеет положительное определение (он является тем или этим) и отрицательное определение (он не является ни тем, ни этим), и между тем, чем элемент *является*, и тем, чем он *не является* (но чем он может являться, не затрагивая функционирования системы), всегда лежит свободная зона, представляющая собой поле возможных реализаций этого элемента: вспомним о диапазоне реализаций фонем и о диапазоне «значений» означаемых. В некоторых случаях указанное поле может быть очень широким, например в случае латинских велярных взрывных (k, g), которые в позиции перед e, i могли реализоваться даже как ċ, ġ, причем это нисколько не затрагивало функционирования системы, поскольку речь шла о поле реализации, *не используемом* другими фонемами. В русском языке /t'/ может реализоваться как [ts'], [č'] (ср. аффектированное произношение таких слов, как «тетя»), не смешиваясь при этом с фонемами [ts], [č], которые не допускают палатализации. В французском [ʒ] может реализоваться как [x] без опасности смещения, тогда как это невозможно ни в испанском (где x является фонемой; ср. аго «обруч» — ajo «чеснок»), ни в немецком (где были бы возможны ошибки в понимании, например, Dach-stellung «установка крыши» как Darstellung «представление» или наоборот).

⁹ См. M. Merleau-Ponty, Sur la phénoménologie, стр. 95: «Необходимо понять, что поскольку синхрония — это только поперечный срез диахронии, то система, которая реализуется в синхронии, никогда не бывает целиком завершенной; она всегда содержит в себе потенциальные зарождающиеся изменения».

<sup>10</sup> CLG, стр. 157.

Далее, оставаясь в области фонетики, мы напомним, что в системе обычно бывают неустойчивые корреляции и даже «пустые клетки», соответствующие неполным корреляциям. Так, в уругвайском варианте испанского в корреляции по звонкости отсутствует глухой коррелят фонемы /ʒ/. Таким образом, мы имеем «пустую клетку» /ʃ/, которая может «заполниться». И она действительно заполняется спорадическими реализациями фонемы /ʒ/, что делает возможными такие реализации, как [ʃog] из англ. shorts «шорты», которое без этой «пустой клетки» могло быть заимствовано только в виде [çog] (ср. *большевик* > > bolchevique). Аналогично в латинском языке фонеме /f/ соответствовала (в той же самой корреляции, однако из-за отсутствия звонкого коррелята) пустая клетка /v/, которая в конце концов была занята реализациями фонемы /u/, что оказало существенное влияние на грамматическую систему (ср. 4.5.5).

4.1.3. Равновесие системы оказывается еще менее устойчивым, если принять во внимание варианты реализации и нормальные реализации. Так, даже в испанском (пиренейском) стандарте фонема /j/ реализуется иногда как [ʒ] и [dʒ] (в начальной позиции и после носовых и l: yugo «иго», inyectar «впрыскивать», conyugal «супружеский»); такой реализации требует, в частности, корреляция с /č/ <sup>11</sup>. Поэтому в южных говорах и в различных областях Латинской Америки /j/ превратился в /ʒ/. В случае с [w] и [gw] общенародная и литературная норма удерживает в более или менее неустойчивом равновесии две обязательные различные реализации ([weko], т. е. hueso «пустой, полый», но [agwa], т. е. agua «вода»), которые, однако, не соответствуют никакому различительному противопоставлению в фонологической системе испанского языка. Точно так же в уругвайском варианте наличие многочисленных реализаций, допускаемых фонемой /s/, указывает на критическую точку в фонологической системе и предвещает серьезные изменения в грамматической системе, поскольку /s/ имеет большое значение в качестве именной и глагольной морфемы <sup>12</sup>. В самом деле,

<sup>11</sup> Аларкос Льюрач («Fonología», стр. 150) справедливо указывает, что /j/ является точкой, в которой нарушается равновесие системной структуры современного испанского языка.

<sup>12</sup> По этому поводу см. W. V á s q u e z, El fonema /s/ en el español del Uruguay, Montevideo, 1953.

варианты реализации представляют собой, как уже указывалось (ср. 2.4), проявление изменения в синхронии. То же самое верно относительно взаимодополняющих или изофункциональных элементов, которые всегда могут быть найдены в одном «состоянии языка». Так, например, в глагольной системе латинского языка господствует категория времени, но существуют также и видовые оттенки; латинское существительное склоняется посредством изменения окончаний, однако в то же время широко используются предлоги; в склонении многочисленных существительных имеются две различные парадигмы и т. д. В известном смысле, даже когда речь идет о языках, закрепленных литературой и имеющих фиксированную норму, все то, что в обычных грамматиках обозначается как «другая возможность» или «исключение», является отражением диахронического в синхроническом — либо как становление какой-нибудь новой особенности, либо как сохранение старой — и представляет собой «критическую точку» реализованной системы<sup>13</sup>.

4.1.4. Другой аспект «незавершенного» характера реализованных систем заключается в том, что большая часть возможных в функциональной системе противопоставлений остается неиспользованной. Так, например, в испанском языке, если мы оставим в стороне формы с префиксами и суффиксами, мы обнаружим немного слов, отличающихся друг от друга одной и только одной фонемой: слову *puerta* «дверь» не противопоставляются, например, \**cuerta*, \**duerta*, \**puerta* и т. д. Это значит, что большое число «возможных» означающих в действительности в языке не существует. Отсюда следует, с одной стороны, что в конкретной языковой реальности минимальные различительные единицы часто многофонемны и, с другой стороны, что амплитуда «допустимых» реализаций и восприятий часто выходит за пределы различительных противопоставлений, заданных в абстрактной фонологической системе. Во многих случаях, для того чтобы понимать и быть понятым, бывают «достаточны» —

---

<sup>13</sup> Фрей (H. F r e i, *La grammaire des fautes*, Paris—Génève—Leipzig, 1929, стр. 32) с полным основанием замечает, что инновация в языке не обязательно бывает «ошибкой», неправильной формой; действительно, возможны инновации, которые представляют собой необходимые образования, соответствующие данной системе (ср. III, 3.2.1 и сн. 38).

даже если не говорить о внеязыковых факторах (ср. III, 4.2) — «общие контуры» слова, более или менее искаженного. Этот факт является постоянным условием «неустойчивости», особенно для языков с многосложными словами.

4.2.1. С последним фактом связана еще недостаточно изученная проблема *функциональной нагрузки* различительных противопоставлений<sup>14</sup>. В абстрактном инвентаре фонем все различительное как бы лежит в одной плоскости, поскольку хотя бы в *одном случае* оно служит для различения. Однако в реальных языках наблюдаются значительные различия по «функциональной нагрузке». Одни противопоставления гораздо важнее других. Для одного и того же противопоставления существуют различия по функциональной нагрузке в разных позициях и словах. Поэтому определенные различительные противопоставления могут «исчезать» (то есть говорящие могут пренебрегать ими), и это нисколько не затрагивает функционирования системы. Так, в испанском противопоставления /θ/ — /s/ и /λ/ — /j/ (caza «охота» — casa «дом», coser «варить» — coser «шить», sebo «корм» — sebo «сало», siegvo «олень» — siegvo «раб», segar «закрывать» — segar «пилить», zueso «деревянный башмак» — sueso «швед», halla «находит» — haуа «чтобы имелось», calló «замолчал» — сауó «упал», mallo «молот» — maуó «май», pollo «цыпленок» — роуó «завалинка») ненамного важнее некоторых других, уже совершенно исчезнувших противопоставлений, таких, как /ks/ — /s/ (expiar «искупать (вину)» — espiar «шпионить», expirar «скончаться» — espiar «выдыхать») и особенно /b/ — /v/ (barón «барон» — varón «мужчина», basto «грубый» — vasto «обширный», rebelar «ссорить» — revelar «разоблачать», aserbo «терпкий» — aserbo «имуущество»). В литературном итальянском языке противопоставления /o/ — /ɔ/ и /e/ — /e/, хотя они и входят в систему, не имеют такого функционального значения, как, например, противопоставления /o/ — /a/ и /o/ — /e/, поскольку первые имеют место только под ударением и часто лишь в качестве «нормальных» (при этом даже допускаются такие нормальные варианты, как lettera — lettera); противопоставление /s/ — /z/ встречается лишь в нескольких случаях, например /fuso/ «веретено» — /fuzo/ «расплавленный», и только в интервокальном положении.

<sup>14</sup> См. A. Martinet, Où en est la phonologie, «Lingua», I, стр. 55. См. также SNH, стр. 66—67; «Forma y sustancia», стр. 69.

4.2.2. С другой стороны, функциональная нагрузка некоторого противопоставления часто оказывается мнимой: оно зафиксировано в словаре, но в действительной речи не встречается. В соответствии со словарем мы могли бы ввести в испанский язык противопоставление /gw/ — /w/, несмотря на такие реализации, как [awa] (вместо agua «вода») и [gwefo] (вместо huevo «яйцо»), и на такие допускаемые нормой варианты, как guasa «клад, копилка» — huasa, guasca «ремешок» — huasca, исходя из пар слов с различными значениями: güello — huello, güero — huero; однако формы, в которых встречаются последние противопоставления, принадлежат совершенно различным говорам.

В других случаях противопоставление может иметь место в одном и том же говоре и тем не менее его функциональная нагрузка может быть практически равной нулю, так как противопоставленные слова обычно не встречаются в одном и том же высказывании и в одном и том же контексте. Так обстоит, например, дело в случаях zueso «башмак» — sueso «швед», sebo «корм» — sebo «сало». Кроме того, слова различаются не только своим фонемным строением, но и другими признаками. Так, верно, что совпадение /λ/ — /j/ в /ʒ/ приводит к «смешению» слов pollo и poyo, calló и сауó, halla и haya; однако это случается только в абстракции, потому что в конкретной действительности эти слова различаются своими синтагматическими связями<sup>15</sup>.

4.2.3. Именно поэтому утверждение, что 'фонетическое изменение считается с различительными противопоставлениями', следует понимать с ограничениями (ср. III, 4.4.8). На самом деле фонетическое изменение, как и любое другое системное изменение, приобретает характер того, что Э. Сепир назвал drift, то есть «движение», «дрейф»<sup>16</sup>. Это, впрочем, всего лишь метафора, означающая, что язык

---

<sup>15</sup> Боттильони (G. Bottiglioni, La geografia linguistica (Realizzazioni, metodi e orientamenti), «Revue de Linguistique Romane», XVIII, стр. 151) справедливо отмечает, что омофония не обязательно должна мешать говорящим. В самом деле, омофония (которую структурализм рассматривает как условие изменения, в чем он сходится с лингвистической географией) обычно становится опасной лишь тогда, когда слова-омофоны принадлежат к одной и той же семантической сфере. Кроме того, допустимость омофонических форм различна для разных языков; ср. В. Т р п к а, Bemerkungen zur Homonymie, TCLP, IV, стр. 152—156.

<sup>16</sup> См. «Language», New York, 1921, стр. 160 и сл.

создается системно и что в создании языка системная целенаправленность преодолевает частную различительную целенаправленность, точно так же как общая системная целенаправленность преодолевает частную системную целенаправленность. В случаях, когда изменение действительно затрагивает определенные важные и необходимые противопоставления, «ущерб» возмещается посредством других, частных изменений (например, с помощью словообразования, введения нового слова, расширения значения какого-либо существующего слова, если требуется сохранить различие между словами и т. д.). Так, когда исп. *sata* (<*samba*) «нога» совпало с *sata* «кровать», то *sata* в значении «нога» было замещено словом *pierna*; в уругвайских говорах *soség* «варить», совпавшее с *coser* «шить», замещается глаголом *sosípaq*. С точки зрения системности в широком смысле слова можно сказать, что задолго до выпадения какого-либо элемента из системы в норме языка уже существуют те элементы, которые возьмут на себя функции выпавшего элемента. Задолго до того, как противопоставление долгих и кратких гласных исчезло из системы латинского языка (в качестве различительного сопоставления), в латинском уже существовали силовое ударение и различие гласных по тембру, которые заменили различие по долготе — краткости. В тех уругвайских говорах, где утрачивается конечное *-s*, этот согласный замещается в своей морфонематической функции корреляциями гласных по тембру и по количеству<sup>17</sup>. Точнее говоря, в настоящее время конечное /s/ представлено в указанных говорах открытым тембром (e, э) или долготой (a:) конечных гласных. Если бы когда-нибудь перестала осознаваться возможность выбора между этими явлениями и *-s*, тембр и количество автоматически приобрели бы собственную фонологическую значимость, как это произошло в андалусском диалекте<sup>18</sup>. Изменения не наносят языку таких «повреждений», которые так или иначе не были бы исправлены заранее или для которых бы не существовала возможность исправления (ср. 4.3).

4.2.4. То, что было сказано выше относительно различий по функциональной нагрузке, не означает, однако, что «бесполезное»

<sup>17</sup> Ср. W. V á s q u e z, El fonema /s/, стр. 6—8.

<sup>18</sup> Ср. T. N a v a r r o T o m á s, Desdoblamiento de fonemas vocálicos... «Revista de Filología Hispánica», I, стр. 165—167.

противопоставление или противопоставление с малой функциональной нагрузкой обязательно должны исчезнуть. Они могут неограниченно долго поддерживаться культурной нормой и даже найти оправдание в системе, например благодаря высокой функциональной нагрузке соответствующих различительных признаков<sup>19</sup>. Так, в итальянском противопоставление /dz/—/ts/ функционирует только в отдельных, типично «словарных» случаях: /radza/ — /ratsa/ и /bodzo/—/botso/ (в других случаях, как, например, /medzo/—/metso/, это противопоставление не является единственным различителем). Однако данное противопоставление сохраняется в норме гораздо лучше, чем противопоставление /z/ —/s/ (которое не существует в говорах Севера и Юга Италии), поскольку противопоставление глухих и звонких последовательно проводится в итальянском языке для всех взрывных и аффрикат, но не для всех щелевых (/ʃ/ не имеет звонкого соответствия) и поскольку противопоставление /dz/ — /ts/ не локализовано в слове, тогда как противопоставление /z/ — /s/ возможно только в интервокальной позиции.

4.3.1. Постоянная возможность «исправлять» так называемые «повреждения», производимые изменением в языковых системах, объясняется тем, что в языке в течение длительного времени сосуществуют старое и новое — не только экстенсивно, но и интенсивно (в форме «вариантов» и «изофункциональных элементов»), то есть тем, что, как уже говорилось, одно из условий изменения — это само изменение (ср. 2.4). Перефразируя знаменитый тезис Соссюра об отношении между «языком» и «речью», мы можем сказать, что — за исключением межъязыковых принятий и редких образований *ex nihilo* — «в системе не появляется ничего такого, что до этого не существовало бы в норме», и, наоборот, ничто не исчезает из функциональной системы иначе, как путем длительного отбора, осуществляемого нормой. С другой стороны, любой сдвиг в норме (в реализованном языке) происходит лишь как историческая конкретизация определенной возможности, уже существующей в системе.

4.3.2. В этом отношении примеры из области грамматики являются более очевидными и убедительными, чем примеры из области фонетики, хотя несомненно, что и в фонетике дело обстоит так же, как в грамматике. Так, сравнительная конструкция с *tagis* была в латинском языке грамматическим «вариантом» (изофункциональным элементом), прежде чем приобрела то значение, которое она имеет в настоящее время в испанском и других романских языках. В самом деле, сравнительная конструк-

---

<sup>19</sup> Ср. E. Alarcos Llorach, *Fonología*, стр. 107.

ция с *magis* существовала уже в классическом латинском не только для прилагательных на *-eus, -ius, -uus*, но также и для «адъективированных существительных» (*magis amicus* «большой друг») и для сравнительных оборотов с глаголами и числительными (*magis quam quadraginta* «более чем сорок»). Этот оборот использовался в качестве факультативного варианта также и с наречиями (*magis audacter* «более смело» — Цицерон). В так называемой «вульгарной латыни» произошло постепенное смещение нормы посредством выбора между *magis* и окончанием сравнительной степени (что, впрочем, согласуется с постепенным распространением перифрастических способов выражения по всей грамматической системе латинского языка). Только после длительного отбора *magis* оказалось (по крайней мере в некоторых говорах) единственным допустимым средством выражения для сравнения и перестало быть «вариантом»: таким образом, в системе произошла *мутация*<sup>20</sup>. Точно так же указательное местоимение *ille*, употреблявшееся со значением, весьма близким к значению артикля (ср. у св. Августина: *ubi veniemus ad illam aeternitatem* «когда мы придем к вечности»), превратилось в собственно артикль (т. е. стало простым актуализатором) только посредством мутации: это произошло в тот момент, когда для того, чтобы сказать «тот», стали говорить не *ille*, а, например, *essim ille*. Конструкция с *de* была в латинском языке синтагматическим вариантом генитива, прежде чем генитив исчез, вытесненный перифразой. Уже в классическом латинском эта конструкция часто выступала в функциях, аналогичных функциям генитива: *signum de marmore* «мраморное изображение», *aetas de ferro* «железный век» (Овидий), *fama de illo* «его слава», *unus de illis* «один из них» (Цицерон); кроме того, конструкция с *ad* могла функционировать как вариант датива<sup>21</sup>. Известно также, что перифрастические глагольные формы перфекта и будущего времени существовали — с видовым или «модальным» значением — задолго до того, как они утвер-

<sup>20</sup> По аналогии с такими понятиями диахронической фонологии, как *фонологизация, дефонологизация* и *трансфонологизация*, мы можем сказать, что *мутация*, вообще говоря, может быть *позитивной, негативной* и *нулевой* (*de transferencia*).

<sup>21</sup> Нечто аналогичное наблюдается в современном румынском языке, где конструкция с предлогом *la* выступает как эквивалент дательного падежа: сочетания *la un copil* «ребенку», *la copiii* «детям» часто употребляются в том же значении, что и *unui copil, copiilor*.

дились в «вульгарной латыни» в собственно временном значении: ср. *habeo absolutum* «у меня решено» (Цезарь); *dictum habeo* «у меня сказано» (Цицерон); *habeo pactam sororem meam* «у меня обручена сестра» (Плавт); *haec habui dicere* «я должен был сказать это» (Цицерон). В испанском форма *había* + причастие прошедшего времени в течение длительного времени была вариантом более древней формы на *-aga, -ega* (*gritara* «он крикнул», *saliera* «он вышел»). Однако, когда формы на *-aga -ega* стали формами конъюнктива (что объясняется их употреблением в условных конструкциях), вариант *había* + причастие прошедшего времени стал единственным регулярным способом выражения плюсквамперфекта индикатива. Напротив, формы на *-ase, -ese* (*gritase* «чтобы он крикнул», *saliese* «чтобы он вышел»), которые прежде были нерегулярным средством для выражения имперфекта конъюнктива, в силу указанного выше изменения оказались «вариантами» и в настоящее время находятся под угрозой вытеснения со стороны вариантов на *-aga, -ega*<sup>22</sup>.

4.4.1. Другим постоянным условием «неустойчивости» является внутреннее противоречие, существующее во всякой реализованной языковой системе. В самом деле, норма зачастую требует избыточных реализаций или же реализаций, оправданных с точки зрения парадигматики и бесполезных в синтагматическом плане. В силу стремления к парадигматическому единообразию норма может даже требовать реализаций, противоречащих системе. Таким образом, в конкретном всегда наблюдается конфликт между синтагматическим и парадигматическим, поскольку в речи говорится в известном смысле больше того, что является функционально необходимым.

4.4.2. Посмотрим, что происходит в случаях скопления изофункциональных морфем (на этот раз в речевой цепи, а не в системе). Например, в латинском языке употребление предлогов привело к тому, что во многих случаях падежные окончания оказались ненужными. Это и была в действительности одна из главных причин последующего функционального ослабления окончаний. В испанском языке парадигматическое единообразие (т. е. то, что обычно называется нормой «индивидуальности» слов) требует множественного числа артиклей и в тех слу-

<sup>22</sup> Другие примеры можно найти в SNH, стр. 64—66.

чаях, когда оно функционально избыточно (поскольку число выражено в самом имени), и даже в тех случаях, где это приводит к противоречию с законами сочетаемости фонем испанского языка. В самом деле, в испанских лексических единицах не встречаются группы *ss*, *sλ*, *sbl*; но, поскольку в речи артикль образует единое фонетическое слово с последующим именем, эти группы появляются обязательно, когда слова с начальными *s*, *λ*, *bl* употребляются с артиклем во множественном числе: *los senderos* «тропки», *las llanuras* «равнины», *los bloques* «блоки». Именно здесь происходит «падение» звука *s* перед другим *s*, а это, быть может, первый шаг к падению конечного *s* в андалусских и уругвайских говорах. Заметим далее, что *sθ*, *sč*, *sj*, *sx* и группы *s* + два согласных очень редки или встречаются только в сложных словах; *sg* также редко встречается, а кроме того, в этой группе *g* трактуется в действительности как начальное (т. е. архифонема /R/ представлена в этом случае вариантом [r]). Еще легче объяснить тот факт, что падение конечного *-s* началось (в Андалусии) в зонах *сесео\**, где *los*, *las* > *loθ*, *laθ*, поскольку *θ* не сочетается с *f*, *θ*, *č*, *j*, *s*, *x*, *ñ*, *λ*, *гг* и входит лишь в одну группу из трех согласных — *θkl*.

4.4.3. Аналогичным образом можно провести рассуждение, обратное данному, а именно: если в языке нет конфликтов между парадигматикой и синтагматикой или если парадигматика сведена к минимуму, то это является условием относительной устойчивости

4.5.1. Наконец, с внутренними противоречиями любой реализованной системы соотносится *динамическая взаимозависимость* конституирующих элементов любой языковой системы, что является вторым постоянным условием неустойчивости языков, так как приводит к тому, что всякое изменение может явиться причиной других аналогичных или коррелятивных изменений.

4.5.2. Указанная взаимозависимость может пониматься прежде всего как солидарность между элементами каждой из частных систем, разграничиваемых при описании языков (звуковая, грамматическая, лексическая). Вообще можно утверждать, что появление нового функционального элемента благоприятствует становлению других аналогичных элементов и, наоборот, исчезновение функцио-

---

\* *Сесео* — диалектное явление в испанском языке: произношение [θ] вместо [s]. — *Прим. перев.*

нального элемента ослабляет прочие элементы того же самого типа. Вспомним, например, вульгарнолатинские аффрикаты, которые, как известно, возникли неодновременно, и постепенное ослабление падежных окончаний в той же самой «вульгарной латыни».

4.5.3. Принцип динамической солидарности между звуковыми элементами языка представляет собой, как известно, фундамент диахронической фонологии, основателем которой является Р. Якобсон<sup>23</sup> и которую особенно успешно развивает, достигнув повсеместно признанных результатов, А. Мартине<sup>24</sup>. Пражские фонологи выдвинули диахроническую фонологию в противовес так называемому «атомизму», который обычно приписывался и приписывается младограмматикам. Однако не следует забывать, что указанный выше принцип был высказан (очевидно, впервые) Г. Паулем; то есть как раз тем ученым, которого считают теоретиком преимущественно младограмматического направления: «Во всех языках существует определенная гармония звуковой системы. Это подтверждается тем, что направление изменения определенного звука должно быть обусловлено направлением изменений прочих звуков»<sup>25</sup>. С другой стороны, тот же самый принцип был сформулирован до или вне диахронического структурализма Ж. Вандриесом в статье, опубликованной еще в 1902 г.<sup>26</sup>, и М. Граммоном<sup>27</sup>.

4.5.4. В более широком смысле вышеупомянутая взаимозависимость может пониматься как солидарность всей языковой системы. В связи с этим следует напомнить известное положение А. Мейе о том, что язык — это «система, где все взаимосвязано»<sup>28</sup>. Данный тезис, разумеется,

---

<sup>23</sup> «Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves» (=TCLP, II), Prague, 1929; «Prinzipien der historischen Phonologie», TCLP, IV, 1931, стр. 247—267, франц. перев. «Principes de phonologie historique», в книге N. T r o u b e t z k o y, Principes, стр. 315—336.

<sup>24</sup> «Économie des changements phonétiques. Traité de phonologie diachronique», Berne, 1955, где излагаются основные положения и общие принципы диахронической фонологии и собран ряд выполненных ранее частных исследований.

<sup>25</sup> «Prinzipien», стр. 57.

<sup>26</sup> «Réflexions sur les lois phonétiques», в кн. «Choix d'études linguistiques et celtiques», Paris, 1952, стр. 3—17.

<sup>27</sup> «Совокупность артикуляций данного языка образует систему, где все находится в тесной взаимозависимости. Отсюда следует, что если в одной части системы происходит изменение, то имеется вероятность того, что им будет затронута вся система в целом, поскольку система обязательно должна остаться связанной» («Traité de phonétique», стр. 167). При этом Граммон приводит почти структуралистические примеры. Ср. также стр. 156, где неприемлемым является только то, что системность изменений объясняется несуществующими «тенденциями языка».

<sup>28</sup> «Linguistique historique», I, стр. 16.

неприемлем без необходимых оговорок относительно того, что «исторические языки», как мы видели, включают в себя несколько различных систем и различных норм (ср. II, 3. 1. 4). Этот тезис применим лишь к «функциональному языку» (ср. II, 3. 1. 3), и даже здесь он нуждается в ограничениях, поскольку в языковой системе всегда существуют противоречащие друг другу возможности, представляющие ее неустойчивое равновесие. С другой стороны, рассматриваемый тезис тавтологичен: в конце концов, он попросту гласит, что система — это система, поскольку «система» означает как раз совокупность взаимозависящих элементов. Однако это полезная и важная тавтология, так как она привлекает внимание к тому факту, что в языке нет автономных и не сообщающихся друг с другом областей (как это часто получается в грамматических описаниях) и что существует внутренняя солидарность между фонетическим, грамматическим и лексическим. В диахронической перспективе это означает, что изменение в любой из указанных областей языка определенным образом отзывается на всей системе<sup>29</sup>. Это важно именно потому, что взаимозависимость элементов в языковой системе складывается не только из согласований между ними, но и из противоречий. Из-за противоречий — и в первую очередь из-за несовпадения между общей и частной системной целеустремленностью (ср. III, 4.4.8) — то, что «создается», с одной стороны, в языке, с другой стороны, «разрушается» и нуждается в новых «исправлениях».

4.5.5. Так, например, падение конечного -s в Восточной Романии привело не только к сведению форм множественного числа к двум типам (-e, -i), но и к распространению окончания -i на второе лицо глагола в разных временах (итал. *chiami* «зовешь», *vedi* «видишь»; рум. *chemi*, *vezi*); в противном случае второе лицо совпало бы с третьим. Аналогичным образом можно объяснить (поскольку это касается функциональных условий) некоторые другие изменения, происшедшие в латинской грамматической системе, и среди них — вытеснение синтетических форм будущего времени перифрастическими. Уже в самом классическом латинском формы будущего времени недостаточно удовлетворяли потребности выражения; кроме того, они

<sup>29</sup> R. Jakobson, The phonemic and grammatical aspects of language in their interrelations, в Actes du Sixième Congrès International des Linguistes, Paris, 1948, Rapports, стр. 5—18.

выглядели несколько странно с точки зрения системы, поскольку образовывались в четырех спряжениях двумя совершенно различными способами и поскольку формы первого лица будущего времени в третьем и четвертом спряжениях совпадали с формами конъюнктива настоящего времени. Таким образом, будущее время представляло собой «слабую точку» системы. Тем не менее ничто, казалось, не угрожало его существованию. Затем в так называемой «вульгарной латыни» стали часто путать *b* и *w*, в результате чего произошло смешение некоторых форм будущего времени (*amabit* «будет любить», *amabimus* «будем любить») с формами перфекта индикатива (*amavit* «он любил», *amavimus* «мы любили»). С другой стороны, в результате перехода *i* в *e* и утраты противопоставления гласных по количеству начинают смешиваться формы будущего времени и третьего и четвертого спряжений с формами настоящего времени индикатива тех же глаголов (*dicet* «скажет» — *dicit* «говорит») <sup>30</sup>. Все это стимулирует (хотя и не определяет полностью) замещение синтетических форм будущего времени перифразами с *habeo*, *debeo*, *volo*, которые не были двусмысленны и в то же время соответствовали важной потребности выражения, обозначая «будущее с точки зрения настоящего» как намерение или обязанность (ср. V, 4. 2). Одновременно перфект индикатива, формам которого тоже угрожало совпадение с формами других времен и склонений, также стал часто замещаться видовой перифразой *habeo* + причастие прошедшего времени. Однако полное исчезновение будущего на *-bo*, *-bis* и падение *-w-* в окончаниях перфекта позволили перфекту возродиться; действительно, он сохранился до наших дней в большинстве романских диалектов. Обратное: новая различительная возможность является и новой грамматиче-

<sup>30</sup> W. von Wartburg, *Problemas y métodos*, стр. 163; V. Bertoldi, *La parola quale mezzo d'espressione*, Napoli, 1946, стр. 259—260; A. Pagliaro, *Corso di glottologia*, I, стр. 163 и *Logica e grammatica*, стр. 20, прим. 1; B. E. Vidos, *Handboek tot de romaanse taalkunde*, 's-Hertogenbosch, 1956, стр. 185, 192.

С другой стороны, уже Гренджент (C. H. Grandgent, *An introduction to Vulgar Latin*, 1907, исп. перев. *Introducción al latín vulgar*<sup>2</sup>, Madrid, 1952, стр. 99) указывал, что формы латинского будущего «в позднем произношении были подвержены смешению с формами настоящего времени индикатива и конъюнктива». На результаты, к которым приводит смешение [b] и [w], обращает внимание также Маттозу Камара (J. Mattoso Câmara Jr., *Uma forma verbal portuguesa*, Rio de Janeiro, 1956, стр. 30).

ской возможностью. В румынском языке, когда противопоставление *ó—oa* было «фонологизовано», оно смогло служить не только для выражения лексических различий (*robă* «мантия» — *goabă* «раба», *tonă* «тонна» — *toapă* «каприз»), но и для выражения грамматических различий; так, в молдавском поддиалекте [*robi*] «рабы» отличается от [*goabi*] «рабыни» только противопоставлением *ó—oa*. Конечно, и грамматика влияет на фонетику. В латинском языке падение конечных гласных (в частности, *-m*) и постепенное исчезновение долготы гласных (в качестве различительного признака) требуют употребления предлогов для различения синтаксических функций имени (например, *cum hasta* «копьем» вместо *hasta*). Можно, однако, утверждать и обратное, то есть что употребление предлогов приводит к возрастающему функциональному (а в результате и к материальному) ослаблению окончаний и противопоставлению гласных по количеству; здесь идет речь о связанных и взаимозависимых процессах. К этому следует добавить еще случаи «аналогии», иногда очень общего характера. Таково, например, устранение оглушения конечных согласных (*naŕ* «корабль», *nuŕ* «облако», *verdat* «правда», *homenaŕ* «почесть»), а частично и апокопы *-e* в староспанском, что объясняется сохранением звонких в формах множественного числа тех же слов (*paves*, *pubes*, *verdades*, *homenajes*): формы единственного числа *pave*, *pube*, *verdad*, *homenaje* были «восстановлены» по образцу форм множественного числа и в соответствии с моделью противопоставления ед. ч. /мн. ч., существовавшего в системе испанского языка<sup>81</sup>.

5.1. Среди общих условий изменения следует также рассмотреть культурное и функциональное несовпадение между *системой* и *нормой* языка.

5.2. В самом деле, с точки зрения языковых навыков постоянно наблюдается несоответствие между знанием системы и знанием нормы. Знание нормы означает более

---

<sup>81</sup> По отношению к случаям этого типа можно, действительно, сказать, как пишет Найда (E. A. Nida, *Linguistic interludes*, Glendale, 1947, стр. 149), что «аналогия действует в тех частях языка, которые не находятся в равновесии с общей структурой как с целым». В других случаях аналогия реализует частные системные возможности, которые могут противоречить другим, более общим возможностям. Так, например, в испанском языке *oigo* «слышу» — это аналогическая форма, однако она не согласуется со структурой испанского глагола как с целым.

высокую ступень культуры, поскольку оно предполагает осведомленность не только о *возможном*, о том, что *можно сказать* на данном языке, не нарушая его функционирования, но также и о том, что действительно *говорится* и *говорилось*, то есть о традиционной реализации<sup>22</sup>. Система заучивается гораздо раньше, чем норма: прежде чем узнать традиционные реализации для каждого частного случая, ребенок узнает систему «возможностей», чем объясняются его частые «системные образования», противоречащие норме (например: *apdë* «пошел» и *sabí* «уместился» вместо *apduve* и *sipe*) и постоянно исправляемые взрослыми.

Указанное культурное несоответствие между системой и нормой влечет два следствия общего характера. Во-первых, инновации того типа, который мы назвали «системными образованиями», должны быть особенно многочисленны и приобретать широкую возможность распространения в эпохи ослабления традиции и культурного упадка или в обществах с низкой языковой культурой. Во-вторых, можно сказать а priori, что при наличии культурных условий, благоприятных для изменений, одни языки больше подвержены изменениям, чем другие. В самом деле, существуют языки, у которых система явно преобладает над нормой, то есть *функционально возможное* преобладает над *традиционно реализуемым*. Это языки с относительно простой и регулярной структурой, например угрофинские и особенно тюркские. Они вообще изменяются гораздо меньше или «изменяются, не изменяясь», поскольку в них меньшую роль играет традиционная реализация. Часто можно сказать, что «то, что возможно в турецком языке, это по-турецки», даже если оно никогда не было реализовано раньше. Однако этого нельзя сказать о языках со сложной и

---

<sup>22</sup> Различие между *системой* и *нормой* можно до известной степени уподобить различию, которое в американской лингвистике проводится между «продуктивными» *моделями*, такими, как множественное число на -s в английском языке, и «фиксированными» или «ограниченными», такими, как *ox—oxep* (Ср. E. A. Nida, цит. раб., стр. 146). Правда, для нас норма включает не только «окаменевшее», но и все установленное и общее в традиционных языковых реализациях, в то время как система охватывает «возможности», направляющие линии и функциональные пределы реализации, т. е. саму технику языкового творчества. В случаях *ox—oxep* фактом нормы является не форма *oxep* как таковая (которая в качестве функциональной возможности является не менее системной, чем *oxes*), а тот факт, что здесь традиционная реализация проявляется именно в *oxep*, а не в *oxes*.

частично аномальной структурой, т. е. о таких, какими является большинство индоевропейских языков. В них система предлагает для одного и того же случая несколько возможностей, в то время как норма выбирает только некоторые из них. Так, в испанском в трех аналогичных парах *rendimiento* «производительность» — *rendición* «сдача, капитуляция», *remordimiento* «угрызения совести» — *remordición* и *volvimiento* — *volvición* норма допускает в первом случае обе возможности (хотя и с различными значениями), во втором — только первую возможность, а в третьем — ни одной (хотя существует *revolvimiento*). Когда какие-либо обстоятельства вызывают колебания языковой традиции, в языках этого второго типа всегда возможны значительные изменения, связанные с «регуляризацией», с применением системы вопреки норме (именно это произошло в испанском с большинством «неправильных» латинских глаголов, с «сильными» формами перфекта и с «сильными» причастиями при переходе от староиспанского к классическому испанскому).

5.3. Аналогичное расхождение между нормой и системой наблюдается и со стороны «интенсивности»: в *различительном* (фонетическом) преобладает система; в *смысловом*, и особенно в грамматическом, преобладает норма. Отсюда вытекают два вывода: в области фонетики изменениями в основном не затрагиваются малоупотребительные формы (например, «ученые», «книжные» формы); в области грамматики, наоборот, старые формы (например, «неправильные» глаголы) обычно сохраняются как раз у наиболее употребительных, лучше «известных» элементов <sup>33</sup>.

6. Итак, можно сделать вывод, что системные и культурные «факторы» выступают по отношению к изменению как факторы, обуславливающие *отбор* инноваций, то есть как условия и пределы языковой свободы в создании и воссоздании языка. Из многочисленных инноваций, встречающихся в речи, принимаются и распространяются только некоторые, поскольку только некоторые инновации согласуются с возможностями и потребностями функциональной системы или находят благоприятные условия в состоянии межиндивидуальных языковых навыков. Языковое изменение всегда начинается и развивается как «сдвиг» нормы. Однако, чтобы норма могла «сдвинуться»,

---

<sup>33</sup> Ср. замечания Пауля (H. Paul, Prinzipien, стр. 227).

нужно либо чтобы это было функционально целесообразно и необходимо, либо чтобы норма была неизвестна говорящим, либо чтобы нарушение нормы не затрагивало функционирования языка (взаимопонимания). Поскольку язык является совокупностью традиционных навыков, то он изменяется быстрее в эпохи общего ослабления этих навыков; однако изменения ограничены функционированием системы<sup>34</sup>. Поскольку язык — это функциональная система, то он изменяется прежде всего в своих «слабых точках», то есть там, где система не полностью соответствует потребностям выражения и общения говорящих; однако «необходимые» изменения ограничиваются устойчивостью традиции: сильная культурная норма может обусловить неограниченно долгое сохранение даже «несбалансированной» системы. Таким образом, одни и те же системные и внесистемные «факторы» являются условиями как изменения, так и сопротивления изменению. *Темп* языковой «эволюции» зависит от их диалектического взаимодействия: от совпадения или несовпадения между функционально необходимым и культурно допускаемым и от преобладания первого или второго из обоих рядов «факторов».

## V. ЯЗЫКОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. СМЫСЛ И ГРАНИЦЫ „ГЕНЕТИЧЕСКИХ“ ОБЪЯСНЕНИЙ

1.1. Третья проблема языкового изменения (проблема того или иного определенного изменения или ряда определенных изменений в данном языке) является *исторической проблемой*; решение ее зависит от знания исторических (системных и внесистемных) условий рассматриваемого языка и конкретного момента, в который этот язык рассматривается. Как уже говорилось, решения проблем третьего типа дают необходимый материал для постановки общей проблемы изменений (в той мере, в какой эта последняя нуждается в индукции), и в этом смысле «условное»

---

<sup>34</sup> Даже строго «ортодоксальные» сосюррианцы, сторонники учения о случайных изменениях и противники диахронического структурализма, все-таки признают эту «негативную» роль системы по отношению к языковому изменению. Так, например, Бюрже (A. В u r g e r, *Phonématique et diachronie*, стр. 32) пишет: «Вообще роль системы в развитии языка является существенно негативной и консервативной. Система открывает путь тем инновациям, которые не вызывают затруднений во взаимопонимании, и препятствует закреплению инноваций, порождающих такие затруднения».

объяснение языкового изменения есть обобщенное «историческое объяснение» (ср. II, 4.2 и IV, 1.1). С другой стороны, исторические проблемы можно ставить, только имея в виду динамическую реальность языка (ср. III) и зная общие условия изменения (ср. IV). Поэтому первая и вторая проблемы языкового изменения (единственно законные из эмпирических проблем) взаимозависимы и взаимно разъясняют друг друга. Однако между этими проблемами и логической проблемой изменчивости языков указанного отношения не существует.

1.2. К сожалению, постановку исторических проблем (проблем тех или иных конкретных изменений) также связывают, особенно в области фонетики, с физикалистской идеей причинности. К этому прибавляется, как всегда, еще и то, что данные проблемы ставятся в плоскости абстрактного языка. Отсюда тенденция считать существенной проблему начальных изменений и даже признавать решенной любую частную проблему, для которой удалось логически просто вывести или постулировать «происхождение» (гипотетическое) рассматриваемого изменения. Дело в том, что часто забывают следующее: в конкретном языке имеется не *одна* фонема *a* и не *одно* слово *A*, а столько, сколько говорящих употребляют фонему *a* и знают слово *A*. Фонемы и слова абстрактного языка — это абстрактные элементы и модели «второй ступени», соответствующие другим элементам и моделям «первой ступени», которые содержатся в индивидуальных комплексах языковых навыков; эти последние не могут измениться в силу простой «точечной» инновации (ср. III, 3. 1).

1.3.1. В этом отношении самым печальным примером являются неудачные и абсурдные физиологические «объяснения». Действительно, когда говорят, например, что в данном языке для перехода фонемы *x* в фонему *y* язык (орган) должен выполнить определенные движения и перейти из положения *p* в положение *q* (с большим или меньшим рядом промежуточных положений), то этим не объясняют рассматриваемого изменения, а сообщают лишь, каковы движения языка (органа), обязательные для перехода от реализации фонемы *x* к реализации фонемы *y*. Иначе говоря, решается *проблема физиологии артикуляции*, а не поставленная историческая проблема. Что говорится, например, когда утверждают, что «смещение вперед точки соприкосновения языка с нёбом явилось «действенной причиной»

эволюции латинских *ke, ki*?<sup>1</sup>. О каком «языке» здесь идет речь? «Язык» (*Sprache*) — это совокупность межиндивидуальных навыков, а не аппарат фонации. «Язык» (*Sprache*) не имеет языка (*Zunge*); язык (*Zunge*) имеется у говорящих, но, конечно, они не могут передвинуть его так, чтобы единообразно изменить свои звуковые реализации.

1.3.2. Рассматривая палатализацию латинских велярных, А. Бюрге утверждает, что «фонетика объясняет нам, как происходит эта палатализация, но причина ее ускользает от нас»<sup>2</sup>. Однако в действительности, если рассматривать палатализацию как «изменение» (ср. III, 3.2.1), фонетика не объяснит нам ни «почему», ни «как». Фонетическое объяснение того, как именно происходит палатализация, является общим и физиологическим, а не историческим и культурным. Поэтому фонетико-физиологические объяснения звуковых изменений не только спорны или ошибочны, а просто абсурдны: они основываются на смешении абстрактного и межиндивидуального языка с конкретной и индивидуальной речью. Очевидно, упомянутый автор имеет в виду, что переход *ke, ki* в *če, ċi* в латинской системе *начался* в конкретной языковой деятельности физиологическим сдвигом (или несколькими аналогичными индивидуальными сдвигами). Однако этим также не объясняется изменение как таковое, а лишь сообщается нечто о предполагаемой инновации, предшествовавшей самому изменению. На самом деле, «изменение» начинается не с инновации, а с *принятия* (ср. III, 3.2.1), и как межиндивидуальное принятие нового языкового элемента изменение — это историческое явление, которое не может иметь физиологического объяснения, а должно иметь *объяснение историческое*, в культурных и функциональных терминах. То, что следует объяснить, — это ряд принятий, а языковые принятии не являются и не могут являться физиологическими актами (ср. III, 3.2.2 и III, сн. 16).

1.3.3. На тех же смешениях основывается другая неудачная идея — о физиологической «постепенности» звуковых изменений. Если язык (*Sprache*) не отождествляется с аппаратом фонации, то постепенность будет заключаться в постепенности соответствующих

---

<sup>1</sup> Этот пример не выдуман: именно так Гуарнерио (Р. Е. G u a r n e r i o в «*Revue de dialectologie romane*», III, стр. 213) объяснял палатализацию латинских велярных. К сожалению, «объяснения» подобного типа все еще встречаются в лингвистике.

<sup>2</sup> Цит. статья, стр. 30.

исходных инноваций. В самом деле, поскольку язык не имеет физического существования и физической непрерывности, эти столь часто постулируемые «незаметные изменения» не могут сохраняться и накапливаться (ср. III, сн. 32 и III, 4.4.5). Далее, поскольку изменения принадлежат к самой сущности бытия языка, разумно задать вопрос, были ли хоть раз засвидетельствованы эти «незаметные» изменения, эти постепенные переходы от одной реализации к другой, например постепенное оглушение звонких согласных, постепенное удлинение кратких гласных и так далее. В действительности всегда наблюдается «борьба» между старыми звуковыми элементами и другими, более новыми элементами, т. е. между вариантами, подлежащими отбору. Новый звуковой элемент наблюдается как «спорадический» (в горящем коллективе), но не как «постепенный». Ошибочное положение о «неощутимых» изменениях коренится в том, что, когда проблема ставится в плоскости абстрактного языка, *экстенсивная* постепенность смешивается с *интенсивной* (ср. III, 4.4.2): различия по частоте между вариантами интерпретируются как физиологическая постепенность перехода от одного варианта к другому. Так, например, в испанском языке Уругвай фонема /ʒ/ часто реализуется как /ʃ/: одни говорящие всегда произносят /ʃ/, другие употребляют этот вариант лишь иногда. Поэтому мы можем сказать, что в уругвайской речи «постепенно утрачивается звонкость /ʒ/». Однако это означает лишь, что реализация /ʃ/ встречается все чаще, а не то, что звонкое ʒ заменяется ʃ путем незаметного перехода сначала к менее звонкому ʒ̣ и т. д. «Постепенность» характеризует *генерализацию*, а не реализацию данного звукового элемента. Иначе и не может быть, поскольку звуковые инновации и принятия как точечные акты не могут иметь физиологической постепенности (ср. III, сн. 53).

2.1. Трудностями, присущими проблемам третьего типа вместе с порочной постановкой всей проблематики изменения, объясняется, вероятно, и то утверждение, будто «нам неизвестны «причины» языковых изменений»<sup>3</sup>. В действительности в некотором, и притом наиболее общем, смысле эти «причины» вполне известны и ежедневно наблюдаемы: они совпадают с условиями речи и принадлежат к повседневному опыту каждого говорящего. В другом смысле понимаемые как культурные и функциональные ограничения, «причины» изменений выводимы из общих условий существования «языка»; в большинстве случаев они могут быть определены для любого достаточно документированного исторического языка.

<sup>3</sup> Это утверждает, например, относительно звуковых изменений Л. Блумфилд (Bloomfield, Language, New York, 1933, стр. 385). Ср. также А. Грера, Atlas lingüístic de Catalunya, Introducció, стр. 2: «Слова, формы и звуки, характерные для современных говоров, исчезли, начиная с определенного времени, по причинам, нам неизвестным».

2.2.1. Здесь также смешивается *изменение с инновацией*. Типы же инновации известны *в общем*, но *конкретная начальная инновация* может быть установлена для каждого частного случая изменений лишь гипотетически. Лингвисты обычно могут засвидетельствовать инновацию лишь тогда, когда она уже принята многими индивидуумами и стала «изменением». Но, за исключением некоторых лексических случаев и отдельных документированных примеров из других областей (ср. III, сн. 36) <sup>4</sup>, оказывается невозможным определить, кто именно и в какой момент ввел инновацию. Сравнительно легко открыть «происхождение» какого-либо технического приема в живописи, установив, какой художник и даже в какой именно картине ввел его: художники малочисленны, и все картины можно попросту пересчитать. Однако мы не можем установить, кто именно и в каком речевом акте применил, например, определенный звуковой элемент, потому что все люди говорят, и языковые акты практически неисчислимы <sup>5</sup>. Только в этом смысле можно принять утверждение Соссюра, что «причины» языкового «искажения» «недоступны для наблюдателя» <sup>6</sup>: здесь имеются в виду «причины» не «искажения» вообще (которое, кроме того, и не является «искажением»), а определенного «искажения» (начальной инновации). В том же самом смысле мы не сможем узнать, кто царствовал в Китае в 753 г., если у нас нет источника, сообщающего нам об этом. Точно так же, зная вообще «причины» войн, мы без специальных исследований не сможем узнать причину Пелопонесской войны: универсальные и общие знания не могут заменить частной исторической документации. Все сказанное относится и к лингвистике, причем для сугубо частных фактов истории

---

<sup>4</sup> Хотя такие случаи относительно малочисленны, они тем не менее имеют большое значение. Ср. В. Migliorini, *The contribution of the individual to language*, Oxford, 1952.

<sup>5</sup> Однако принятия, совершенно аналогичные тем, которые образуют первичную форму языкового изменения, без труда наблюдаются в индивидуальной истории всякого ребенка, изучающего язык (и вообще при изучении языков). Точно так же в малом «языке» каждой семьи часто употребляются особые формы, «происхождение» которых хорошо известно членам семьи.

<sup>6</sup> См. CLG, стр. 143. Однако неверно, что здесь идет речь об «универсальном законе», гласящем, что «время изменяет все». Такой закон не существует. Время как таковое — это форма интуитивного восприятия реального, и само по себе оно не изменяет ничего.

языка документация оказывается гораздо более сложной и менее надежной, чем для прочих областей и фактов, а в большинстве случаев совсем отсутствует.

2.2.2. В самом деле, относительно исходного момента любого языкового изменения и природы начальных инноваций мы можем только выдвигать более или менее убедительные гипотезы. Так, для случая с формами номинатива множественного числа на *-as*, которые распространились в так называемой «вульгарной латыни», можно найти три различных решения (в порядке возрастания вероятности). Здесь возможны: а) оживление архаического элемента, то есть явление *селекции (отбора)*; б) унификация по форме с теми номинативами множественного числа, которые совпадают с аккузативами (*-es/-es, -us/-us*), то есть явление «аналогии» или, точнее, *системного образования*; в) распространение италийского грамматического элемента, т. е. *грамматическое заимствование*<sup>7</sup>. Относительно палатализации латинских велярных перед *e, i* мы можем сказать, что палатальные смогли возникнуть потому, что в латинской фонологической системе имелась свободная зона в палатальном ряду и что это изменение, как и многие другие, смогло распространиться и обобщиться вследствие упадка латинской культуры и последовавшего ослабления римской языковой нормы. Что же касается природы данной инновации или начальных инноваций, то и в этом случае можно предложить несколько решений. Так, можно предполагать физиологическое по характеру (комбинаторное) изменение, хотя это наименее вероятно. С другой стороны, наличие *ke, ki* в формах вокатива (*Magce*), в уменьшительных (*ocelli*) и в аффективных словах (*ciçago*) подсказывает возможность аффективного, или «экспрессивного», изменения. Наиболее вероятно, однако, влияние оскского языка<sup>8</sup>. И, поскольку невозможно установить, кто первый ввел инновацию, нельзя исключить и возможность того,

<sup>7</sup> В. Герола, *Il nominativo plurale in -ās nel latino e il plurale romanzo* в «*Symbolae Philologicae Götoburgenses*» (=Acta Universitatis Götoburgensis, LVI, 3), Göteborg, 1950, стр. 327—354.

<sup>8</sup> Ср. по этому поводу важную статью В. Пизани (V. P i s a n i, *Palatalizzazioni oscche e latine*, «*Archivio glottologico italiano*», XX XIX, стр. 112—119). Но пример *Aiutor < Adiutor* (стр. 115), фигурирующий также среди примеров А. Бюрге (цит. раб., стр. 23), представляется неподходящим: в нем мы имеем не *-dj-*, а *d-j* (со слогоразделом между *d* и *i*); поэтому форма *Aiutor* может объясняться просто выпадением *d*, которое в *ad* трактуется как конечное.

что в каждом из обоих случаев действуют две (или даже три) указанные «причины» — совместно, в одной и той же инновации, или отдельно, в различных, но материально аналогичных инновациях.

2.2.3. Однако, как уже указывалось (ср. III, 3.2.3), обычно непреодолимая трудность, с которой мы сталкиваемся, когда в каждом конкретном случае пытаемся установить, кто именно ввел инновацию и какова была начальная инновация, является трудностью эмпирической, а не теоретической (логической). В каждом отдельном случае нам обычно неизвестен конкретный исторический факт. Однако то, что мы можем выдвигать более или менее убедительные, а частично и документированные гипотезы, означает, что нам известны общие «причины» инноваций. В самом деле, было бы просто абсурдно формулировать исторические гипотезы (объясняющие индивидуальные факты и явления) относительно явлений, которые не имеют общего объяснения.

2.2.4. Разумеется, указанная эмпирическая невозможность не позволяет делать вывод, будто изменение могло начаться не в результате индивидуального творческого акта, а как-либо иначе. Идея об «анонимных, коллективных и безличных» творениях — это метафора некоторых романтиков, которую, к сожалению, часто истолковывают в буквальном смысле, в особенности представители поздних ответвлений романтической идеологии, в том числе позитивизма. Так, например, Ренан (который, однако, как филолог был довольно далек от физикалистского позитивизма) утверждал, что «самыми замечательными произведениями являются те, которые человечество создало коллективно», и что «гении — это только редакторы вдохновения толпы»<sup>9</sup>. Следует, однако, напомнить, что «романтик» Гегель (за которым, как полагал Ренан, он следовал в этом аспекте) отвергал упомянутую метафору, указывая (по поводу гомеровских поэм), что в собственном смысле слова творит только индивидуум, хотя он и может в качестве творца выразить то, что сам Гегель называл «духом всего народа»<sup>10</sup>. Речевая деятельность как человеческое творение не составляет в этом отношении никакого исключения. Все языковые инновации обязательно индивидуальны<sup>11</sup>, однако те инновации, которые принимаются и распространяются, соответствуют межиндивидуальным потребностям выражения. Верно, что языковое творчество чаще всего «анонимно», но оно не «безлично» и не «коллективно», точно так же как

<sup>9</sup> «L'avenir de la science. Pensées de 1848», Paris, стр. 194—195.

<sup>10</sup> «Vorlesungen über die Aesthetik», франц. перев. «Esthétique», III, 2, Paris, 1944, стр. 100—101.

<sup>11</sup> Поэтому вызывает удивление заглавие (но не содержание) книги Б. Мильорини, упомянутой в сноске 4: иных, неиндивидуальных «вкладов» в язык не существует.

'дети неизвестных отцов не являются, разумеется, детьми какого-то коллективного существа'<sup>12</sup>. Что же касается языка, то можно сказать, что он является «коллективным» творением, но только в том смысле, что многочисленные индивидуумы соединили в языке свои индивидуальные творения, а не в том смысле, будто некоторые инновации могут возникать с самого начала как «коллективные» или «общие».

3.1. Кроме того, с исторической точки зрения, хотя постулирование или определение характера первоначальных инноваций (искажение, заимствование, системное новообразование и т. д.) немаловажно в отдельных случаях<sup>13</sup>, само по себе оно еще не объясняет изменения. Историческая проблема изменений состоит не в том, чтобы установить, *как появился* (как мог появиться) определенный языковой элемент, а в том, чтобы выяснить, *как он сложился и как он мог сложиться* в качестве элемента традиции, то есть каким образом и в каких культурных и функциональных условиях он вошел и мог войти в систему уже традиционных элементов. В то время как инновация не объясняет изменения, объяснение изменения может пролить свет также и на характер и причины первоначальных инноваций.

3.2.1. Так, рассматривая случай оглушения кастильского [ʒ] (Золотой век), мы можем установить, что изменение это началось, по всей видимости, в зоне, смежной с баскским языком. Таким образом, первоначальные инновации объясняются в данном случае коммуникативной целью — стремлением говорить, *как другой* (ср. III, 2.3.3), то есть как баски, которые, говоря по-кастильски<sup>14</sup>, оглушали ʒ в силу фонологической *адаптации* (ср. III, 3. 2. 3). Однако

---

<sup>12</sup> L. Stefanini, Trattato di estetica, I, стр. 122.

<sup>13</sup> Например, при наличии целого ряда заимствований, что может указывать на сосуществование языковых систем и их широкое взаимодействие. Однако это происходит потому, что в определенных случаях указание на характер инновации требует *культурного объяснения* соответствующих изменений. Напротив, это не имеет места, когда инновация объясняется «искажением», «аналогией», «метатезой» и т. д., потому что в таких случаях объяснение носит абстрактный и общий, а не исторический характер; оно является чистой классификацией.

<sup>14</sup> В данном случае можно говорить о влиянии «адстрата». Однако представляется нецелесообразным говорить о действии «древнего кантабрийского субстрата». Скорее следует думать о романизированных басках более поздней эпохи, после XIII в. и в особенности после объединения Кастилии и Арагона и аннексии Наварры. Иначе не удастся объяснить, почему это изменение не произошло раньше.

изменение  $\check{z} > \int$  оказалось возможным в кастильском потому, что оно не встретило «сопротивления» системы. В самом деле, противопоставление  $\check{z}/\int$  несло незначительную функциональную нагрузку<sup>15</sup>; это означает, что во многих словах произношение с  $\check{z}$  или  $\int$  было вопросом «нормы» и оказывалось безразличным с «системной» (различительной) точки зрения. Поэтому коммуникативная цель совпала в данном случае со «слабой точкой» системы, и изменение смогло быть принято, поскольку оно практически не затрагивало функционирования самой системы и, кроме того, приводило к известной «экономии» в фонемном инвентаре языка<sup>16</sup>. Напротив, для изменения  $\int > x$  придется постулировать коммуникативную цель другого типа: *цель быть понятым собеседником*. И здесь следует подумать о языковых контактах с людьми, в говоре которых имелось апикальное, или предорсальное, s, т. е. (s), и для слуха которых кастильское апико-альвеолярное s, т. е. (š), казалось идентичным /s/. В самом деле известно, что в эпоху, когда фонемы /ž/ и /s/ (в графике g, j, x) были препалатальными, они часто смешивались со звонким и глухим s (ž, š). Это подтверждается такими многочисленными «ошибками» графики, как *quijo*, *vigitar*, *relisión*, *colesio* (вместо *quiso* «захотел», *visitar* «посещать», *religión* «религия», *colegio* «коллегия»), и тем, что даже в литературном языке закрепились такие первоначально «ошибочные» формы, как *cosecha* «урожай» и *tijera* «ножницы»<sup>17</sup>. Следовательно, здесь мы также обнаруживаем «слабую точку» системы, однако в смысле прямо противоположном предшествующему: мы имеем здесь расхождение между необходимостью различения и нормой реализации. Различие между /s/ и /s/ было фонологически важным (ср.

<sup>15</sup> Примеры типа *fijo* «сын»/fiho «закрепленный» малочисленны и имеют сомнительную конкретную ценность (ср. III, 4.2.2). В самом деле, в эту эпоху *fijo* уже превратилось в *hijo*, тогда как *fiho* сохранило f до настоящего времени (*fijo*).

<sup>16</sup> Относительно другого совпадения фонем, а именно фонем /ts/ и /dz/ (в графике: ç, z), А. Алонсо (A. Alonso, *De la pronunciación medieval a la moderna en español*, I, Madrid, 1955, стр. 388, 390) замечает, что у говорящих «исчезло желание различать» обе фонемы. В самом деле, именно такова была, очевидно, позиция говорящих. Однако эта позиция объясняется объективным фактом: малой функциональной полезностью данного противопоставления.

<sup>17</sup> A. Alonso, *Trueques de sibilantes en antiguo español*, «Nueva Revista de Filología Hispánica», I, 1947, стр. 1—12; R. Lapesa, *Historia de la lengua española*, Madrid, 1955, стр. 238.

justo «справедливый» — susto «страх», ojo «глаз» — oso «медведь», saja «ящик» — casa «дом», eje «ось» — ese «этот», jaca «лошадка» — saca «большой мешок», jaggo «кувшин» — saggo «осадок» и т. д.); поэтому было необходимо сохранить его и даже сделать его более очевидным для всех тех слушающих, которые воспринимали («слышали») кастильское s (š) как ʃ. Поэтому, чтобы š и ʃ различались лучше, /ʃ/ стали произносить как задний палатальный щелевой звук, нечто вроде [ç] в шведском sjö или немецком ich<sup>18</sup> и, наконец, как велярное /x/<sup>19</sup>; фонологически оно стало коррелятом фонем k и g<sup>20</sup>. Эти изменения произошли не только по системным причинам независимо от культурных причин. Они стали необходимыми и распространились именно в период Золотого века благодаря все более частым и все более глубоким контактам кастильцев с некастильцами, благодаря совместному участию кастильского, некастильского и кастилизированного населения в великих предприятиях этого века. Таким образом, указанные изменения явились отражением политической, а следовательно, культурной и языковой унификации и централизации.

3.2.2. Заметим мимоходом, что, даже если бы здесь не имела места неизбежная теоретическая необходимость<sup>21</sup>, изменения кастильского ʃ в x было бы достаточно для того, чтобы доказать, что лишь «субстанционалистская» фонология (которая одновременно рассматривает и систему и норму реализации) может правильно учесть действительность языка и его преобразования. В самом деле, с системной точки зрения неважно, чем является кастильское /s/ фонетически — [š] или [s]. Однако только тот факт, что оно звучит

<sup>18</sup> Именно так следует толковать указание английского грамматиста Л. Оуэна (1605), процитированное у А. Алонсо («De la pronunciación», стр. 404), на то, что кастильское x произносится «больше в горле», чем английское sh. Если бы x по-прежнему оставалось [ʃ], то Оуэн не заметил бы никакого различия; а если бы оно уже стало [x], то он бы не смог сопоставить его с английским sh.

<sup>19</sup> Для звуковых изменений не обязательно — и вообще нецелесообразно (ср. 1.3.3) — постулировать много промежуточных этапов. В данном случае достаточно одного: ʃ—ç—x. В самом деле, [ç] может фонологически соответствовать как /ʃ/, так и /x/: известно, что sh в немецком ich интерпретируется («воспринимается») одними иностранцами как ʃ, а другими — как x.

<sup>20</sup> Этому могло содействовать существование таких лексических пар, как mago «маг» — magia «магия», teólogo «теолог» — teología «теология»; в действительности ʃ (в той мере, в какой оно входит к g) вернулось к старой корреляции.

<sup>21</sup> Однако см. «Forma y sustancia», особенно стр. 41 и сл., а также настоящую работу, VII, 2.3.

именно как [š], а не как [s], объясняет возможность его смещения с /ʃ/ и возникшую необходимость изменить реализацию этой последней фонемы так, чтобы она превратилась в [x].

4.1. Сказанное в предыдущих параграфах — особенно в 2.2 — не означает, будто «изменение» следует обязательно объяснять иначе, нежели «инновацию». Различать *инновацию* и *изменение* методологически необходимо в случае объяснений, основанных на физиологии (поскольку физиологическое может быть мотивом «инновации», но не может быть мотивом «изменения»), и вообще в тех случаях, когда объясняется только *возможность* изменения (как для вульгарнолатинских палатальных); однако различие между инновацией и изменением может лишь подразумеваться при тех функциональных объяснениях, которые устанавливают *необходимость* изменения (как в случае каст. ʃ > x). В этих последних случаях объяснение изменения совпадает с объяснением исходных инноваций, то есть последовательные «принятия», составившие «изменения», оказываются обусловленными той же необходимостью, которая определила первоначальную инновацию или инновации. Говоря конкретно, «принимающие инновацию» носители языка признали принимаемый языковой элемент соответствующим той же самой потребности выражения, которая оказалась решающей причиной для «вводящих инновацию» носителей. Этот постулат сохраняет свою силу, даже если допустить, что первая инновация могла быть случайной или что у многих говорящих принятие было подсказано внешними причинами: простой адаптацией (приспосабливанием) к способу говорения других. В самом деле, допустить первое означает лишь утверждать, что истинной творческой инновацией было то принятие, которое превратило случайную форму в новый языковой элемент, предназначенный для определенной цели выражения; уже указывалось, что изменение «в языке» начинается, собственно говоря, не инновацией, а принятием (ср. III, 3. 2. 1). Когда мы принимаем второе, то здесь действительно идет речь о чем-то таком, что должно подразумеваться для любого языкового изменения и что несколько не подрывает объяснений, основанных на критерии функциональной необходимости. Функциональное объяснение утверждает лишь, что новый языковой элемент *существует* как факт языка потому, что некоторые или многие говорящие сочли его удобным для определенной цели выражения.

Однако оно не может исключить того, что в *обобщении* рассматриваемого элемента участвуют также факторы языковой унификации, т. е. «внешние» факторы культуры. Наконец, в объяснениях этого типа в отличие от других случаев (ср. 2.2.2) гипотезы о первоначальных инновациях взаимно исключают друг друга, поскольку они направлены на объяснение инноваций, зависящих от изменений, а не наоборот.

4.2.1. Все это можно проиллюстрировать примером перифрастического будущего в вульгарной латыни и романских языках. Тот же самый пример послужит нам для пояснения различия между универсальными и историческими объяснениями.

4.2.2. Как известно, романскому будущему или, точнее, замещению «синтетического» латинского будущего перифрастическими формами давалось два типичных объяснения<sup>22</sup>. В обоих случаях это «функциональные» объяснения, хотя они различаются по смыслу и по кругу объясняемых явлений<sup>23</sup>.

В соответствии с первым объяснением, которое можно назвать «морфологическим», классическое будущее было замещено перифрастическими формами ввиду неоднородности и материальных «дефектов» синтетических форм; эти дефекты стали особенно неудобными после определенных звуковых изменений, происшедших в вульгарной латыни и породивших случаи опасной омонимии между *amabit* «он полюбит» и *amavit* «он полюбил», *dices* «ты скажешь» и *dicis* «ты говоришь», *dicet* «он скажет» и *dicit* «он говорит» и т. д. (ср. IV, 4.5.5. и IV, сн. 30). Другими словами, перифрастические формы были приняты для выполнения той самой функции, которую уже не могли удовлетворительно выполнять синтетические формы, причем какие-либо новые потребности выражения здесь роли не играли: определяющим фактором явилась просто *необходимость различения*<sup>24</sup>.

Согласно второму объяснению, которое можно назвать «стилистическим» или «семантическим», перифрастическое будущее утвердилось благодаря специфическому состоянию психики, которое было противоположно чисто «временной» идее будущего и, наоборот, бла-

---

<sup>22</sup> Основная библиография по данной теме собрана у V. B e r t o l d i, *La parola quale mezzo d'espressione*, стр. 259—261, примечания и S. d a S i l v a N e t o, *História da língua portuguesa* (6), Rio de Janeiro, 1954, стр. 255. Нижеследующие строки основываются на материале статьи «Sobre el futuro romance», опубликованной в «Revista Brasileira de Filologia», III, 1.

<sup>23</sup> Вряд ли можно считать «объяснением» плохо обоснованную идею А. Доза (A. D a u z a t, *Phonétique et grammaire historiques de la langue française*, Paris, 1950, стр. 144), будто на перестройке латинского будущего сказалось германское влияние.

<sup>24</sup> Или с точки зрения целенаправленности — *коммуникативная целенаправленность*. В самом деле, материальные различия необходимы, особенно «для слушающего»: говорящий знает, произнося данную форму, что он имеет в виду — будущее или прошедшее.

гоприятствовало другим — модальным и временным — значениям: определяющим фактором явилась *потребность выражения*, для которой синтетическое будущее классической латыни оказалось неадекватным не столько в силу своих формальных дефектов, сколько в силу своего семантического содержания. Это второе объяснение обычно приписывается (а иногда вменяется в вину) Фосслеру. Однако в действительности оно было выдвинуто или поддерживалось многими другими учеными до и после Фосслера, хотя с более или менее заметными различиями. Еще Мейер-Любке указывал, что «в романских языках латинское будущее было полностью забыто, и не столько по формальным причинам... сколько потому, что народный способ мышления соотносит будущее действие с настоящим моментом или, точнее, рассматривает его как нечто желанное или нечто должное; поэтому и говорится *volo, debeo, habeo cantare*»<sup>25</sup>. То же объяснение, но расширенное и основанное на различии «интеллектуального» и «аффективного», отстаивал Ш. Балли<sup>26</sup> и в наиболее существенных чертах принимал Л. Шпитцер<sup>27</sup>. Еще до Фосслера Е. Лерх интерпретировал романское будущее как «выражение морального должностования»<sup>28</sup>. После Фосслера явно «стилистическое» объяснение романского будущего дал А. Мейе<sup>29</sup>. Верно, однако, что среди

---

<sup>25</sup> «Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft», испанский перевод со второго немецкого издания «Introducción al estudio de la lingüística romance», Madrid, 1914, стр. 217.

<sup>26</sup> «Le langage et la vie» — в книге с тем же названием, испанский перевод «El lenguaje y la vida»<sup>2</sup>, B. Aires, 1947, стр. 66: «В момент своего появления форма с *habeo* никоим образом не предназначалась для того, чтобы сделать более ясной идею будущего времени. Эта форма применялась для того, чтобы порвать с чисто интеллектуальным подходом к времени и выразить субъективный элемент, который сойдет в идею будущего (долженствование, обязанность, необходимость)»; стр. 67: «Перифрастические формы будущего времени объясняются субъективным восприятием будущего, которое мы воображаем себе прежде всего как отрезок времени, отведенный для наших желаний, наших опасений, наших решений и наших обязанностей». Первое французское издание статьи Балли было опубликовано в 1913 г.

<sup>27</sup> «Über das Futurum *cantare habeo*», 1916. Воспроизведено в «Aufsätze zur romanischen Syntax und Stilistik», Halle, 1918, стр. 173—180 (особенно стр. 176—179).

<sup>28</sup> «Die Verwendung des romanischen Futurums als Ausdruck eines sittlichen Sollens», Leipzig, 1919.

<sup>29</sup> «Esquisse d'une histoire de la langue latine», 1928, 5 изд., Paris, 1948, стр. 262—263: «Процесс в прошедшем — это факт, о котором говорят объективно; процесса в будущем ждут, на него надеются или его опасаются; невозможно говорить о будущем, не внося в свою речь определенного оттенка аффективности... Будущее классического латинского, формы которого были часто двусмысленны и которое всегда было недостаточно экспрессивно в народном языке, вышло из употребления. Оно было замещено оборотами, существовавшими еще с эпохи классической латыни, со смысловыми оттенками, определяемыми компонентами этих оборотов: *facere habeo, facere uolō* и т. д.»

всех семантико-стилистических объяснений объяснение Фосслера<sup>30</sup> наиболее последовательно и решительно; кроме того, это единственное объяснение, которое не ограничивается указанием на 'недостаточную выразительность' латинского будущего, а прямо утверждает, что в так называемой вульгарной латыни «временное представление о будущем было ослаблено и исчезло». В самом деле, говорит Фосслер, будущее время 'никогда не бывает обычным для простого народа. В народном языке с идеей будущего обращаются небрежно и она так или иначе затемняется; отношение среднего человека к будущим явлениям характеризуется скорее волеизъявлением, желанием, надеждой или опасением, чем созерцанием, изучением, познанием. Необходимо постоянно бодрствующее сознание, философский склад ума и определенные навыки мышления, чтобы не позволить временной идее будущего раствориться в модальных сферах опасения, надежды, желания и неуверенности'. Данные условия, по мнению Фосслера, отсутствовали в широких массах романского населения. Таким образом, 'когда вульгарнолатинское понятие будущего сильно сдвинулось в сторону различных модальных значений, старые синтетические формы оказались излишними, поскольку для этих значений существовали более подходящие средства выражения'<sup>31</sup>, которые позже частично «грамматикализировались» как новые формы будущего, что произошло с конструкцией инфинитив + *habere* в большинстве романских языков, с конструкцией инфинитив + *debere* в сардинском и с конструкцией инфинитив + *velle* (вульг.-лат. *volere*) в румынском.

4.2.3. На первый взгляд оба объяснения — морфологическое и семантико-стилистическое — представляются одинаково убедитель-

<sup>30</sup> Сформулированное в «*Neue Denkformen im Vulgärlatein*» (этот очерк был опубликован сначала в «*Hauptfragen der Romanistik. Festschrift für Philipp August Becker*», Heidelberg, 1922, стр. 170—191, а затем включен Фосслером в его книгу «*Geist und Kultur in der Sprache*», Heidelberg, 1925, стр. 56—83) объяснение романского будущего содержится в «*Hauptfragen*» на стр. 178—179 и «*Geist und Kultur*» на стр. 67—68. Кроме того, это же объяснение было воспроизведено Г. Шмекком в его издании книги Фосслера «*Einführung ins Vulgärlatein*», München, 1953, стр. 115—117.

<sup>31</sup> Наш перевод не совсем точен. Подлинный текст гласит: «*Aber der ganze Zeitbegriff des Futurums war schwach und ging in die Brüche. Er ist dem niederen Volk wohl kaum in einer Sprache sonderlich geläufig. Wie der Prophet im eigenen Lande, so wird in der Volkssprache der Zukunftsbegriff zumeist vernachlässigt oder irgendwie misshandelt und getrübt. Denn immer steht der gemeine Mann den kommenden Dingen eher wollend, wünschend, hoffend und fürchtend als rein beschaulich, erkennend oder gar wissend gegenüber... Es bedarf einer fortwährenden Selbstbesinnung und Hemmung, kurz einer philosophischen Gemütsart und Denkgewohnheit, wenn der temporale Zukunftsblick nicht abirren soll in die modalen Bereiche der Furcht und Hoffnung, des Wunsches und der Unsicherheit... Nachdem nun die vulgärlateinische Futurbedeutung so stark in die praktische und gefühlsmässige Richtung des Sollens, Wollens, Wünschens, Heischens, Fürchtens usw. abgebogen war, wurden die alten Flexionsformen entbehrlich. Denn um die neue Meinung auszudrücken, gab es mehrere andere, frischere und stärkere Mittel» («*Hauptfragen*», стр. 179).*

ными и даже могут рассматриваться как взаимодополняющие, поскольку они объясняют не совсем «одно и то же»: первое должно мотивировать замену *форм* будущего времени как таковых, а второе должно вскрыть новое *смысловое содержание* вульгарнолатинских *форм*. Однако при ближайшем рассмотрении оба объяснения оказываются недостаточными и уязвимыми.

4.2.4. Рассмотрен сначала семантико-стилистическое объяснение в формулировке Фосслера. Против этого объяснения А. Пальяро выдвигает фундаментальное возражение: не следует предполагать «исчезновение» временной категории будущего, «так как вновь оформившаяся морфологически категория — это именно категория будущего, а не какая-либо иная»<sup>32</sup>. В самом деле, вряд ли можно говорить об ослаблении *категории* будущего, поскольку в определенном смысле категория как таковая сохранилась; изменилась только ее *форма* выражения и ее *семантическая направленность*. Более того, перестройка материальной формы латинского будущего вовсе не говорит о слабости этой категории; наоборот, эта перестройка доказывает, что говорящие были заинтересованы в сохранении данной категории. В языке то, что действительно «ослаблено», вообще не перестраивается, а утрачивается. Функционально слабыми были *синтетические формы* классического будущего, и они действительно исчезли. Правда, можно утверждать вслед за Фосслером, что вначале перифрастические формы не были формами собственно будущего и что лишь позже они «грамматикализировались» как таковые. Однако, если они не были формами будущего, то как объяснить, что они стали таковыми? Какое отношение могло установиться между этими формами и временной идеей, которой они не соответствовали? Другими словами, как объяснить их «грамматикализацию» именно в роли форм для такой категории, которая считается «исчезнувшей»<sup>33</sup>? Ведь когда мы говорим об этих формах в связи с классическим будущим, мы имплицитно допускаем тем самым функциональную преемственность между *amabo* и *amare habeo*<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> «Logica e grammatica», стр. 20, сн. 1. Точка зрения Пальяро выглядит еще более радикальной: она исключает возможность говорить о новом мыслительном подходе к временной категории будущего. Однако, должно быть, форма выражения не вполне точно соответствует мыслям автора: в той же самой сноске, когда речь идет об идее необходимости, присущей вульгарнолатинскому перифрастическому будущему, проблема нового мыслительного подхода признается законной.

<sup>33</sup> Кроме того, «грамматикализация» — это неподходящий термин (связанный с ошибкой, которую допускают Фосслер, Балли и другие ученые), поскольку все языковые элементы являются «грамматическими», когда их рассматривают с точки зрения грамматики. Действительное противопоставление имеет место между грамматической и стилистической точками зрения, а не между «грамматическими» и «стилистическими» элементами.

<sup>34</sup> А. Пальяро («Logica e grammatica», стр. 19—20) справедливо отмечает, что с точки зрения категории нет перерыва преемственности между синтетическим и перифрастическим будущим. Ж. Маттозу Камара («Uma forma verbal», стр. 33) также считает эволюцию латинского будущего скорее «формальным (морфическим)

К этому первому возражению можно добавить несколько других. Так, возникает вопрос, разумно ли приписывать «постоянно бодрствующее сознание» и «особый философский склад ума» римлянам, которые в течение веков сохраняли синтетические формы, а вместе с ними и «временное» представление о будущем. Ведь несомненно, что в определенную эпоху синтетические формы были вполне «народными»; более того, они возникли в среде тех самых простых людей, которые, по определению, неспособны сохранять такое представление: так называемое «классическое» будущее не является, безусловно, ученым образованием. Далее, с формальной точки зрения объяснение Фосслера представляет собой порочный круг: его *peue Denkform* (новый мыслительный подход) не столько объясняет эволюцию латинского будущего, сколько *выводится* из этого изменения. Для существования дела это не так важно (поскольку речь идет не о доказательстве, а об интуитивном представлении), однако с точки зрения формальной строгости было бы лучше найти другие, по возможности внятные признаки нового мыслительного подхода, который рассматривается как определяющий фактор изменения. Если же такие признаки отсутствуют, то *peue Denkform* отождествляется с значением новых форм и объяснение романского будущего сводится к простой констатации его первичного значения. Утверждение, будто указанный мыслительный процесс универсален, также не может быть принято. С одной стороны, это противоречит тому, что *peue Denkform* считается характерным именно для вульгарной латыни, а, с другой стороны, развитие латинского будущего как исторический факт должно объясняться историческими, а не универсальными соображениями. Последнее возражение относится ко всем семантико-стилистическим объяснениям романского будущего, которые не историчны именно потому, что они универсальны.

4.2.5. Напротив, различительная недостаточность форм классического будущего — это документированный исторический факт. Именно поэтому Пальяро склоняется к морфологическому объяснению, хотя он и не считает его исчерпывающим<sup>85</sup>; так, он отмечает:

---

изменением», нежели «изменением в значении категорий». Он пишет о романском будущем: «Условия его употребления в точности аналогичны условиям употребления классического латинского будущего, чье место оно заняло». В известном смысле это утверждение справедливо; однако оно не может быть принято безоговорочно. С одной стороны, аналогичное употребление не гарантирует полную категориальную идентичность: семантическая значимость может быть удовлетворительно определена только в связи со всей системой смысловых элементов данного языка (что легко доказать, сравнив употребление глагольных форм в двух различных системах — во временной и в видовой). С этой точки зрения *amare habeo* имеет особый оттенок, которого нет у *amabo*. С другой стороны, конструкция *amare habeo* заменила не только форму *amabo*, но и такие конструкции, как *mihi amandum est* и *amaturus sum*, исчезнувшие по другим причинам.

<sup>85</sup> Вполне достаточным считает морфологическое объяснение В. фон Вартбург («*Problemas y métodos*», стр. 163): «Фонетические изменения явились также причиной того, что латинское будущее было заменено в романских языках синтаксической группой слов,

хотя несомненно, что перифрастической форме присуще значение необходимости или целесообразности', «с точки зрения форм мысли вопрос следует ставить так: почему в вульгарной латыни понятие будущего принимает аспект необходимости, в частности — необходимости морального порядка»<sup>96</sup>.

Если же отвечать именно на этот вопрос, то морфологическое объяснение оказывается явно неудовлетворительным: оно может объяснить лишь необходимость замещения синтетического будущего, но не замещение некими определенными формами, а не другими<sup>97</sup>. Или, другими словами: если верно, что вульгарнолатинские перифрастические формы вытеснили синтетическое будущее классиче-

---

которая с течением времени снова стала простой формулой». Ту же позицию занимает Б. Е. Видос (B. E. V i d o s, Handboek, стр. 185); ниже, на стр. 192, он называет объяснение Фосслера результатом методологической ошибки. Эта ошибка состоит, по его мнению, в том, что Фосслер обращает слишком мало внимания на «языковые» факты (под «языковыми», очевидно, понимаются *материальные факты*). Однако в действительности Фосслер как раз обращает внимание на «языковые факты» (его даже можно упрекнуть в том, что он считает объяснение «фактов» имманентным по отношению к самим фактам; ср. 4.2.4); но он рассматривает факты лишь со стороны их *семантической значимости*. Обращать внимание на материальную сторону еще не означает само по себе, как это часто полагают, обращать внимание «на факты»: наоборот, во многих случаях это означает остаться вне фактов, играющих важнейшую роль. В подкрепление своей позиции Видос оба раза цитирует Пальяро, не упоминая об оговорках, которые делает этот последний (ср. сн. 32). С другой стороны, К. Гренджент (C. H. G r e n d g e n t, *Introducción*, стр. 99) сомневается в достаточности морфологического объяснения. Указывая на материальную недостаточность синтетического будущего и на то, что «форма на *vo...* была исконной только в Риме и в непосредственно соседящих с ним областях», он испытывал, однако, потребность говорить и о «других возможных причинах». Морфологическое объяснение было бы достаточным, если бы оно могло объяснить также и новые вульгарнолатинские формы или если бы эти последние выполняли в точности ту же функцию, что и вытесненные ими формы (как в случае, о котором пишут и Пальяро и Видос), когда слово *bigeu*, вытеснившее слово *gat*, имеет значение, объективно (но не субъективно) аналогичное значению слова *gat*. Однако с эволюцией латинского будущего дело обстоит не так. Латинское будущее действительно «возродилось» как категория, но не в том же самом значении: перифрастическое будущее вульгарной латыни — это *то же* будущее, что и синтетическое будущее классической латыни, но в то же время это *другое* будущее.

<sup>96</sup> «Logica e grammatica», цит. сноска.

<sup>97</sup> Заметим, что вообще для любого изменения, которое является не просто *исчезновением* или *возникновением* языкового элемента, а *замещением* одного элемента посредством другого, приходится объяснять две вещи: почему устраняется старый элемент и почему он замещается именно данным новым элементом, а не каким-нибудь другим.

ской латыни и что в определенном смысле категория будущего существовала непрерывно, верно также и то, что сама эта категория имеет в так называемой вульгарной латыни новую направленность и что этот факт нельзя объяснить морфологически: между синтетическим и перифрастическим будущим существует функциональная *преemptивность* и в то же время функциональное *расхождение*; всякое объяснение, сосредоточенное только на преemptивности, не объясняет расхождения (ср. сн. 35). Фосслер же пытается объяснить как раз функциональное расхождение между обоими латинскими будущими. В то же время он не забывает о материальной недостаточности синтетического будущего. Напротив, он в явной форме указывает некоторые случаи этой недостаточности (разнородность парадигм, совпадение по звучанию между *amabit* и *amavit*, *atabunt* и *atabant*, между *leges*, *leget* и формами настоящей времени конъюнктива первого спряжения). Однако Фосслер не считает материальную недостаточность определяющим фактором, так как справедливо полагает, что эта недостаточность — если бы требовалось сохранить *будущее*, *то же самое* с семантической точки зрения, — могла бы быть преодолена каким-нибудь иным образом, например посредством простых аналогических образований<sup>38</sup>.

Можно, разумеется, утверждать, что перифрастические формы были замещены перифразами с *habeo*, *volo* и т. д. по той простой причине, что эти перифразы находились в распоряжении говорящих, т. е. что суть дела в простом «выборе» между формальными элементами, уже существовавшими в самой классической латыни<sup>39</sup>. Это утверждение справедливо; однако помимо того, что оно тавтологично<sup>40</sup>, оно объясняет, как произошло изменение, а не почему оно произошло и почему оно произошло именно так<sup>41</sup>: причина, основание изменения — это уже указанная необходимость различия.

---

<sup>38</sup> «Hauptfragen», стр. 178—179. Ср. также работу Бертольди (V. Bertoldi, *La parola quale mezzo d'espressione*, стр. 260—261), который говорит о материальной недостаточности классического будущего только как о «сопутствующем факторе» и затем принимает объяснение Фосслера, объединяя его с объяснением Мейе.

<sup>39</sup> На этой точке зрения и стоит Б. Е. Видос (B. E. Vidos, *Handboek*, цит. стр.).

<sup>40</sup> Вообще, сказать, что изменение произошло в результате «выбора», означает лишь классифицировать это изменение, но не объяснить его. А в нашем конкретном случае это означает вновь констатировать то, что уже известно и никем не отрицается, то есть то, что одни латинские формы были замещены другими формами, также принадлежащими к латинской норме, а не заимствованиями или, например, образованиями *ad hoc*.

<sup>41</sup> Если только не считать, что синтетические формы были замещены перифрастическими (с иным значением) из-за отсутствия других, более подходящих форм, то есть из-за чисто интеллектуальной лености говорящих. По всей видимости, так считает В. фон Вартбург (W. von Wartburg, *Problemas*, стр. 163): «Когда употребление форм старого будущего начало приводить к двусмысленностям, то во избежание опасности неправильного понимания высказываний было оказано предпочтение модальной неточности».

Однако этой причине, которую при всех оговорках еще можно было бы допустить для конкретного случая латинского языка (см. сн. 41), противоречит существенный факт: перифрастическое будущее с модальной или видовой направленностью не является исключительной особенностью вульгарной латыни. Во многих других языках категория будущего выражается посредством перифраз более или менее позднего образования с явно модальными значениями юссива или ингрессива<sup>43</sup>. Более того: сами классические латинские формы имели модальные и ингрессивные значения, до того как они стали чисто «временными»<sup>43</sup>.

Во многих языках, в том числе в романских, сами перифрастические формы, все равно, слились они в одно слово или нет, но, во всяком случае, ставшие «временными», часто вновь «замещаются» формами настоящего времени или мовыми модальными перифразами, юссивными или ингрессивными, такими, как исп. *he de hacer*, *voy a ir*, франц. *j'ai à faire*, *je'vais faire*, шведск. *jag kommer att göra* и т. д.<sup>44</sup> Поэтому вряд ли разумно утверждать, что все эти замены, осуществляющиеся в одном и том же направлении, объясняются формальной недостаточностью, то есть чистой потребностью различения, поскольку в большинстве случаев этой недостаточности явно не существует. А если признать это, то нет основания предполагать, будто латинский язык представляет собой единственное исключение, или приписывать модальное и видовое значение вульгарнолатинского будущего простой случайности. Таким образом, приходится вернуться к «семантико-стилистическому» объяснению — не для того, чтобы безоговорочно принять его, а для того, чтобы пересмотреть и уточнить.

4.2.6. Прежде всего необходимо заметить, что нам предстоит объяснить три факта: а) общую неустойчивость *форм* будущего времени (но не *категории* будущего); б) периодическое замещение форм будущего формами, которые имеют по происхождению модальное или видовое значение и которые в свою очередь становятся «временными»; в) замещение одних форм латинского будущего в определенный исторический момент другими.

Первые два факта нуждаются в объяснении «универсального» характера, так как они присущи не только одному языку или *одному* конкретному историческому моменту. По этому поводу А. Пальяро пишет, что «слабость категории будущего объясняется главным

---

<sup>43</sup> Перифрастическое будущее, аналогичное вульгарнолатинскому и романскому будущему, встречается в различных германских языках, в современном греческом, болгарском, албанском, сербохорватском, персидском и т. д. В большинстве случаев оно строится с «вспомогательными глаголами», соответствующими глаголу *velle* (или, реже, *debere*). Ср. L. Spitz er, цит. статья, стр. 176—177; K. Sandfeld, *Linguistique balkanique. Problèmes et résultats*, Paris, 1930, стр. 181; L. H. Gray, *Foundations of language*, N. York, 1939, стр. 20—21.

<sup>44</sup> Ср. L. Spitz er, цит. статья, стр. 177; A. Meillet, *Esquisse*, стр. 262; L. H. Gray, *Foundations*, стр. 20.

<sup>45</sup> Ch. Bailey, *El lenguaje y la vida*, стр. 67; L. Spitz er, цит. статья, стр. 176; A. Meillet, *Esquisse*, стр. 262. См. также сноску А. Алонсо в книге W. von Wartburg, *Problemas*, стр. 165.

образом тем, что с ней пересекаются модальные категории оптимизма и потенциалитета<sup>45</sup>.

Но это, собственно говоря, не «слабость», а просто особенность будущего времени; кроме того, «слабостью» можно было бы объяснить замещение форм будущего модальными формами, но не превращение последних снова во «временные». Постоянное замещение одних форм будущего другими формами нельзя объяснить и так называемой «недостаточной выразительностью», ибо как раз эту «недостаточную выразительность» и требуется объяснить. Когда утверждается, что одни формы будущего заменяются другими формами, потому что они «грамматикализуются», то этим ничего не объясняется: это в лучшем случае (ср. сн. 33) чистая констатация факта, посредством которой невозможно учесть обычное направление эволюции форм будущего. Точно так же мало что объясняет утверждение, будто смена форм будущего обусловлена противопоставлением речи «образованных» и «народной» речи: нет никаких оснований предполагать, что «народная» речь (понимаемая обобщенно как речь менее образованных групп языкового коллектива) более склонна к модальным и видовым значениям, чем «ненародная». Если же понимать «народную речь» как любой тип речи (или любой момент речевой деятельности), отмеченный явной экспрессивной окраской, то данное объяснение эквивалентно простому утверждению о том, что смена форм будущего (как «инновация») осуществляется в тех типах речи и в те моменты речевой деятельности, которые особенно «располагают к инновациям». Кроме того, совершенно незачем прибегать к этим понятиям, если речь идет не о том, чтобы устранить, где началось явление и каково направление его распространения, а лишь о том, чтобы выяснить его универсальную причину; обращение к указанным понятиям позволяет только перевести проблему из одной плоскости в другую. В самом деле, с универсальной точки зрения противопоставление, которое имеется в виду, осуществляется не между различными типами речи, а принадлежит к самой категории будущего. Повсеместно наблюдается двойственность этой категории; будущее колеблется между двумя полюсами: между полюсом, который обычно обозначают как «чисто временной», и «модальным» полюсом (которому соответствуют также видовые формы). «Временные» формы вытесняются «модальными», а эти последние в свою очередь становятся «временными».

Это понимал еще Л. Шпитцер, ученый, который, по нашему мнению, наиболее глубоко проник в универсальную проблему будущего, хотя ему и не удалось прийти к полностью удовлетворительному решению. Шпитцер тонко подметил, что необходимо объяснить как появление «модальных» форм, так и их «превращение во временные», что равным образом относится к эволюции будущего времени. Объяснению подлежит следующий факт: «Похоже, что в человеческом языке вообще является принципом периодически наступающее разрушение и последующее восстановление форм будущего времени»<sup>46</sup>. По мнению Шпитцера, это объясняется «вечной пропастью» (Zwiespalt) между логическим и аффективным<sup>47</sup>: с одной

<sup>45</sup> «Logica e grammatica», цит. прим.

<sup>46</sup> Цит. статья, стр. 176.

<sup>47</sup> Там же, стр. 177—178.

стороны, говорящий занимает по отношению к будущему субъективную позицию и выражает категорию будущего посредством «модальных» форм, потому что этого требует аффективное; с другой стороны, эти формы «грамматикализуются» и становятся «временными», потому что этого требует логика<sup>48</sup>. Однако различие между «аффективными» и «логическими» формами в языке недопустимо, как недопустимо любое противопоставление «интеллектуального» и «аффективного» (или, еще хуже, «экспрессивного»), которое пытаются установить в плане «языка» или языковых элементов как таковых<sup>49</sup>. «Модальное» будущее ничуть не более аффективно или экспрессивно, чем «чисто временное» будущее, а это последнее ничуть не более «логично», чем «модальное» будущее: оба будущих имеют просто-напросто различные значения как с точки зрения аффективной, так и с точки зрения, которую любят называть «логической». Различие между «аффективным» и «логическим» в языке может быть понято только как различие между *субъективным значением* (проявлением позиции говорящего) и *объективным значением* (означаемым «положением вещей»). Однако здесь имеются в виду общие семантические категории конкретной речи, а не исключительные атрибуты той или иной языковой формы, которая не предполагала бы определенной позиции говорящего и объективной соотнесенности одновременно<sup>50</sup>. Двойственность будущего времени явно предпо-

---

<sup>48</sup> Там же, стр. 179: «Человек даже не в состоянии рассматривать будущее, т. е. нечто отвлеченное от сферы его волеизъявления, объективно, без аффективной примеси. И этот аффективный «привесок» грамматикализуется, становится выражением времени. Почему? Потому что этого требует логика!»

<sup>49</sup> Попытка установить указанное противопоставление является основным недостатком лингвистической концепции Балли: выразительность (экспрессивность) форм измеряется в соответствии с конкретной целью выражения, и нет основания утверждать, что языковой элемент, выражающий адекватным образом безразличие или уверенность, «менее выразителен», чем другой, выражающий — также адекватным образом — желание, страх, неуверенность и т. д. Этот же недостаток присущ так называемой «стилистике языка», которая тщетно пытается отграничить в плоскости абстрактного языка (см. сн. 33) свой объект от объекта грамматики. В сфере «языка» не существует «стилистической» («выразительной», или «экспрессивной») области: с точки зрения «выразительности» все языковые элементы имеют «выразительную значимость», а с точки зрения, которую ошибочно называют «логической», все эти элементы имеют «логическую значимость». «Критика чистого разума», «Феноменология духа» удалась в литературном отношении потому, что их форма выражения соответствует, даже и в «субъективном» смысле, поставленной в них цели выражения. Эти произведения оказались бы неудачными, если бы они были написаны, например, в стиле детектива. С другой стороны, история философии, написанная Б. Расселом, раздражает читателя, помимо других, более серьезных недостатков, своим разговорно-газетным стилем.

<sup>50</sup> В языке «аффективное» и так называемое «логическое» могут изучаться отдельно, ибо они являются независимыми переменными (ср. II, 2.4), но они *не существуют* отдельно.

лагает две разные цели выражения (как субъективную, так и объективную), но она не имеет ничего общего с большей или меньшей степенью выразительности или «логичности» (ср. сн. 49). С другой точки зрения можно было бы утверждать, что «более логическим» является как раз модальное будущее: в самом деле, позиция «познания» (Erkennen) по отношению к будущему (т. е. по отношению к тому, чего еще нет) отнюдь не «логична», как полагает Шпитцер, и не является проявлением «философского склада ума», как считал Фосслер, а представляется абсурдной с логической точки зрения, поскольку будущее как таковое не может быть материалом познания.

4.2.7. К обоснованному объяснению двойственности будущего времени следует идти другим путем. Нужно исходить из экзистенциального «соприсутствия» моментов времени (на что было обращено внимание прежде всего великим итальянским мыслителем П. Карабеллезе<sup>51</sup> и М. Хейдеггером<sup>52</sup>), т. е. из различия между внутренне «прожитым» временем, «соприсутствующим» в своих трех измерениях, и временем, мыслимым как внешняя последовательность, «распространенным» или «рассеянным» в неодновременных моментах. Карабеллезе подчеркивает, что в конкретном будущем представлено не «после» настоящего, а прошедшее — не «перед» настоящим; все это — «соприсутствующие» моменты, которые соответствуют различным аспектам деятельности сознания: прошедшее соответствует «познанию», настоящее — «чувствованию», а будущее — «хотению» (можно было бы еще добавить, что будущее — это момент для «мочь» и для «быть должны») <sup>53</sup>. Следовательно, конкретно переживаемое будущее — это обязательно «модальное» время, и дело вовсе не в том, что к нему «примешиваются» модальные оттенки. Далее, следует иметь в виду, что среди трех моментов времени именно будущее является временем, свойственным существованию<sup>54</sup>. Существование человечества — это постоянное *предвосхищение* будущего, это перенесение будущего в настоящее в виде намерений, обязанностей, возможностей, и такое предвосхищение выражается в языке модальными формами, юссивом и ингрессивом. С другой стороны, присутствие трех моментов времени есть не просто «факт», т. е. «нечто осуществленное», а «нечто осуществляемое», поскольку само существование человека манифестируется как *осуществление*, т. е. как деятельность. Чтобы будущее могло постоянно «предвосхищаться», становиться «соприсутствующим» с двумя остальными моментами времени, нужно, чтобы оно отдалялось и проецировалось

<sup>51</sup> «Critica del concreto», Firenze, 1948, стр. 26—31.

<sup>52</sup> «El ser y el tiempo», § 65, особенно стр. 376—377.

<sup>53</sup> Цит. раб., стр. 26: «Конкретное состоит из познанного «было», из чувствуемого «есть», из желаемого «будет», потому что бытие и сознание всегда вместе, даже в различных аспектах их деятельности» — и стр. 31: «Как познающие, мы были.; как чувствующие мы суть.; как желающие, мы будем... Мы были, мы суть и мы будем в неделимой длительности бытия («мы суть» — не после «мы были», «а мы будем» — не после «мы суть»)).» Формулировка Хейдеггера гораздо сложнее, однако по интересующему нас вопросу она существенно не отличается от данной.

<sup>54</sup> M. Heidegger, El ser y el tiempo, стр. 374—375, 377.

как «вншний» момент, к которому стремится существование<sup>53</sup>; именно это отдаление, этот «внешний» характер будущего и выражается посредством форм, неудачно названных «чисто временными». Поэтому нечего удивляться, что во многих языках будущее оказывается материально «слабым» (неустойчивым) и выражается формами настоящего времени или периодически заменяется формами с модальным значением, поскольку понимание направленности существования присуще в большей или меньшей мере всем людям. Нечего удивляться также, что модальные формы становятся «временными»: ведь разделенность моментов времени — это естественное следствие, вытекающее из того, что они становятся сопричастующими.

Таким образом, «семантико-стилистические» объяснения, выдвигаемые в качестве универсальных объяснений, не являются неправильными; они лишь неполны и недостаточно обоснованы. Они опираются на правильную интуицию, однако остаются на поверхности вещей или концентрируют внимание на второстепенных и маловажных аспектах вместо самого существенного — правильного понимания времени.

4.2.8. Однако универсальное объяснение еще не является само по себе историческим объяснением. Чтобы объяснить, почему латинское будущее было заменено модальными формами в одну *определенную эпоху*, недостаточно указать, что речь идет об «обычном» явлении, и установить универсальную причину этого явления. Следует также объяснить, почему эта универсальная (и постоянная) причина оказалась действенной именно в эпоху так называемой вульгарной латыни; иначе говоря, универсальная необходимость, обусловленная потребностями выражения, должна быть объяснена и как историческая необходимость. Разумеется, материальная недостаточность классического будущего требовала его перестройки в указанную эпоху; общая тенденция к «аналитическим» выражениям способствовала его замещению перифрастическими формами. Однако этих обстоятельств мало для объяснения значения вульгарнолатинского будущего и его сходства с другими «модальными» будущими, которое не может быть простым совпадением. Несомненно, решающим историческим фактором явилось христианство, спиритуальное движение, которое, помимо прочего, пробуждало и усиливало чувство бытия и придавало самому бытию подлинную этическую направленность. Вульгарнолатинское будущее означает не совсем «то же самое», что классическое будущее, и в этом действительно отражается новый склад мышления: это не «внешнее» и безразличное будущее, а «внутреннее» будущее, воспринимаемое с осознанной

---

<sup>53</sup> М. Хейдеггер («*El ser y el tiempo*», стр. 376) считает «неправильной» концепцию времени, «разделенного» на настоящее, прошедшее и будущее. В самом деле, такая концепция неудачна, если рассматривать ее как единственно возможную, а «разделение» моментов времени — в отрыве от их «сопричастия». Однако такая концепция возможна, если «разделение» времени понимается как необходимое отрицание самого «сопричастия». Действительно, подлинное «сопричастие», т. е. *превращение* моментов времени в *сопричастующие*, не может существовать без соответствующего «разъединения».

ответственностью, как намерение и моральная обязанность<sup>66</sup>. Наш вывод основан не только на том, что христианство и «вульгарная» латынь существовали одновременно; его подтверждает и тот факт, что новое будущее особенно часто встречается в произведениях христианских авторов<sup>67</sup>. Более того, у одного из христианских писателей, который был также великим философом и, следовательно, был способен понять и теоретически обосновать эту *neue Denkform*, тогда как другие говорящие принимали ее стихийно и неоформленно, появляется сформулированная в явном виде идея «соприсутствия» моментов времени. Речь идет, конечно, о св. Августине и о его знаменитом анализе времени, столь отличном от всего того, что по этому вопросу оставила нам в наследство классическая древность. Вот что пишет св. Августин: «Говорить, что существует три времени, — прошедшее, настоящее и будущее, — значит выразиться неточно. Точно же следует сказать: существует три времени — настоящее прошедших предметов, настоящее настоящих предметов и настоящее будущих предметов. В душе нашей есть три вещи, и, помимо них, я ничего не вижу; для настоящего прошедших предметов — память, для настоящего настоящих предметов — взгляд, созерцание, а для настоящего будущих предметов — чаяния, упования, надежды»<sup>68</sup>. Этот важный документ дает нам необходимое внеязыковое свидетельство того, что склад мышления, о котором мы говорим, действительно существовал, — это христианское мировоззрение.

Итак, перестройка латинского будущего должна рассматриваться наряду с многими другими языковыми изменениями, которые были обусловлены новыми потребностями выражения, порожденными христианством. Таким образом, изменение объясняется исторически обусловленными движениями в духовной жизни, и тем самым избегаются неясности тех объяснений, которые обращаются к речи «народа». Вообще понятие «народ» (когда оно не эквивалентно «говорящему коллективу») в лингвистике еще не определено; его границы никому не известны. Но если дело касается «вульгарной латыни», то здесь, кроме того, налицо *petitio principii*: пользоваться здесь этим понятием означает принимать за доказанное именно то, что требуется доказать. В самом деле, любой языковой элемент еще

---

<sup>66</sup> В частности, будущее, закрепившееся в большинстве романских языков, отражает, что для нас особенно важно, отождествление морального долга и желания, т. е. того, что должно быть сделано, и того, что *хотят сделать*; в самом деле, *facere habeo* означает одновременно и *facere debeo* и *facere volo*. Сардинское будущее с *debeo* и румынское будущее с *volo* (последнее объясняется, безусловно, греческим влиянием; ср. K. S a n d f e l d, цит. раб., стр. 180 и сл.) представляют собой упрощение этой сложной моральной позиции.

Однако в румынском существует также и будущее с *habeo* + конъюнктив.

<sup>67</sup> См. V. B e r t o l d i, *La parola*, стр. 259, сн. 1. Бертольди дважды указывает, что перифрастическое будущее утверждается «в христианскую эпоху» (стр. 259 и 261), а один раз даже называет его «христианским элементом» (стр. 259), никак не объясняя это выражение.

<sup>68</sup> «Confessiones», XI, 20 (26).

не является «народным» только потому, что он входит в «вульгарную латынь» (которая является просто латинским языком, непрерывно продолжающим свое развитие в романских языках)<sup>59</sup>; наоборот, «вульгарная латынь» является «народной» в той мере, в какой являются «народными» входящие в нее языковые элементы. Однако последнее положение нельзя считать заранее данным, а следует выяснять отдельно для каждого элемента. Что же касается перифрастического будущего, то представляется по меньшей мере сомнительным, чтобы подобное объяснение могло дать положительный результат<sup>60</sup>.

4.2.9. Объяснение, прибегающее к потребностям выражения, характеризует прежде всего первоначальную «инновацию» или инновации, т. е. творческие акты тех говорящих, которые первыми стали употреблять перифрастические формы для выражения нового понятия о будущем. Однако объяснение это относится также и к «изменению» как к *процессу* распространения и закрепления указанных форм в романском языковом коллективе, поскольку оно утверждает, что данная инновация распространилась потому, что соответствовала потребности выражения, присущей многим говорящим. В связи с этим В. фон Вартбург пишет, что основной ошибкой объяснения Фосслера является сведение к одному моменту того, что было длительным процессом<sup>61</sup>. Однако в действитель-

---

<sup>59</sup> Не обязательно во *всех* романских языках; во многих случаях — в одном или в двух из них. Представление об абсолютно единой «вульгарной латыни», выступающей как единственная общая «основа» всех романских языков, — это пережиток неудачной идеи «праязыка» (Ursprache).

<sup>60</sup> В связи с этим любопытно напомнить явное противоречие, допущенное В. Мейер-Любке (W. Meyer-Lübke, *Introducción*, стр. 238), который, платя дань ошибочному наименованию «вульгарная латынь», тем не менее пытается избежать терминологической западни: «Безусловно, речь идет о простонародном способе выражения, насколько можно судить по стилю текстов, где он встречается. Однако, как показывает его распространение в романских языках, утонченный язык высших классов и литературная культура существенным образом способствовали его распространению и тому, что в конце концов эта перифраза превратилась в форму, ставшую временем глагола». Л. Шпитцер (цит. статья, стр. 173—174) выступает против этого последнего утверждения, указывая, что более раннее закрепление нового будущего в некоторых романских языках — это лишь признак (и результат) более быстрой «эволюции». Однако это не подрывает положений Мейер-Любке: в самом деле, быстрота упомянутой «эволюции» — это как раз тот *факт*, который надлежит объяснить, а не *причина*, которая могла бы объяснить факты.

<sup>61</sup> «*Problemas y métodos*», стр. 167: «Исчезновение старого будущего и развитие новой формы не следуют одно за другим; оба явления одновременны, они осуществляются параллельно и тесно связаны друг с другом. Постепенная грамматикализация будущего, образованного с помощью *habeo*, — это дело веков. Фосслер проектирует этот длительный процесс на одну точку и получает неожиданные результаты, не соответствующие действительности».

ности объяснение Фосслера отнюдь не предполагает этого в обязательном порядке. Возражение же Вартбурга, содержащее в себе зерно истины, направлено не только против «семантических» объяснений, но и против любых объяснений, при которых языковое изменение сводится к мгновенному акту, в том числе и против «морфологического» объяснения, если в нем игнорируется различие между «инновацией» и «изменением». То, что «социальное» закрепление нового будущего было длительным «постепенным» процессом, параллельным исчезновению синтетического будущего, а не мгновенным актом, совершенно несомненно. Однако эта «постепенность» может быть понята только в «экстенсивном» смысле, т. е. постепенность относится к межиндивидуальному принятию («распространению») инновации (ср. III, 4. 4.5). С другой стороны, нельзя говорить о постепенной «грамматикализации» перифрастических форм: в «интенсивном» смысле (за исключением того, что относится к «выбору» между старыми и новыми формами) «процесс» должен считаться предположительно завершенным для каждого говорящего в самый момент принятия этих форм в качестве единственного средства для выражения категории будущего или в качестве «вариантов» синтетических форм.

Скорее следует задаться вопросом, все ли говорящие испытывали одну и ту же потребность выражения. А на это не может ответить ни одно объяснение, поскольку документация, которой располагает история языка, не может быть достаточной для этого. Несомненно лишь, что, когда изменение было предопределено, т. е. когда синтетические и перифрастические формы стали восприниматься как в известной степени «взаимозаменяемые варианты», многие говорящие приняли, очевидно, перифрастические формы, учитывая также и их лучшую приспособленность к потребностям различения; ведь, несомненно, эти формы позволяли преодолеть одну из критических точек системы. Другие же говорящие, даже не замечая особенностей данных форм в плане выражения, приняли их просто для того, «чтобы говорить, как другие», т. е. в силу «внешней» культурной причины: функциональные объяснения языковых изменений не исключают, а, наоборот, предполагают культурные объяснения.

## **VI. ПРИЧИННЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ. ДИАХРОНИЧЕСКИЙ СТРУКТУРАЛИЗМ И ЯЗЫКОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ.**

### **СМЫСЛ „ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКИХ“ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ**

1.1. Языковые изменения, как мы пытались показать в предшествующих главах, могут быть объяснены (мотивированы) только в функциональных и культурных герминах. При этом культурные и функциональные объяснения изменений ни в коей мере не являются «причинными». Сама идея 'причинности' в том, что называют языковой «эволюцией», — это пережиток старого понимания языков как «естественных организмов» и позитивистской

мечты открыть предполагаемые «законы» языка (или языков) и превратить лингвистику в «науку о законах», аналогичную физическим наукам.

1.2. Кое-что от этого еще сохраняется как внутреннее противоречие в теориях современных структуралистов, в частности тех, кто занимается диахроническим структурализмом. Они, по-видимому, полагают, что функциональное понимание языка поможет обнаружить «причины» изменений, которые так волновали (и столь бесполезно) целый ряд ученых. Так, например, Одрикур и Жюйан отождествляют 'причину' с 'условием' (изменения) и рассматривают как «причину» тенденцию к «равновесию систем» и к сохранению различительных противопоставлений; это, по их мнению, «неисчерпаемый источник причинных (условных) объяснений»<sup>1</sup>. Те же авторы называют «действенной причиной» фонетическое изменение, а «побудительной причиной» тот факт, что любое изменение обуславливается факторами, внутренне присущими структуре рассматриваемого языка<sup>2</sup>. Аналогично Э. Аларкос Льорач считает «причинами» так называемые «внешние факторы» — физиологические и «исторические» (смещение языков) — и «внутренние факторы» (сопротивление системы изменению)<sup>3</sup>. Дальше, рассматривая конкретный случай испанского языка в период Золотого века, Льорач называет «внешней причиной» влияние субстрата, а «внутренними причинами» — слабые точки системы<sup>4</sup>. Даже сам Мартине, в общем столь осторожный в выражениях, пола-

---

<sup>1</sup> Haudricourt et Juilland, Essai, стр. 4—5.

<sup>2</sup> Там же, стр. 8. По этому поводу — оставив в стороне все то, что при таком способе представлять факты относится к старому и хорошо известному смещению простой последовательности и причинно-следственного отношения (*post hoc, ergo propter hoc*), и странное употребление обоими авторами терминов «действенный» и «побудительный» — следует задать вопрос: что же такое «фонетическое изменение» в отличие от «фонологического»? В самом деле, если под «фонетическим изменением» понимается «физиологическое изменение» или, во всяком случае, изменение, обусловленное «естественными причинами», то приходится отметить, что «фонетические» изменения не существуют и не могут существовать. Все звуковые изменения являются «фонологическими», поскольку даже те изменения, которые не нарушают «систему» (различительные противопоставления), имеют системное, а не физиологическое объяснение.

<sup>3</sup> «Fonología española», стр. 100 и сл.

<sup>4</sup> Там же, стр. 220.

гает, что диахронический структурализм обнаружил по крайней мере некоторые из «причин» звукового изменения<sup>5</sup>.

1.3. Все это может частично относиться и, безусловно, относится к вопросам терминологии. Однако здесь есть и пережитки натуралистических идей, которые структурализм унаследовал от Соссюра (к сожалению, предав забвению некоторые другие, гораздо более глубокие и плодотворные сосюрские идеи; ср. VII, 1.1.2), а Соссюр унаследовал от Шлейхера (ср. II, 1.3.2)<sup>6</sup>. Поэтому, прежде чем рассматривать значение и содержание того вклада, какой структурализм внес в изучение проблемы языкового изменения, необходимо, хотя и с риском неизбежных повторений, вскрыть внутренние пороки всякого причинного подхода. Кроме того, полезно заметить, что сама терминология не является чем-то совершенно условным: она отражает определенный подход, который в свою очередь соответствует общему недостатку наук о культуре или о человеке. Часто считают недостатком этих дисциплин тот факт, что они еще не дошли до слияния с естественными науками и до повсеместного использования так называемых «позитивных методов». На самом же деле основным их недостатком является как раз недостаточное разграничение физических наук и наук о человеке, натуралистического метода и культурного метода. Как уже указывалось (IV, 1.1), трудности, с которыми лингвистика обычно сталкивается при постановке проблем изменения, объясняются в значительной степени методологическими недостатками гуманитарных наук, чрезмерно похожих на науки о природе<sup>7</sup>. Помимо прочего, распространенное физикалистское мировоззрение приучило нас искать «за» повседневным опытом другой мир и верить, что этот другой мир (который

<sup>5</sup> «Function, structure, and sound change», стр. 1—2. Ср. также его предисловие к книге Одрикура и Жюяна, стр. IX: «Было необходимо выйти за рамки учения Фердинанда Соссюра и показать, что в самой языковой структуре содержится ряд причин, которые должны способствовать ее собственной перестройке». То же самое убеждение распространяется среди ученых, близких к диахроническому структурализму. Так, например, Гитарте (G. L. G u i t a r t e, El ensordecimiento del zeísmo porteño, RFE, XXXIX, стр. 271) прямо утверждает, что «работы по диахронической фонологии показали нам, что языковая структура несет в себе значительную часть причин, которые будут содействовать ее перестройке».

<sup>6</sup> С другой стороны, лингвистический натурализм восходит к эпохе, предшествовавшей Шлейхеру и распространению философского позитивизма. Еще Ф. Бопп (F. B o p p, Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send, Armenischen, Griechischen...<sup>8</sup>, I, Berlin, 1868, стр. III) (мы имеем в виду предисловие к первому изданию, написанное в 1833 г.) намеревался исследовать «физические и механические законы индоевропейских языков». Сам термин «звуковой закон» (Lautgesetz) также появляется уже у Боппа («Vergleichende Grammatik», I, стр. 130).

<sup>7</sup> Вспомним, например, о том, что науки о человеке еще не полагают подходящим термином, чтобы заменить неудобный и неадекватный термин «эволюция»: культурным объектам присуще историческое развитие, а не «эволюция», как естественным объектам.

олжен объяснять мир явлений) будет открыт в будущем посредством накопления многих конкретных фактов или с помощью инструментальных методов физических наук<sup>8</sup>. Однако вообще «за» или «под» вещами и явлениями нет ничего. Кроме того, в случае языка речь идет не просто о «мире», а о человеческом мире, который создан человеком и известен ему. В этом мире все то, что не принадлежит повседневному опыту, не может функционировать и оказывать какое-либо влияние на культуру. Именно поэтому в линг-

<sup>8</sup> Так, например, Л. Блумфилд определяет фонему как «постоянный признак» звукотипов, а затем, заметив, что этот признак наблюдается не во всех случаях, не отказывается от своего определения, поскольку надеется, что признак, который должен соответствовать каждой фонеме, будет открыт в лабораториях с помощью экспериментальных методов (ср. W. Freeman T w a d d e l l, On defining the phoneme, воспроизведено в M. J o o s, Readings in linguistics, Washington, 1957, стр. 63). Однако откуда можно знать, что мы имеем дело с 'постоянным признаком', если он не наблюдается? Истина же заключается в том, что в этом случае нам нечего ждать от лабораторий, которые обычно не решают логических проблем. Очевидно, тождество фонемы существует и устанавливается не в силу материального тождества ее реализаций, а по некоторой другой причине. Только поэтому и могут встречаться случаи, когда варианты одной и той же фонемы не имеют никакого материального признака, который был бы присущ всем им и только им, иначе бы такие случаи не наблюдались. Единственное убедительное решение состоит в том, чтобы определять фонему не как материальную единицу, а как единицу, характеризующую *значимостью* или *функцией*, т. е. как «формальную» единицу (которая, впрочем, всегда может быть материализована и, более того, материализация которой четко определяется для каждого конкретного случая). С материальной точки зрения фонема — это зона звуковой субстанции, ограниченной значимой единицей, т. е. такая часть субстанции, в пределах которой бесконечное число звуков оказываются функционально тождественными. Таким образом, рассматриваемая в своей материальности фонема является 'звуковым типом', но типом, определяемым функцией, а не чисто материальными признаками; как и в языке в целом, определяющим фактором в фонемах также является «форма», а не «субстанция». На практике реализации одной и той же фонемы чаще всего имеют постоянные общие признаки; однако это не обязательно для того, чтобы фонема была фонемой. С другой стороны, это не означает, будто с точки зрения субстанции фонемы являются чисто «отрицательными» единицами и что *все* фонемы какого-нибудь языка могут не иметь постоянных общих признаков во всех своих многочисленных реализациях; это означает лишь, что *некоторые* фонемы могут не иметь таких признаков. Такая возможность существует именно постольку, поскольку другие фонемы имеют указанные признаки и тем самым косвенно ограничивают фонемы, не имеющие этих признаков. Точно так же из сказанного не следует делать вывод, будто субстанция «безразлична» по отношению к фонемам (ср. VII, 2.3) или будто ее можно игнорировать при *описании* фонологической системы языка. Нельзя смешивать определение фонемы с необходимыми (и реальными) условиями ее материализации.

вистике, как и во всех гуманитарных науках, фундаментом должно являться и является первичное знание, которое человек имеет о себе самом (ср. II, 4.2).

2.1. Двойное заблуждение, общее для всех причинных подходов к языковому изменению, заключается в смешении всех трех уровней этой проблемы — или по крайней мере двух из них (проблемы *изменчивости* языков и проблемы *изменений*, рассматриваемых в общем виде; ср. III, 1 и IV, 1) — и в том, что проблема изменения, ошибочно рассматриваемая как единая, ставится в терминах внешней причинности. Предварительный вопрос — может ли интересующее нас явление иметь «причины» в этом смысле — даже и не поднимается: как заранее данное принимают, что изменение *должно иметь «причины»*. Отсюда и старательные поиски «причин». Такие поиски, несмотря на частые неточности при формулировании результатов, не являются, разумеется, бесполезными в том, что касается *условий* изменения. Однако они совершенно бесполезны для определения *изменчивости языков* и эффективного объяснения изменений: в этом направлении поиски причин не могут дать результатов, поскольку они противоречивы и иррациональны. Тем не менее сторонники причинного подхода, вместо того чтобы задаться вопросом, законны ли сами поиски «причин» изменения, считают, что они просто недостаточны и что нужно продолжать искать. Поэтому смешение не проясняется и не устраняется, а сохраняется и усиливается и в результате возникает целый ряд ошибок, цепляющихся одна за другую.

2.2.1. Любопытнее всего, что указанные поиски ведутся в согласии с тем предположением, будто языковое изменение должно иметь *одну-единственную общую причину*. Считают, что если «следствие» (изменение) единственно, то и причина должна быть единственной. Пытаются даже обосновать это мнение ссылкой на тот принцип, что 'одинаковые причины производят одинаковые следствия'. Однако, строго говоря, данный принцип необратим: одно и то же следствие может быть вызвано различными причинами. Далее, поиск единственной причины ведется в направлении, абсолютно незаконном даже с точки зрения физических наук. В самом деле, языковое изменение, рассматриваемое на уровне общих понятий, — не единое явление; единой является *изменчивость* (то, что языки изменяются). Однако этот факт относится не к общим, а к *универсальным*

и, следовательно, не может быть объяснен с помощью более общих понятий (no puede tener explicación genérica). В самих физических науках, рассматривающих именно общее (lo genérico) в природе, ставятся вопросы не о единственной причине универсальной «изменчивости», а только о причине того или другого определенного типа изменений. Отыскивается общая причина, в силу которой А переходит в В (например, вода в пар), но никто не думает, будто та же самая причина может обусловить переход А в С, D, E... (например, воды в лед, воды в кислород и водород и т. д.) или M в N, P в R и т. д. Дело в том, что нельзя искать причину просто общего (родового) характера для универсального явления. Поэтому задавать вопрос, что является «причиной» языкового изменения, равносильно тому, чтобы спрашивать, «какую форму имеют предметы», и удовлетворяться ответом: «круглую» или «квадратную». Если бы изменение как универсальный факт могло иметь одну внешнюю причину, она должна была бы быть по крайней мере того же порядка, т. е. *причиной универсальной*. И, наоборот, на уровне общих понятий изменение представляет собой много явлений, и, следовательно, даже если бы оно объяснялось такими причинами, какие пытаются искать, оно не могло бы иметь одну-единственную причину.

2.2.2. Столь же опасным является смешение уровня общих понятий и *исторического уровня* языкового изменения. Языковые изменения как конкретные исторические факты не могут объясняться только универсальными и общими причинами; они должны быть объяснены во всей своей конкретности (ср. V, 4. 2. 8). Удовольствоваться одним общим объяснением исторически обусловленного изменения равносильно утверждению, что некий определенный дом загорелся потому, «что дерево горит». Это утверждение справедливо с точки зрения общих понятий (т. е. с точки зрения, характерной для естественных наук), но оно ничего не говорит нам об *исторической* (конкретной) *причине* пожара. По этому поводу А. Соммерфельт совершенно справедливо заметил, что «исторических законов, соответствующих законам природы, не существует, так как имеется существенное различие между исторической причинностью и причинностью, с которой имеют дело науки о природе»<sup>9</sup>. Далее, он прямо

---

<sup>9</sup> Цит. статья, стр. 120.

пишет, что языковые факты как факты исторические должны иметь не «общее», а конкретное объяснение<sup>10</sup>. Верно, что и в истории можно обобщать; однако историческое обобщение является «формальным», а не «материальным»: в случае языкового изменения такое объяснение относится к *смыслу*, к общим условиям и особенностям изменения, а не к их конкретному осуществлению<sup>11</sup>. Можно констатировать, что при определенных культурных или системных условиях обычно происходят изменения того или иного общего типа (как, например, 'распространение литературной нормы', 'заимствования', 'выравнивание парадигм', 'преодоление «слабых точек» системы'), но нельзя сказать, например, что /a/ изменяется в /o/. И наоборот: из материального тождества изменений, происшедших в различных языках и в разные исторические моменты, еще не вытекает идентичность его исторических «причин», поскольку языковые изменения — это не естественные «следствия»<sup>12</sup>. Два материально идентичных исторических факта (например, изменение [λ] в [j] в различных языках или в различные моменты истории одного и того же языка) могут иметь различные и даже противоположные исторические объяснения. Пример непонимания этого принципа можно найти у А. Бюрже, который оспаривает различие в уровне культуры между латинским языком на Востоке и латинским

<sup>10</sup> Там же, стр. 122. Важно отметить, что это подчеркивал еще сам Соссюр (CLG, стр. 169), который, несмотря на то что его концепция была близка к натурализму, тем не менее понимал историчность языковых фактов (ср. VII, 1.1.2).

<sup>11</sup> Материальное обобщение, разумеется, законно по отношению к физиологической стороне речи. Так, например, вполне законно замечание, что в группах sr, tr, pr 'нормально' появление эпентетического согласного (t, b, d). Однако в подобных случаях формулируются лишь возможности, а обобщения относятся к «инновациям» (сдвигам), а не к «изменениям», поскольку «изменения» по своей природе не могут быть обусловлены физиологически (ср. III, 2.2.3). То же самое можно сказать об общих фонетических законах Граммона. Именно поэтому, помимо других соображений, физиологические «объяснения» не могут ни заменять исторических объяснений, ни противопоставляться им.

<sup>12</sup> Этот принцип был сжато и совершенно отчетливо сформулирован Р. Менендесом Пидалем (R. M e n é n d e z P i d a l, *Orígenes del español* <sup>3</sup>, Madrid, 1950, стр. 203): «Любое фонетическое изменение является естественным и может произойти в различных языках. Однако в любом языке оно всегда происходит в силу точных определяющих исторических причин. Сходные языковые изменения в различных языках должны иметь различные исторические причины». Ср. также F. de S a u s s u r e, CLG, стр. 168—169, 244—245.

языком на Западе, выдвигая аргумент, что в славянских языках имеют место материально идентичные факты (имеется в виду палатализация), хотя и не наблюдается никаких культурных отличий<sup>13</sup>. В действительности, противопоставление «фактов просторечия» «фактам литературной речи» носит исторический и конкретный, а не естественный и общий характер. «Просторечной» является не просто палатальная артикуляция, рассматриваемая сама по себе, а, например, произношение *ci* в обществе, где литературная норма требует *ki*<sup>14</sup>. Один и тот же материальный факт может быть отнесен в одном обществе к «литературной речи», в другом — к «просторечию», а в третьем может оказаться «нейтральным». В одном обществе может считаться «просторечным» произношение *i* как *h*, а в другом, наоборот, — произношение *h* как *i*. Если, допустим, в обоих коллективах обобщится произношение *i*, то оба материально идентичных изменения должны иметь диаметрально противоположные исторические объяснения; напротив, если в первом коллективе обобщится *i*, а во втором — *h*, то оба изменения, материально противоположные, будут иметь аналогичное историческое объяснение. В самом деле, историческое объяснение не может быть ни подтверждено, ни опровергнуто в его конкретности ссылкой на материальное сходство с исторически отличными фактами<sup>15</sup>.

2.2.3. Против идеи единственности причины языкового изменения восстал уже М. Граммон<sup>16</sup>. Граммон справедливо отвергает

<sup>13</sup> Цит. статья, стр. 21.

<sup>14</sup> Так, например, в литературном французском языке произношение *j* вместо *λ* было некогда фактом «просторечия». Однако в настоящее время, после того как это произношение обобщилось в говоре Парижа, имеет место обратное: именно произношение *λ*, за исключением отдельных определенных ситуаций, считается «деревенским» или «провинциальным».

<sup>15</sup> Материальное сходство может служить, самое большое, для того, чтобы утверждать, что то или иное изменение «естественно». Однако в таком случае «естественно» означает лишь «может произойти», а в этом смысле все изменения «естественны», если они действительно произошли (ср. сн. 12). Следовательно, сходство оказывается бесполезным, когда мы занимаемся исторически засвидетельствованными изменениями. Напротив, использование материального сходства — это методологически полезный прием в технике реконструкции по отношению к доисторическим изменениям (чтобы не постулировать бесосновательно «изменений», которые обычно не происходят и никогда не были засвидетельствованы).

<sup>16</sup> «Traité», стр. 175 и сл. Ср. также М. Martinet, *Function, structure*, стр. 1.

утверждение о том, что причины языковых изменений 'неизвестны и таинственны', и отмечает, что оно объясняется убеждением, будто изменение должно иметь только одну-единственную причину. Однако, надо сказать, что «причины», которые он сам перечисляет (раса, бытовые условия, почва, климат, принцип наименьшего усилия, неисправленные детские ошибки, влияние политических и социальных обстоятельств, мода), не только не являются определяющими причинами языкового изменения, но даже не являются факторами или условиями одного порядка<sup>17</sup>. Далее, Граммон не устраняет иллюзии, на которой основывается идея единственности причины, поскольку эту иллюзию нельзя устранить путем простого увеличения числа причин. Более того, это приводит лишь к новой, не менее серьезной ошибке: если верно, что на уровне общих понятий изменение объясняется множеством причин, то на уровне универсалий оно действительно имеет одну-единственную «причину» и ее нельзя свести к общим условиям *конкретных* изменений. Те, кто отстаивает единственность причины *конкретных* языковых изменений, интерпретируют уровень общих понятий как уровень универсалий (ср. 2.2.1); Граммон же, напротив, пытается свести универсальные понятия к общим. В результате смешение сохраняется, хотя и в обратном смысле. В самом деле, мы ничего не выигрываем от увеличения числа «причин» изменения, если по-прежнему смешиваются уровень универсалий с уровнем общих понятий, логическая причинность с эмпирическими условиями, внутренняя причинность с внешней. Кроме того, Граммон полагает, что фонетические законы имеют «естественные причины» и являются «неизбежным следствием данного состояния языка»<sup>18</sup>; тем самым он полностью закрывает путь для правильной постановки проблемы.

2.3. Что касается характера причин языкового изменения, то каузализм, как уже указывалось, подвергается постоянной опасности быть вынужденным считать эти причины «естественными», или «физическими». В самом деле, каузализм легко смешивается с физицизмом, то есть с таким подходом, при котором «объективным» считается только физическое, а подлинно «научными» — лишь материальные объяснения. Однако в действительности научные объяснения — это объяснения, соответствующие природе и

---

<sup>17</sup> Некоторые из них — это факторы, которые не могут влиять на язык непосредственно; другие — факторы «второй ступени» по отношению к действительным условиям изменений (ср. III, 2.2.3 и IV, 2.1.2); а третьи вообще не являются «причинами» ни в каком смысле. Так обстоит дело с «модой», которая представляет собой сам факт распространения инновации, а не «причину» распространения. То же самое можно сказать по поводу «неисправленных ошибок»: это просто тип инновации, а не основа инновации или изменения. Только так называемый «принцип наименьшего усилия» действительно может считаться определяющей причиной, но он является весьма спорным (ср. 3.3.1).

<sup>18</sup> «Traité», стр. 167.

сущности исследуемого объекта; следовательно, материальные объяснения культурных фактов не столь научны, сколь иллюзорны. Физические науки достигли своего совершеннолетия и добились значительных успехов именно благодаря тому, что освободились от всех анимистических предрассудков и стали объяснять физические факты физически, то есть так, как их и следует объяснять. Зато обратный предрассудок, проявляющийся в стремлении давать физические объяснения фактам культуры, не только не искоренен в науках о культуре, но даже часто считается основным признаком научности<sup>19</sup>. Нередко высказывается желание преобразовать науки о культуре (в том числе лингвистику) в «точные науки», причем под последними понимаются физические науки. Однако на самом деле определенная наука является точной не потому, что она физическая наука, а потому, что она соответствует природе *своего* объекта; именно этот принцип и следует заимствовать у физических наук. Науки о культуре обладают точностью особого типа, и уподоблять их физическим наукам (обладающим точностью другого типа) — это значит превратить их не в «точные», а, наоборот, в неточные науки, т. е. в лженауки.

2.4.1. В соответствии с точкой зрения на возможность найти причины языкового изменения можно различать три типичных каузалистских подхода — «самонадеянный», «благоразумный» и «примирительский».

2.4.2. «Самонадеянный» подход свойствен тем, кто считает, будто нашел внешние причины языковых изменений или даже основную или единственную причину. Слабость этого подхода очевидна. Не имеет смысла вновь останавливаться на его теоретических просчетах, поскольку эмпирические наблюдения показали, что, какое бы обстоятельство ни было объявлено причиной изменений, всегда можно найти случаи, когда изменения происходят и при отсутствии данного обстоятельства, а также случаи, когда это обстоятельство оказывается недействительным (т. е. даже при его наличии изменений не происходит)<sup>20</sup>. Это, впрочем, вполне естественно. Ведь когда упомянутые обстоятельства имеют какой-то разумный смысл, то они обычно представляют собой общие условия изменения (непосред-

---

<sup>19</sup> Этот предрассудок иногда превосходит все границы разумного. Так, сравнительно недавно один из «философов языка», Г. Шмидт (G. Schmidt, *The philosophy of language*, «Orbis», V, стр. 167), утверждал, что гласный *a* характерен для открытых равнин и стран с большой площадью, а гласный *o* — для маленьких стран и островов (вероятно, потому, что некоторые острова круглы).

<sup>20</sup> Ср., например, O. Jespersen, *Language*, стр. 255 и сл.

ственные или опосредствованные), а мы уже видели, что эти условия многочисленны и сами по себе недействительны.

2.4.3. «Благоразумный» подход допускает, что причины языкового изменения неизвестны или «пока» неизвестны. Эта точка зрения представляется разумной; в самом деле, те, кто придерживается ее, по крайней мере избегают ошибки и не считают причинами то, что ими не является. Однако, по сути дела, данная точка зрения не менее ошибочна, чем предыдущая: она связана с предположением, что существуют какие-то более или менее таинственные причины, которые, быть может, будут открыты, и что неизученность этих причин до сих пор является лишь временным недостатком лингвистики. Кроме того, указанная точка зрения представляет собой одну из форм более общей точки зрения, при которой универсальное смешивается с общим и считается, будто так называемый «синтез» должен следовать за «анализом», т. е. что теория должна следовать за эмпирическим изучением фактов, как простое обобщение конкретных наблюдений. Однако в действительности познание сути вещей в плане конкретного происходит в одно время с познанием частного или фактов, а в плане логического оно предшествует познанию частного: частное действительно познается лишь тогда, когда оно рассматривается в рамках универсального. Поэтому невозможно исследовать факты, не имея заранее теории, явной или неявной. По отношению к объектам культуры наглядное, образное познание всегда первично (предшествует научно-эмпирическому исследованию), поскольку оно является конституирующим для этих объектов как таковых. В самом деле, прежде чем эмпирически исследовать язык, необходимо знать, что такое язык, чтобы опознавать его как таковой и отличать его от всего того, что не является языком, хотя и может иметь такие же матеральные характеристики<sup>21</sup>. Правда, в определенном смысле физические науки не занимаются универсалиями. Однако именно поэтому универсалии приходится предполагать; как раз это и делают, когда выдвигают гипотезы. Напротив, в науках о человеке нет гипотез относительно универсалий. Место, отводимое в физических науках гипотезам, в гуманитарных науках занято естественным знанием, которым человек обладает, — знанием о человеческой деятельности и о предметах, которые он сам создает<sup>22</sup>.

2.4.4. Третьей, «примиренческой» точки зрения придерживаются те, кто утверждает, что некоторые причины языкового изменения известны, а другие нет, но будут, возможно, вскрыты в ходе дальнейших исследований. Эта точка зрения, разумеется, имеет под собой основание, если учитывать общие условия и особенности изменений. С некоторыми терминологическими поправками ее можно было бы и принять, если бы она не приводила к смешению уровня общих понятий и универсального уровня изменений. Однако при

---

<sup>21</sup> Ср. «Forma y sustancia», стр. 18—19.

<sup>22</sup> Одна из принципиальных ошибок глоссематики состоит в попытке представить условную (conventional) теорию языка как «гипотезу», подлежащую проверке (ср. I, сн. 2). Сущность языка, безусловно, требует разъяснения и оправдания в научном плане; однако она не может и не должна «предполагаться», постулироваться в качестве гипотезы, поскольку речь не идет о чем-то не известном человеку.

данной точке зрения происходит именно такое смешение, так как благодаря ей отождествляются эмпирическая проблема типов изменений и логическая проблема изменчивости языков. В самом деле, условия изменения считаются «причинами» изменчивости, а затем делается вывод, что, объединив частные объяснения, можно приблизиться к решению универсальной проблемы изменения, хотя эта проблема другого уровня и совершенно иной природы. По сути дела, перед нами старая позитивистская точка зрения: отождествляются универсальная проблема каждого ряда явлений и совокупность соответствующих эмпирических проблем, а затем пытаются решить логические проблемы посредством накопления «фактов» и частных эмпирических наблюдений. Сторонники указанного подхода прибегают к тому же обычному и наивному оправданию, что и позитивисты, когда им не удается позитивистски решить теоретические проблемы или когда их гипотезы по поводу этих проблем терпят крах: они ссылаются на то, что известных фактов еще мало и что искомые решения будут найдены с помощью большего числа фактов. В собирании фактов и эмпирических наблюдений не было бы ничего неразумного, если бы это могло привести к решению теоретических проблем. Однако этого не происходит. Так, например, ошибочно и противоречиво мнение, будто для ответа на вопрос, что такое *существительное*, необходимо собрать много *существительных* (что действительно необходимо для установления того, *какими бывают* существительные): ведь, чтобы выполнять эту операцию и не включать в ту же совокупность глаголы, прилагательные и прочие объекты иного рода, как раз необходимо заранее знать, что такое *существительное*. Идея накопления фактов для решения теоретических проблем — реакционная идея; она способна скорее затормозить исследования, чем подвести под них более надежную основу. В крайних случаях это типичная форма мисологизма, которую пытаются представить как научную осторожность. Кроме того, «приренческий» подход не может быть последовательным, если будут предлагаться какие-либо объяснения, выходящие за пределы простой констатации фактов: ведь любое конкретное объяснение предполагает наличие *принципа объяснения* и, следовательно, универсально: о объяснения<sup>23</sup>.

3.1.1. Каузалистскому подходу и смешениям, к которым этот подход приводит, следует противопоставить различие между «миром необходимости» и «миром свободы», которое отчетливо сформулировал еще Кант. Точно так же провозглашенным или непровозглашенным намере-

<sup>23</sup> Поэтому неприемлемо мнение, высказанное в неудачный момент одним известным лингвистом (который, впрочем, сам является крупным теоретиком): «Хорошее объяснение факта стоит больше многих томов теорий». «Объяснение» нельзя противопоставлять «теории», поскольку хорошее объяснение факта — это именно такое объяснение, которое основывается на хорошей теории. Разумеется, хорошее объяснение стоит бесконечно больше, чем много томов произвольной или ошибочной теории. По поводу «фактов» и «теории» см. меткие замечания А. Фрея (H. Frey, «Acta Linguistica», т. V, стр. 61—62).

ниям старого и нового позитивизма свести все науки к физике следует противопоставить фундаментальное различие между фактами природы и фактами культуры и, следовательно, между физическими и гуманитарными науками. Это отнюдь не означает пренебрежения к физическим наукам, которые, естественно, суть единственные науки, адекватные по отношению к *своему* объекту. Однако требуется понять, что постулаты и методы этих наук (за исключением того, что касается материального описания) неприменимы к объектам культуры, потому что в последних точное, позитивное — то, что действительно существует и наблюдается, — это свобода и интенциональность, свободное изобретательство, творчество и принятие, обусловленные только направленностью к определенной цели. В явлениях природы, несомненно, следует искать внешнюю необходимость, или *причинность*; в явлениях культуры, напротив, следует искать внутреннюю необходимость, или *целенаправленность*. Следовательно, при действительно позитивной (а не «позитивистской») концепции речевой деятельности необходимо помнить и постоянно иметь в виду, что язык принадлежит к сфере свободы и целенаправленности и что поэтому языковые факты не могут интерпретироваться и объясняться в причинных терминах.

3.1.2. В связи с этим следует подчеркнуть, что речь идет не о противопоставлении двух подходов к фактам, например «идеализма» (или, хуже, «спиритуализма») и «позитивизма», или двух одинаково возможных (или одинаково спорных) точек зрения<sup>24</sup>, а о противопоставлении *двух* совершенно различных *рядов фактов*. Точно так же необходимо заметить следующее: если даже утверждать (в метафизическом плане), что факты свободы могут быть в конечном счете сведены к ряду необходимости (или наоборот), то это не снимет различия данных фактов и их различного восприятия человеком, что требует разных точек зрения и разных методов исследования и объяснения.

<sup>24</sup> В лингвистике самые бессмысленные утверждения часто оправдываются тем, что они соответствуют «концепции» их авторов, как будто все концепции хороши, а истина — это только вопрос мнения. Это очень плохой способ рассуждения. Истинность утверждения должна определяться соответствием фактам действительности, а не просто предпосылкам, которые могут быть ошибочны или абсурдны. Утверждению относительно человеческой реальности следует противопоставлять не просто заявление «я считаю так» или «я считаю не так», а только «*это так*» или «*это не так*».

3.1.3. Требование различать оба ряда фактов совершенно отчетливо выступает даже у такого убежденного блумфилдианца, как Ч. К. Фриз. Этот пронизательный ученый справедливо замечает, что необходимое стремление к объективности часто приводит к пренебрежению различием между явлениями культуры и явлениями природы: «Однако мы не можем считать, что современная лингвистическая наука является завершенной. В самом деле, некоторые из нас чувствуют, что в научном стремлении к истинной объективности лингвисты не всегда осознают существенное различие между их наукой и так называемыми естественными науками»<sup>25</sup>. Критикуя в неявной форме бихевиоризм и всю механистическую концепцию, Фриз подчеркивает, что изучать физические факты языка еще не означает изучать язык: «Мы можем изучать гласные звуки многими научными методами, мы можем сфотографировать колебания, из которых эти звуки складываются, мы можем тщательно анализировать мускульные движения, которыми они производятся. Однако при этом мы не изучаем фактов языка, если только наше исследование этих звуков не включает изучения реакций, вызываемых этими звуками у членов языкового коллектива. Не существует языка вне говорящих и вне их деятельности в плане выражения»<sup>26</sup>. Требование, выдвинутое Фризом, подсказано желанием понять гуманитарную природу языка: «Удовлетворяющая нас наука о языке не может, таким образом, ограничиться так называемыми объективными фактами, внешними физическими стимулами; она должна, в конце концов, рассматривать эти объективные факты с точки зрения функционирования языка в человеческом коллективе»<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> «The teaching of English», стр. 106.

<sup>26</sup> Там же, стр. 107. Ср. Н. Р а u l, Prinzipien, стр. 36: «Кто рассматривает грамматические формы изолированно, вне их отношения к индивидуальной духовной деятельности (Seelentätigkeit), никогда не придет к пониманию развития языка». Это утверждение столь же истинно в настоящее время, как и в тот момент, когда оно было написано, особенно если понимать термин «духовная деятельность» как деятельность сознания и освободить его от всякого излишнего психологизма.

<sup>27</sup> «The teaching», стр. 108. Мы привели обширные цитаты; однако данную работу следовало бы цитировать целыми страницами как в силу ее ценности, так и потому, что она написана в той научной среде, где так расцвел механистический догматизм и где один весьма авторитетный ученый (J. W h a t m o u g h, «Word», XII, стр. 293) дошел до того, что стал рассматривать проникновение «гуманитарности» в лингвистику (т. е. в науку о человеке) как опасную «заразу». Интересно отметить также, что Фриз («Teaching», стр. 112) относит динамику языков к интеллектуальным усилиям необходимого для анализа повседневного опыта: «Опознание новых отношений, новых сходств, новых различий постоянно фиксируется в отклонениях от языкового узуса». Ср. замечания Бреая (III, сн. 67). Критику лингвистического механицизма можно найти в «Forma у sustancia», стр. 14—21. Здесь мы ограничимся лишь указанием на то, что нет никакого основания считать «объективным» (межсубъективным) только чувственное, поскольку ощущение чисто субъективно и чувственное дается только как *чувствуемое кем-либо*, точно так же как мысленное дается как *мыслимое кем-*

3.2.1. Если признать, что имеется существенное различие между миром природы и миром культуры, и правильно понимать, *что* представляет собой языковое изменение, то становится очевидным, что «причины» изменения, воспринимаемые как внешние и необходимые действенные причины, никогда не будут найдены; более того, искать их бесполезно и абсурдно, поскольку их не существует. Разумеется, языковые изменения *мотивированы*; однако мотивировку их следует относить не к плоскости необходимости — «объективной» или «естественной» причинности, а к плоскости целенаправленности — «субъективной» или «свободной» причинности. Речь — это свободная и целенаправленная деятельность, и как таковая она не имеет внешних или естественных причин. Следовательно, таких причин не может иметь и изменение, представляющее собой формирование языка посредством речи. Что касается конкретных языков, то они существуют лишь как определенные формы речи, создающиеся и продолжающиеся в качестве совокупности языковых навыков. Следовательно, никакой внешний фактор не может воздействовать «на язык», минуя свободу и интеллектуальную деятельность говорящих. «Причины» изменения нельзя обнаружить также и в самом «языке», понимаемом как языковая традиция, поскольку традиция — это определенное «состояние вещей», с которым имеет дело языковая свобода говорящих; это рамки, образованные историческими условиями, в пределах которых говорящие могут действовать целенаправленно. Поэтому традиция не может быть причиной какого-либо последующего состояния (или может быть лишь неопределяющей причиной — «материальной причиной», ср. 3. 2. 4). Вообще, когда в отношении между «состояниями» А и В вмещивается свобода, мы не можем установить между этими состояниями причинной связи с точки зрения естественных наук. Состояние А не есть определяющая «причина» состояния В: А — это *обстоятельство*, условие, которым располагает свобода или с которым она

---

либо. Что касается «сообщаемости», то мысленное столь же сообщаемо, как и чувственное, и даже больше, поскольку, чтобы сообщить чувственное, мы должны сначала его помыслить. Основательную критику бихевиоризма можно найти у W. K ö h l e r, Gestalt Psychology, исп. перев. «Psicología de la forma». В. Aires, 1948, стр. 25 и сл. См., кроме того, уже цитированную статью Н. J. P o s, Phénoménologie et linguistique.

сталкивается, а В — это не «результат», определенный состоянием А, а новое условие, созданное самой свободой, в частности перестройка состояния А. Итак, в языке нет ни действенных «причин» изменения (поскольку единственной действенной причиной является свобода говорящих), ни его «оснований» (поскольку эти основания всегда зависят от целенаправленности). Языку присущи лишь обстоятельства, «инструментальные» (технические) условия, в пределах которых действует языковая свобода говорящих; которые она использует и одновременно изменяет в соответствии с потребностями выражения. Даже сами «слабые точки» системы, т. е. технические недостатки традиционного инструмента по отношению к новым потребностям выражения, являются не «причинами» изменения, а проблемами, с которыми сталкивается языковая свобода и которые ей приходится решать в процессе воссоздания самого «инструмента». Поэтому можно и должно не искать естественных или, во всяком случае, внешних по отношению к свободе причин изменения, а *объяснять* с точки зрения целенаправленности то, что уже создано благодаря языковой свободе говорящих в тех или иных исторических условиях. Кроме того, следует выяснять, каким именно образом созданное косвенно определяется (ограничивается) — как необходимость и возможность — недостатками или возможностями языка, предшествующего изменению.

3.2.2. Еще до «телеологических» — скорее, чем «целевых», — объяснений пражских фонологов (ср. 4.1.2. и 5. 1) А. Марти и его ученик О. Функе понимали, что языковое изменение мотивировано определенной целенаправленностью; именно в связи с этим оба ученых говорили о «нашупывающем выборе» («tastende Auslese»). От них эту идею воспринял А. Фрей<sup>28</sup>; он упоминает о слепой целенаправленности, которая действует «бессознательно»: «Само собой разумеется, что подобные явления осуществляются, вообще говоря, бессознательно и несистемно. Целенаправленность, которую мы постулируем, в большинстве случаев бывает неосознанной и эмпирической; говорящий действует как бы в темноте и ощупью»<sup>29</sup>. Однако таким образом затемняется само понятие целенаправленности. Это происходит, безусловно, потому, что целенаправленность рассматривается со стороны ее отражения в межиндивидуальном языке, в «языке-посреднике», тогда как в собственном и настоящем смысле целенаправленность следует понимать как нечто присущее каждому индивидуальному акту создания (принятия) нового языкового факта. В межиндивидуальном языке целенаправленность

---

<sup>28</sup> «La grammaire des fautes», стр. 20 и сл.

<sup>29</sup> Там же, стр. 23.

действительно неоднородна и затемнена, поскольку тут всегда и притом одновременно сосуществуют еще не замещенные старые языковые элементы и результаты многочисленных актов изменения, ориентированных на разные цели, различных тенденций к инновации, которые не обязательно действуют в одном и том же направлении. Точно так же нельзя считать целенаправленность «бессознательной» (ср. III, 3.2.2): единственное, что верно в данной противоречивой формулировке, — так это то, что, за исключением специальных случаев (нормативная деятельность академических учреждений, сознательная разработка новых литературных языков, создание терминологии и т. д.), целенаправленность проявляется стихийно и непосредственно в связи с определенной потребностью выражения, а не как сознательное намерение изменить межиндивидуальный язык<sup>80</sup>.

3.2.3. Особую позицию по отношению к проблеме языкового изменения занял А. Мартине в своей известной работе по диахронической фонологии, которая открыла новую эру в изучении внутренних условий звуковых изменений<sup>81</sup>. Мартине в явной форме отказался решать, идет ли речь о целенаправленности или о причинности. «Важно, — пишет он, — не наклеивать на явление определенные ярлыки, а наблюдать и правильно интерпретировать процессы»<sup>82</sup>. Однако решить, идет ли речь о целенаправленности или о причинности, — это не означает наклеивать ярлыки на явления, это означает интерпретировать их — правильно или неправильно. Мартине считает, что, уклоняясь от данной проблемы, он утверждает независимость лингвистики от философии, однако такая независимость невозможна и настаивать на ней бессмысленно. Кроме того, несмотря на то что Мартине исповедует агностицизм, сам он как раз и наклеивает ярлыки, ибо говорит о «причинах» и о «внутренней причинности» (а это неадекватные ярлыки, поскольку их интерпретации, как и вообще все функциональные интерпретации, в действительности связаны с целенаправленностью). Более того, Мартине утверждает, что «знание организуется в рамках причинности»<sup>83</sup>, что верно только для физических наук (ср. 3.1.1), и даже формулирует несколько критических замечаний по поводу понятий целенаправленности: «Именно здесь было бы полезно применить немного «общей семантики» в духе Кожибского: ясно, что термины «целенаправленность» и «телеология» неодинаково понимаются теми, кто их употребляет; эти термины окрашены слишком эмоционально, чтобы их стоило использовать в научной дискуссии»<sup>84</sup>. Ссылка на Кожибского у такого серьезного и авторитетного ученого, как Мартине, вызывает сожаление; Кожибский ни для кого не может служить поддержкой, поскольку его теория крайне слаба и сама нуждается в

---

<sup>80</sup> Мартине («*Économie des changements phonétiques*», стр. 45) полагает, что постановка проблемы в терминах целенаправленности оказалась губительной для работы Фрея. По нашему мнению, этой работе повредили лишь недостаточная ясность и нерешительность в указанной постановке проблемы.

<sup>81</sup> «*Économie*», стр. 17—18.

<sup>82</sup> Там же, стр. 18.

<sup>83</sup> Там же, стр. 19.

<sup>84</sup> Там же, стр. 18.

помощи <sup>35</sup>. Что касается утверждения, будто те, кто употребляет термин «целенаправленность», понимают его неодинаково, то из него не следует, что этот термин необходимо устранить из науки (где его употребляли в более возвышенном плане такие ученые, как Аристотель и Кант): истина не устанавливается *consensu omnium*. То же самое можно сказать и о понятии 'причины'. Нет оснований полагать, что понятие 'целенаправленности' имеет «более эмоциональную окраску» или более расплывчато, чем понятие 'причины'; наоборот, можно утверждать, что оно является более точным, поскольку оно более ограничено.

3.2.4. В самом деле, целенаправленность является одним из типов мотивировки, и поэтому она подходит под общее понятие 'причины', поскольку «причина» — это 'все то, из-за чего нечто производится (начинает быть), изменяется или аннулируется (перестает быть)'. Аристотель, как известно, различает четыре «причины»: то, что делает или производит нечто (агент как таковой: *непосредственно действующий фактор*, или *действенная причина*); то, из чего делается нечто (*материя*, или *материальная причина*); идея того, что делается (*сущность*, или *формальная причина*) и то, ради чего делается нечто (*причина-цель*) <sup>36</sup>. Таким образом, целенаправленность (причина-цель) — *это одна из причин*, а именно такая причина, которая может существовать, лишь если «непосредственно действующий фактор» является существом, обладающим свободой и интензивностью. Разумеется, в таком смысле можно говорить, что языковое изменение имеет «причины», поскольку с этой точки зрения оно имеет все четыре аристотелевские мотивировки: новый языковой элемент создается кем-то (действенная причина), из чего-то (материальная причина), с идеей того, что делается (формальная причина), и *для чего-то* (причина-цель). Когда мы говорим, что языковое изменение «не имеет причин», то понимаем под этим следующее: языковое изменение не имеет причин в смысле естественных наук, т. е. вне материальной стороны оно не имеет «объективных», естественных причин, внешних по отношению к свободе говорящих. Мы возражаем не против употребления термина «причина», которое само

<sup>35</sup> По поводу несообразностей и коренной порочности самонадеянной «доктрины» Кожибского и его «неосемантической» секты см. «*Logicismo y antilogicismo*», стр. 6—7; M. B l a c k, *Language and philosophy*, итал. перев. «*Linguaggio e filosofia*», Milano, 1953, стр. 279—309; M. S c h l a u c h, *The gift of tongues*<sup>2</sup>, London, 1949, стр. 130 и сл.

<sup>36</sup> «*Physica*», II, 3<sup>и</sup>—II, 7.

по себе законно, а против смысла, который этому термину придается, и против стремления рассматривать в качестве определяющих причин обстоятельства, причинами не являющиеся: мы видим, что в языке ни один факт полностью не определяет сущности другого следующего за ним факта, и считаем целесообразным последовательно отличать сферу *свободы* от сферы *необходимости*. В современном виде это различие принадлежит Канту; однако уже Аристотель неоднократно подчеркивал, что объяснение с точки зрения целенаправленности есть объяснение особого типа. Так, Аристотель указывал, что именно целенаправленность является всегда определяющим фактором, *основанием*, в силу которого «непосредственно действующий фактор» делает то, что он делает: 'во всем, где есть какая-либо цель, предыдущие и последующие члены производятся в соответствии с этой целью'<sup>77</sup>; далее Аристотель добавляет, что 'всегда, когда есть какая-либо целенаправленность, вещи не существуют вне определенных необходимых условий, но они, за исключением материальной стороны, существуют и не *из-за* этих условий'<sup>78</sup>. Для иллюстрации Аристотель приводит следующий пример: без материала и без определенных внешних условий нельзя было бы построить дом, однако материал и эти условия не являются *причиной существования* дома. Аналогично этому и языковые изменения осуществляются обычно в определенных условиях, но они осуществляются не *из-за* этих условий. Языковые факты существуют потому, что говорящие создают их *для чего-то*; они не являются ни «продуктами» физической необходимости, внешней по отношению к самим говорящим, ни «неизбежными и необходимыми следствиями», обусловленными предшествующим состоянием языка. Единственное собственно «причинное» объяснение нового языкового факта состоит в том, что он был создан говорящими для определенной цели. Все остальные объяснения относятся к материальной стороне изменений и к условиям, в рамках которых действовала языковая свобода индивидуумов, вводивших и принимавших инновации.

3.3.1. В связи с этим невозможно сослаться ни на какой общий принцип физического порядка, ни даже на старый принцип «наименьшего усилия», введенный в науку

---

<sup>77</sup> Там же, II, стр. 8.

<sup>78</sup> Там же, II, стр. 9.

о человеке эмпириокритиком Авенариусом, а в наши дни слегка подновленный (в бихевиористском духе) и вновь пущенный в обращение Дж. Ципфом<sup>39</sup>. Говорящий всегда предпринимает все необходимые «усилия», чтобы достичь стоящей перед ним цели — выразить и сообщить то, что ему нужно; слушающий также создает для себя («изучает») язык, в котором он нуждается. Конечно, этот принцип можно интерпретировать и как принцип «инструментальной экономии»<sup>40</sup>, т. е. как принцип разумного использования и создания средств выражения. Однако тогда речь будет идти о принципе практической целесообразности<sup>41</sup>, который может повести как к наименьшему «усилию», т. е. к эффективному использованию старых средств, так и к наибольшему «усилию», т. е. к созданию новых средств выражения<sup>42</sup>. В действительности с этой точки зрения относительно изменения можно сказать следующее: языко-

---

<sup>39</sup> «Human behavior and the principle of least effort», Camb-ridge (Mass.), 1949.

<sup>40</sup> Так понимает этот принцип Мартине (A. Martinet, Function, стр. 26). Ср. также «Economie», стр. 94 и сл. и «Old sibilants», стр. 138: «Разумеется, «гармоническая» фонологическая модель — это фактически не что иное, как экономная модель». Соссюр, напротив, имел в виду усилие в буквальном смысле, т. е. артикуляторное усилие, и допускал, что так называемый «закон наименьшего усилия» «может в известной степени пролить свет на причину изменения» (CLG, стр. 242).

<sup>41</sup> Вводить при рассмотрении речевой деятельности принцип, практический по своему характеру, не означает приписывать ей практическую целенаправленность. Речевая деятельность сама по себе характеризуется не практической, а *познавательной* (смысловой) целенаправленностью, поскольку она, по определению Аристотеля, есть *семантический логос*. Речь, хотя и может иметь практическую целенаправленность, не обязана иметь ее, поскольку в зависимости от ситуации речь может выступать как *апофантический, фантастический* или *прагматический логос*; см. «Logicismo у antilogicismo», стр. 7, 13. Однако использование «языка» (языковых навыков) — это акт практического характера, как и использование любой техники. Практический характер носит также «создание» нового элемента языка ради будущих актов выражения, т. е. *принятие* создания в собственном смысле слова.

<sup>42</sup> Поэтому неприемлемо утверждение Мартине («Function», стр. 26), что эволюцию языка можно понимать как «движение, регулируемое постоянным противоречием между потребностями человека выразить то, что ему надо, и его стремлением свести умственные и физические усилия к минимуму» (ср. также «Economie», стр. 94). В творческой интеллектуальной деятельности это стремление не наблюдается; в этой области «экономить» не означает «сводить к минимуму».

вая свобода эффективно использует язык и стремится сохранить его эффективность. В силу этого она может: а) создать новые средства выражения в пределах разрешенного системой (случай вульгарнолатинских палатальных); б) отказаться от того, что с функциональной точки зрения оказалось практически бесполезным (оглушение dz, z, ž в испанском); в) усилить функционально необходимые различия (переход j в x в испанском). В двух последних случаях мы видим, как одна и та же коммуникативная цель может воздействовать как в положительном, так и в отрицательном смысле — всегда в соответствии с определенной *потребностью выражения* (разумеется, последняя включает и отсутствие потребности).

3.3.2. Таким образом, принцип «инструментальной экономики», по сути дела, является принципом целенаправленности. Однако, учитывая связанные с ним механистические ассоциации, целесообразно заменить его *принципом технической эффективности*, или, лучше, *общим принципом потребности выражения*: в языке различительное должно различать, а смысловое должно различаться и передавать смысл. Если различительное (фонемы) не служит для различения (оказывается бесполезным), то различие стирается, а если это различие полезно, но различители неспособны его осуществить, то они изменяются. Если одно означающее не отличается от другого означающего с иным означаемым, а необходимо, чтобы эти означающие различались, то одно из них изменяется или заменяется; когда означающее перестает означать (например, если утрачивается значение обозначаемой вещи), оно исчезает; если появляется новое означаемое, то создается также и новое означающее. При этом, разумеется, нельзя забывать, что означающие могут различаться во многих отношениях, а не только по своему фонемному составу (ср. IV, сн. 15)<sup>43</sup> и что традиционная норма в течение длительного времени может сохранять функционально избыточное<sup>44</sup>.

<sup>43</sup> А. Мартине («Ésopomé», стр. 183) доказывает также на примере отдельных фактов современного французского языка, что на практике омонимические конфликты наблюдаются гораздо реже, чем в теории.

<sup>44</sup> Так, например, как уже отмечалось в «Forma y sustancia», стр. 52, в испанском языке Уругвая звонкость, вопреки мнению Гитарте (G. G u i t a r t e, El ensordecimiento, стр. 275), не является функциональным признаком фонемы /ž/. Однако большинство говорящих реализует эту фонему как [ž] не в силу необходимости

3.4.1. Следовательно, языковое изменение имеет действительно одну *действенную причину* — языковую свободу говорящих и одно *универсальное основание* — экспрессивную (и коммуникативную) целенаправленность. Далее, изменения обычно осуществляются при определенных обстоятельствах и в соответствии с определенными закономерностями, которые можно классифицировать по типам экспрессивной целенаправленности. Установить *общие типы* этих обстоятельств, закономерностей и целей — задача исследования языковых изменений, посвященного «уровню общих понятий». Наконец, в собственно историческом плане всегда приходится иметь дело с конкретной *целевой установкой* определенных говорящих, которая имеет место в исторически определенных обстоятельствах.

3.4.2. Целенаправленность в качестве «субъективной причинности» может быть познана (*опознана*) только субъективно, посредством внутреннего опыта, поскольку речь не идет о факте, который может наблюдаться во внешнем мире. Таким образом, вопросом, который следует ставить в каждом конкретном случае, будет не вопрос «почему [в силу каких эмпирически объективных обстоятельств] произошло то или иное изменение?», а вопрос «зачем [с какой целью] я, располагая определенной системой и находясь в определенных исторических обстоятельствах, изменил бы А в В, отказался бы от элемента С

---

различать какие-либо формы, а просто из желания сохранить верность традиции. Гитарте считает, что звонкость /ž/ следует считать релевантной ради симметрии с остальной системой (например, с противопоставленным p-b-f). Однако он впадает в порочный круг: симметричность системы устанавливается в силу действительной функциональности таких противопоставлений, как p-b-f, а затем на основе симметрии устанавливается несуществующая функциональность. Релевантность признака — это первичный факт, который не может быть выведен из симметрии системы, а должен подтверждаться действительными противопоставлениями. Но уругв. /ž/ не противопоставлено фонеме /ʃ/; следовательно /ž/ занимает в системе «несимметричное» место, или, если угодно, /ž/ занимает по отношению к /č/ как место /ž/, так и место\* /ʃ/. Этим и объясняется тот факт, что звонкость (не являющаяся различительной) часто утрачивается, что несколько не вредит взаимопониманию. Далее, поскольку в фонологической системе уругвайского испанского нет противопоставления /ž/—/ʃ/, то говорить, что эта система имеет «пустую клетку» или что звонкость для фонемы /ž/ нефункциональна, с точки зрения реальности языка, совершенно *одно и то же*.

или создал бы элемент D?»<sup>45</sup> Далее, так не только *следует* поступать; в действительности, несмотря на терминологию причинных объяснений, так поступали и так поступают во всех случаях, когда проблема того или иного конкретного изменения ставится осмысленно и в основном правильно. Дело тут не просто в переосмыслении терминов; объективные обстоятельства (системные и внесистемные) не являются и не могут являться *основанием* для изменения, которое сможет «полностью объяснить его»; эти обстоятельства, не будучи определяющими причинами, не становятся даже «условиями изменения», если изменение не осуществляется, если в дело не вмешивается причина-цель (как в примере Аристотеля — ср. 3.2.4, — где материально необходимые условия постройки дома не становятся материальными причинами дома, прежде чем определенная целенаправленность не сделает их таковыми). Следовательно, необходимо не только отвергнуть различие между «активными» и «пассивными» факторами, как это делает Мартине<sup>46</sup>, но и подчеркнуть, что факторы, связанные с обстоятельствами изменения, все «пассивны» и сами по себе «нейтральны» (ср. IV, 2. 1. 1). В конкретном плане они становятся «факторами изменения» благодаря наличию определенной цели выражения, а не наоборот. Конечно, именно несовпадение объективных обстоятельств и новых потребностей выражения делает явной необходимость изменения; однако определяющим принципом, *основанием* для изменения является всегда некая целенаправленность,

---

<sup>45</sup> Целевые объяснения формально представляют собой «круг» (ср. V, 4.2.4); отсюда необходимость обосновывать их иначе, по возможности внеязыковыми факторами. По той же причине последовательный объективист в лингвистике не может даже ставить проблему изменения: ведь подлинные основания изменений не могут наблюдаться как факты внешнего мира. Таким образом, следует заметить, что целевые объяснения связаны с риском (ср. 3.4.3). Однако это еще не позволяет прибегать к внешним или механистическим объяснениям, которые не дают нам никаких полезных сведений. Кроме того, точно так же дело обстоит не только с изменениями, но и со всеми языковыми фактами, сущность которых может быть понята только посредством внутренней интерпретации. Вообще, даже если адекватный метод связан с риском, из-за одного этого его не следует заменять методом неадекватным по определению. Это было бы равносильно предложению взвешивать романы, чтобы определить их качество, под тем предлогом, что эстетический метод допускает ошибочные оценки.

<sup>46</sup> «Ecopotie», стр. 19—20.

а не состояние вещей, которое наблюдается при этом. Даже в случае 'слабых точек' системы изменение происходит *не потому*, что эти точки имеются, а *для того, чтобы* преодолеть их; две фонемы, реализации которых совпадают (но которые необходимо различать), изменяются *не потому*, что они смешиваются, а *для того, чтобы* сохранилось различие между ними. И только потому, что языковая свобода — это не произвол и не прихоть, точнее, потому, что «случайные» инновации, не соответствующие определенной внутрисистемной или культурной ситуации общего характера, не имеют шансов распространиться (ср. III, 4. 3 и V, 2. 4. 4), эти факторы обретают — в плоскости общих понятий — смысл, как «условия, в рамках которых языковая свобода обычно изменяет язык».

3.4.3. Все это, разумеется, не означает, что любое целевое объяснение обязательно бывает точным. То или иное целевое объяснение (например, наше собственное объяснение романского будущего) может быть спорным и даже ошибочным, но отсюда не следует, что ошибочен сам принцип объяснения. Напротив, настоящие причинные и механистические объяснения «бесспорны». Однако не потому, что они верны, а потому, что в конкретном плане их даже невозможно обсуждать: они лишены смысла, поскольку само их основание ошибочно<sup>47</sup>.

4.1.1. Все, что было сказано до сих пор, позволяет более точно оценить вклад структурализма в постановку и решение проблемы языкового изменения. Еще несколько лет тому назад Пальяро, касаясь внутренней сложности данной проблемы, писал, что, 'очевидно, представители структуральной лингвистики не проявляют достаточного интереса к постановке этой проблемы и ее решению'<sup>48</sup>. Возникает вопрос, каков подлинный смысл этого утверждения, если считать, что для Пальяро — одного из самых тонких и глубоких лингвистов нашей эпохи, соединяющего обширнейшую эрудицию с оригинальной философской концепцией и правильным критическим пониманием самых различных точек зрения, — разумеется, не остался неизвестным интерес структурализма к языковому изменению.

---

<sup>47</sup> Это, однако, не относится к функциональным объяснениям, которые в действительности являются целевыми, хотя авторы, предлагающие их, часто предпочитают называть их «причинными». Действительно механистическими являются, например, так называемые «физиологические» объяснения, которые на самом деле ничего не объясняют (ср. V, 1.3.1).

<sup>48</sup> «Il segno vivente», стр. 120.

4.1.2. Вся история структурализма показывает, что структуралистам далеко не чужд интерес к постановке проблемы изменения. В самом деле, первый манифест структуральной диахронии содержится уже в докладе, представленном в 1928 г. Р. Якобсоном, С. Карцевским и Н. Трубецким на конгрессе лингвистов в Гааге<sup>49</sup>, в котором структуральная интерпретация звуковых изменений является одним из пунктов программы новой фонологии. Вслед за этим историческим докладом началось бурное развитие диахронической фонологии<sup>50</sup>.

4.1.3. Верно, что многие направления структурализма были и остаются чуждыми проблеме изменения<sup>51</sup> и что в ряде структуральных исследований предлагаются не новые принципы объяснения, а скорее принципы простой классификации и переформулирования объяснений звуковых изменений в структуральных терминах<sup>52</sup>. Однако верно также и то, что ряд структуралистов, особенно группа, которую можно назвать «французским ответвлением» Пражской школы, занялась структуральным объяснением звуковых изменений и задачей устранения, по крайней мере в этой области, сосюрловской антиномии между синхронией и диахронией.

4.2.1. Диахронический структурализм сумел эмпирически установить, или, как говорят, «открыть», или «дока-

<sup>49</sup> «Actes du premier Congrès», стр. 33—36. См. также доклад Н. Трубецкого «Les systèmes phonologiques envisagés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec la structure générale de la langue» в «Actes du Deuxième Congrès International de Linguistes», Paris, 1933, стр. 120—125 (особенно стр. 124).

<sup>50</sup> A. J u i l l a n d, A bibliography of diachronic phonemics, «Word», IX, 1953, стр. 198—208.

<sup>51</sup> См. A. M a r t i n e t, Économie, стр. 13—15. Это объясняется теоретическими и методологическими основами упомянутых направлений. В самом деле, последовательные блумфильдагцы не в состоянии приступить к объяснению языкового изменения, не порвав со своей механистической философией, поскольку причины изменения не могут наблюдаться как явления внешнего мира (ср. сноску 45). Что касается глоссематики, то понимание языков как математических (т. е. вневременных) объектов лишает ее всякой перспективы не только в понимании изменения, но и вообще в понимании историчности речевой деятельности (ср. VII, 2.3).

<sup>52</sup> Таковы, например, две основные американские работы: A. A. H i l l, Phonetic and phonemic change, «Language», XII, 1936, стр. 15—22; Н. М. Н о e n i g s w a l d, Sound change and linguistic structure, «Language», XXII, 1946, стр. 138—143. То же самое можно сказать и об уже упоминавшихся «Prinzipien» Р. Якобсона; см. A. M a r t i n e t, Économie, стр. 46.

зять» с помощью фактов логическую необходимость, или взаимозависимость, звуковых изменений в языке, т. е. динамическую солидарность фонологических систем (в этом отношении работам структуралистов предшествовали лишь отдельные замечания и догадки ряда ученых, в первую очередь Г. Пауля; см. IV, 4, 5. 3)<sup>63</sup>. Дiachронический структурализм показал, что звуковые изменения объясняются системно — в смысле их «обусловленности» функциональной системой языка. Это значит, что он определил, по крайней мере частично, как именно языковая свобода, направляемая определенной целью — потребностями выражения (а не «причинами») и обусловленная извне, т. е. введенная в определенное русло некоей культурно-исторической (а не естественной) необходимостью, в рамках системы взаимодействует с традицией и обновляет ее или, короче, как именно создается язык. Таким образом, структурализм, исходя из строго статического понимания языка как ἔργον, подошел к пониманию языка как исторической δύναμις определенной ἐνέργεια, — δύναμις, которая преодолевает эту ἐνέργεια и постоянно перестраивает ее (ср. II, 2.2)<sup>64</sup>; с точки зрения чисто синхронного описания структурализм приближается к истории, что, безусловно, зависит от самой природы объекта «язык» (ср. I, 3.1).

4.2.2. На том, как структурализм поставил проблему изменения, сказались два основных порока, связанные с его натуралистскими пережитками. Во-первых, мы имеем

---

<sup>63</sup> См. также O. Jespersen, *Language*, стр. 298: «Следует — насколько это возможно — не только рассматривать каждое звуковое изменение в связи с другими звуковыми изменениями, происходящими в один и тот же период в одном и том же языке, но и исследовать в каждом конкретном случае воздействие звукового изменения на речь как целое». В список предшественников диахронического структурализма необходимо, кроме того, включить и А. Мейе, который еще в 1925 г. употреблял выражение «пустая клетка фонетической системы» («La méthode comparative», стр. 99), и П. Пасси, которого упоминает Мартин («Économie», стр. 42—44).

<sup>64</sup> Часто полагают, что всякое структуральное исследование должно основываться на рассмотрении языка как ἔργον и что концепция речевой деятельности как ἐνέργεια обязательно предполагает «диахронию» и «атомизм». Нет ничего более ошибочного: языковые структуры вполне могут изучаться как динамические структуры. Кроме того, ἐνέργεια не означает просто движения и изменения. Есть много вещей, которые развиваются и изменяются и тем не менее не имеют ничего общего с ἐνέργεια в собственном смысле этого слова (ср. II, 2.2).

в виду смешение общей эмпирической проблемы изменений и логической проблемы изменчивости языков, т. е. допущение, будто многочисленные частные объяснения могут помочь решить, «почему изменяются языки». На самом же деле это не так, поскольку, как мы видели, это проблема другого порядка и другого характера. Во-вторых, речь идет об ошибочном мнении, будто по-прежнему ставится позитивистская проблема «причин», в то время как в действительности ставится проблема общих условий и обстоятельств изменений, т. е. проблема обобщенной и формализованной истории<sup>55</sup>. Таким образом, проблема, относящаяся к плану свободы, переносится в план необходимости и внешней причинности.

4.2.3. Это последнее, если выйти за рамки чистой терминологии, приводит к серьезному риску впасть в детерминизм системы, которая якобы развивается сама по себе и необходимым образом, следуя только внутренним импульсам<sup>56</sup>. Это своеобразный «мистицизм системы», который в своих крайних формах еще опаснее, чем мистицизм «народа-творца». Поскольку невозможно найти первого творца инновации, в известном смысле оправдано приписывание культурных фактов «народу» в целом (так как в самом деле все индивидуумы, принимая эти факты, в некоторой степени творят их). Полагать же, что система содержит в себе «необходимые причины» своего дальнейшего развития, абсурдно, что понимал уже Соссюр (ср. VII, 1.1.2 и сн. 10). Система — это нечто, с чем должна считаться языковая свобода, поэтому изменение определяется в первую очередь и внутренним образом — целью, связанной с потребностями выражения, а во вторую очередь и извне (но *в то же самое время*) — возможностями, преде-

---

<sup>55</sup> Против интерпретации структурных условий как причин выступил Э. Германин, сформулировавший свои возражения в отчетливых терминах (E. H e r m a n n в Actes du Deuxième Congrès, стр. 129): «Фонология совершает методологическую ошибку, считая, что некоторые звуковые изменения обязательны. Ведь фонология работает лишь с условиями изменений, в то время как изменение в языке может произойти только тогда, когда при определенных условиях, возникших в сознании говорящего или в окружающем мире, становятся действительными духовные силы мышления, чувства и воли».

<sup>56</sup> А. Бюрге (A. B u r g e r, Phonématique, стр. 19) справедливо замечает, что в противоположность младограмматикам для диахронической фонологии «не эволюция должна объяснять систему, а система должна объяснять эволюцию».

лами и недостатками системы, традиционной языковой техники.

4.2.4. Системный детерминизм может приводить к любопытным эмпирическим иллюзиям, например к стремлению объяснить в определенный момент внутренней необходимостью системы материальную сторону факта, который уже существовал в языке до этого момента и, следовательно, не нуждается в подобном объяснении. На возможность такой иллюзии фактически обращает внимание Р. Менендес Пидаль, когда вновь рассматривает проблему палатализации *-ll-* в леонском, кастильском и арагонском диалектах, а также в каталонском языке<sup>57</sup>. Мартине объяснил дистрибуцию фонем *l* и *λ* в испанских диалектах с внутренней, структурной точки зрения<sup>58</sup>. Однако Менендес Пидаль, не отрицая этого объяснения — в том, что касается функционального обоснования фактов (и в этом он глубоко прав; стр. 4.2.5), — связывает испанские согласные с соответствующими согласными в современных диалектах Южной Италии и показывает, что рассматриваемое явление не возникло как материальный факт в испано-романском языке, а восходит к диалектному «лямбдацизму» латыни<sup>59</sup>.

4.2.5. В вопросах методологии Менендес Пидаль идет еще дальше и противопоставляет историческое объяснение объяснению структуральному. Это противопоставление — в тех терминах, в каких оно сформулировано, — нельзя принять безоговорочно. В самом деле, Менендес Пидаль не просто отвергает структуралистскую аксиому, согласно которой всякое изменение должно объясняться прежде всего с «внутренней точки зрения» (с точки зрения системы, в которой оно происходит), а противопоставляет этой аксиоме справедливое замечание, что «объяснения, основанные на структурально-системном подходе к языку, столь же гипотетичны, как и любые другие, и у нас нет оснований рассматривать их в качестве гипотез первой необходимости или большей правдоподобности». Он считает нужным «перевернуть» саму аксиому: «При изучении языкового изменения необходимо сначала исследовать имеющиеся возможности исторического объяснения и, лишь когда этих возможностей станет недостаточно, начать рассматривать основания изменения, которые можно найти в структурной организации данного языка»<sup>60</sup>. Именно

<sup>57</sup> «A propósito de *l* y *ll* latinas. Colonización suditálica en España» в «Boletín de la Real Academia Española», XXXIV, 1954, стр. 165—216.

<sup>58</sup> «Celtic lenition and Western Romance consonants», «Language», XXVIII, 1952, стр. 192—217; воспроизведено в французском переводе «Économie», стр. 257—296, особенно стр. 275 и сл.

<sup>59</sup> Цит. статья, стр. 187 и сл.

<sup>60</sup> Там же, стр. 186—187.

это последнее и вызывает возражения. По нашему мнению, структуралистскую аксиому следует не «перевернуть», а просто отвергнуть, поскольку и в том и в другом виде она приводит к недопустимому противопоставлению «традиции» и «системы». Язык не есть сначала система, а потом традиция или наоборот; он одновременно и всегда «системная традиция» или «традиционная система». Следовательно, не учитывать какого-либо явления в языке — это означает не учитывать не только «исторический факт», но и «системный факт», это означает исходить из гипотетической, а не из исторической реальной системы, модификации которой мы намереваемся объяснить. С другой стороны, происхождение языкового факта не может раскрыть ни его последующую историю, ни изменения, которым он будет подвергаться, и наоборот: незнание происхождения (но не существования) языкового факта нисколько не задевает структурных объяснений.

Важный вывод, который можно сделать из методологических замечаний Менендеса Пидалья, гласит: не следует считать *изменением*, определенным внутренней необходимостью системы, то, что просто является сохранением традиционного элемента; иначе говоря, структурные объяснения излишни (как и любые другие), когда речь идет о языковом элементе, непрерывно сохраняющемся в одном и том же говоре, т. е. там, где не было никакого изменения<sup>61</sup>. Совсем другая проблема возникает, если изменение *имеет место*, т. е. если мы сталкиваемся с распространением языкового элемента, безразлично — старого или нового. Культурно-историческое объяснение бывает удовлетворительным лишь тогда, когда распространяется целая система (или «диалект»); однако такого объяснения недостаточно, если отдельный языковой элемент распространяется из одного говора в другие говоры, ранее его не знавшие. В этом случае (с точки зрения последних говоров) указать происхождение рассматриваемого элемента — значит только объяснить его материальную сторону и отнестись к «заимствованиям» соответствующие исходные инновации. Чтобы объяснить этот элемент и с функциональной стороны, надо показать, как именно внедряется он в структуры той системы, с которой мы имеем дело; ведь именно такое внедрение, а не начальное заимствование является изменением в собственном смысле слова (ср. V, 3.1). Недостаточно, например, указать, что такой-то элемент вульгарной латыни происходит из оскско-умбрского; необходимо также объяснить возможность его внедрения и функционирования в системе латинского. В самом деле, оскско-умбрское происхождение еще не объясняет латинский элемент *как латинский*. Дело в том, что распространение какой-либо языковой особенности не есть чисто физическое распространение, и тождество языковых фактов не может быть установлено в силу их материального сходства; наоборот, следует считать нетождественными те материально идентичные языковые факты, которые функ-

---

<sup>61</sup> Это не значит, что исторические объяснения обязательно предшествуют структуральным; однако, когда рассматривается «состояние языка», точной истории которого мы не знаем, прежде чем думать об изменении, следует подумать о сохранении. Кроме того, вообще собирание информации о фактах должно предшествовать их объяснению.

ционируют в различных системах (даже в различных диалектах одного и того же языка). Таким образом, «историческое» (или, точнее, документальное) и структурное объяснения не исключают, а взаимно дополняют друг друга: первое указывает возможное внешнее происхождение языкового факта, второе объясняет функциональное внедрение этого факта в рассматриваемую систему. Однако ни первое, ни второе не объясняют собственно изменения: между материалом и системой лежит языковая свобода говорящих, которая в условиях, определяемых данной системой, принимает этот материал, чтобы удовлетворить определенные потребности выражения.

Разумеется, сама мотивировка изменения может относиться к области культуры, однако и в этом случае необходимо объяснить внедрение изменения в систему<sup>62</sup>. Сама эта культурная мотивировка должна трактоваться как «внутренняя», т. е. она должна рассматриваться с точки зрения говора, в котором происходит изменение. И обратно: если мотивировка является «внутренней» («функциональной») в строгом смысле этого термина; ср. III, сн. 40), то для объяснения происхождения данного языкового элемента и его распространения в говорящем коллективе по-прежнему необходимо «внешнее» объяснение (ср. V, 4.2.9). Следовательно, структурные и культурно-исторические объяснения ни в коей мере не «предшествуют» одни другим: они обязательно взаимодополняют друг друга для каждого конкретного изменения.

4.2.6. В связи со сказанным интересно отметить параллелизм между проблемами истории языка и проблемами истории искусства<sup>63</sup>. Для «развития» искусства (в частности, его культурно-

---

<sup>62</sup> Наличие некоторых границ между языками, которое не удается объяснить с помощью географии, объясняется, несомненно, тем, что факты одной из двух контактирующих систем структурно недопустимы в смежной системе. Это обычное явление для смежных языков с совершенно различными структурами (например, испанский и баскский); впрочем, иногда оно может наблюдаться и между «диалектами» одного и того же языка. Языковые системы, разумеется, представляют собой «открытые» системы; однако в каждый момент своей истории они обладают определенными «непроницаемыми» зонами. Ср. Ch. F. Hockett, «Language», XXXII, стр. 467: «Язык не является ни замкнутой системой, к которой нельзя прибавить никакого нового значащего элемента, ни полностью открытой системой, в которую абсолютно свободно может быть введен любой элемент из любого другого языка (или квазиязыковой системы)».

<sup>63</sup> В лингвистике часто наблюдается тенденция искать «принципы исследования» в естественных и математических науках (хотя эти науки совершенно иной природы) или даже в таких дисциплинах с сомнительным обоснованием, как социология и психология. Находятся даже ученые, полагающие, что такие совершенно механистические дисциплины, как кибернетика или статистика, могут дать нам решение определенных теоретических, т. е. логических проблем. С другой стороны, обычно пренебрегают глубокой аналогией между проблемами лингвистики и проблемами других гуманитарных наук. Многие лингвисты, жаждущие недостижимой авто-

исторических форм) предлагались объяснения в культурно-исторических и «структуральных» терминах. Так, направление, представленное М. Дворжаком и К. Тице, рассматривает историю искусства в связи с другими формами культуры и в зависимости от общей истории культуры. Другое направление, представленное К. Фидлером, А. Гильдебрандом и Г. Вельфлином, рассматривает определенные явления искусства как независимые структуры, которые развиваются в силу внутренней необходимости<sup>64</sup>. Это направление, хотя оно и стоит на более высоком уровне, имеет явные точки соприкосновения с неудачным замыслом Брюнетьера, пытавшегося описать историю литературных жанров как «автономных организмов». У этого направления был предшественник еще в эпоху Возрождения — Дж. П. Ломадзо, который предложил историю живописи «без живописцев». Далее, еще в прошлом веке, Г. Земпер пытался построить теорию искусства, основывающуюся только на его материале. Все три попытки, помимо того, что они не объясняют явлений собственно искусства, приводят к сомнительным выводам и очевидным ошибкам. История искусства с использованием культурных объяснений приводит обычно к ошибочному представлению об искусстве (которое является важной формой культуры само по себе) как о простом отражении других форм культуры, как будто эти другие формы являются определяющими. «Структуральная» же история забывает, что формы искусства развиваются не сами по себе, и не замечает, что «обязательное» направление развития познается (и существует) лишь тогда, когда развитие уже осуществилось в действительности. Что касается Земпера, то он как натуралист считает определяющим чисто внешнее и нейтральное обстоятельство, которое не является даже «материальной причиной» искусства, до тех пор пока оно не превратится в эту причину в силу появления определенной цели (ср. 3.2.4). То же самое происходит в лингвистике. Культурно-историческая лингвистика часто ошибочно трактует язык как нечто определяемое внеязыковой культурой, забывая, что язык отражает в себе всю неязыковую культуру, а кроме того, сам является важнейшим участком культуры, со своей собственной традицией, структурой и нормами. Структуральная лингвистика впадает в каузализм и детерминизм систем, история языков строится в ней «без говорящих» и при этом упускается из виду, что «необходимое» в системе является таковым и становится действенным условием изменения лишь постольку, поскольку оно замечается и преодолевается в речевой деятельности людей. Позитивистский же историзм смешивает объяснение с эмпирическим исследованием и считает, что проблемы изменений решаются установлением материального происхождения рассматриваемых языковых элементов.

номи, с недоверием относятся к философии, которая как раз и является наукой о принципах. Таким образом, лингвистика оказывается, с одной стороны, в неуместном подчинении, а с другой — в прискорбной изоляции. Поэтому в лингвистике по-прежнему выдаются за «актуальные» многие старые проблемы, уже давно решенные или снятые, как не имеющие смысла в философии и прочих науках о человеке.

<sup>64</sup> Об этом направлении см. В. Стросе, *La teoria dell' arte come pura visibilità*, а также сноску, добавленную к указанной работе в «Nuovi saggi di estetica», Bari, 1948, стр. 235 и сл.

4.3.1. Независимо от ошибок — принципиальных или перспективных, допускаемых отдельными структуралистами, — и от трудностей, к которым ведет исключительно структуральная трактовка языкового изменения, диахроническому структурализму присущи также внутренние ограничения, обусловленные неизбежной (и необходимой) схематизацией понятий, на которой основывается любое структуральное исследование<sup>65</sup>.

4.3.2. В самом деле, по поводу языкового изменения можно поставить в общем или частном смысле несколько разумных вопросов: *где* (в какой точке системы), *как*, *когда* и *зачем* происходит изменение? Из всех этих вопросов структурализм отвечает преимущественно на вопрос *где*: в точках слабой «функциональной нагрузки», в тех точках, где система допускает значительное разнообразие реализаций, в тех точках, где «нарушено равновесие» системы (здесь имеются в виду, например, неиспользуемые признаки или неполные корреляции), и т. д. Частично структурализм отвечает и на вопрос *зачем* — в той мере, в какой речь идет о «внутренней» функциональной целесообразности, выводимой посредством сравнения двух последовательных систем; здесь всякое структурное объяснение конкретных изменений обязательно является целевым (ср. сн. 47). Однако последовательный структурализм не может ответить на вопросы, *зачем* (в плане культуры) и *когда* произошло изменение, так как это объясняется инициативой говорящих и внесистемными культурными условиями. Точно так же на вопрос, *как* происходит изменение, структурализм отвечает лишь частично. В самом деле, в силу своих исходных предпосылок структурализм игнорирует бесконечное разнообразие естественного языка. Поэтому в диахронической

---

<sup>65</sup> Эти ограничения не должны рассматриваться как «ошибки»; они означают лишь, что структуральная точка зрения должна быть дополнена другими точками зрения, также правильными и необходимыми. По нашему мнению, вся лингвистика должна быть структуральной, поскольку структура речи — это реальность. Однако структурализм — это еще не вся лингвистика, и ошибка многих структуралистов заключается только в том, что они пытаются свети лингвистику к структурализму: так, например, они стремятся дать «структуральные определения» языковым категориям, забывая, что структуральная точка зрения соответствует не плану определений, а плану описания. Кроме того, вся лингвистика, разумеется, должна быть функциональной, поскольку языковые факты определяются своей функцией.

перспективе он рассматривает изменение лишь схематически, между двумя определенными системами, т. е. структурализм смешивает *изменение* (распространение инноваций) с *мутацией, сдвигом* (замещением одной структуры другой) и полностью игнорирует промежуточный этап, когда обе структуры — старая и новая — сосуществуют<sup>66</sup>. Следовательно, структурализм лишь *указывает* на взаимодействие языковой свободы и системы, но оставляет без внимания сам процесс этого взаимодействия, осуществляемый в «норме» языка (ср. II, 3.1.3) посредством многочисленных актов отбора (ср. III, 4.4.6)<sup>67</sup>.

4.3.3. Поскольку структурализм не может принять во внимание конкретный *способ* осуществления изменения, то он и не является собственно *историей*, ибо, как правильно заметил Ортега, исторический подход не принимает факты просто как факты; он стремится увидеть, как они осуществляются, т. е. рассматривать факты в их осуществлении<sup>68</sup>. Разумеется, структуральные объяснения (мотивировки) являются историческими. Однако конкретное объяснение изменения не сводится к его мотивировке; между исходной точкой (*инновация*) и конечной точкой (*мутация, сдвиг*) лежит сам *процесс изменения*, т. е. «распространения» или межиндивидуального принятия инноваций, — крайне сложный исторический процесс с

<sup>66</sup> Ср. различие, проводимое А. Фреем (H. Frei, Grammaire des fautes, стр. 29—30) между *изменением* и *эволюцией*.

<sup>67</sup> Г. Людтке в своей книге, которая, к сожалению, попала ко мне слишком поздно и не могла быть использована в настоящей работе («Die strukturelle Entwicklung die romanischen Vokalismus», Bonn, 1956, стр. 15—16), справедливо указывает, что простая диахрония рассматривает языковые формы только *во времени*, а чтобы получить более полное представление о языковых событиях, необходимо рассматривать также *пространственное* разнообразие языка, дополняя диахронию лингвистической географией и приходя, таким образом, к *диахроническому описанию пространства языка*. К этому следует добавить, что необходимо также иметь в виду «вертикальное» (по отношению к различным социальным и культурным слоям) и «стилистическое» (по отношению к различным факторам выражения) разнообразие языка; ср. «La geografía lingüística», стр. 43. Из невольной упущенных мною работ следует упомянуть важную публикацию Института языкознания АН СССР «Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета, посвященном дискуссии о соотношении синхронного анализа и исторического исследования языка», Москва, 1957, которую я получил, когда настоящая работа находилась в печати.

<sup>68</sup> «Historia como sistema» в «Obras completas», VI, Madrid, 1947, стр. 50.

многочисленными колебаниями и отклонениями, в изучении которого особые заслуги принадлежат прежде всего испанской лингвистической школе<sup>69</sup>. Кроме того, частично в силу методологических недостатков, а частично в силу натуралистической традиции диахронический структурализм обычно принимает за исходную точку предполагаемую «готовую» и «уравновешенную» систему (ср. I, 1.1) вместо того, чтобы исходить из движущейся системы; в результате многим структуралистам нужен *deus ex machina* «внешняя причина», которая должна привести систему в движение<sup>70</sup>.

4.3.4. В силу сказанного диахронический структурализм не может преодолеть соссюрговскую антиномию между синхронией и диахронией в ее наиболее существенных чертах. Он лишь показывает, что изменения обуславливаются системой, и выстраивает по линии диахронии ряд синхронных систем, которые связаны не просто материальной преемственностью, а соответствием между их функциональными структурами. Этим исправляется «атомизм» и гетерогенность соссюрговской диахронии и доказывается, что диахрония также «системна»; однако сама антиномия, понимаемая как реальное противопоставление, остается. В действительности Соссюр никогда не отрицал того, что на линии диахронии можно получить бесконечный ряд «срезов» — синхронных систем. Соссюрговская антиномия в ее подлинном смысле не может быть преодолена, если по-

---

<sup>69</sup> Можно назвать образцовые исследования, представленные работами R. Me n é n d e z P i d a l, *Orígenes del español* и A. A l o n s o, *De la pronunciación medieval a la moderna*. Ср. также D. C a t a l á n, *La escuela lingüística española y su concepción del lenguaje*, Madrid, 1955, стр. 67 и сл. Однако не следует приписывать испанской школе некую особую концепцию речевой деятельности: речь идет просто о методологическом аспекте истории *конкретных языков*. Об особенностях испанской лингвистической школы см. A. R o s e n b l a t, RfH, II, 2, стр. 183 и E. C o s e r i u, Amado Alonso, Montevideo, 1953, стр. 4.

<sup>70</sup> Следует, однако, подчеркнуть, что Мартине (A. M a r t i n e t, «Écopotie», стр. 19) считает «упрощенческой» мысль о том, что без давления так называемых «внешних факторов» системы оставались бы неподвижными. Он указывает, что равновесие фонологических систем следует считать неустойчивым: «В самом деле, вероятно, большинство наблюдаемых фонологических систем содержит в себе следы нарушенного равновесия» (стр. 25); «в любой фонологической системе в любой момент ее истории существуют участки, в которых уже готовится или происходит изменение» (стр. 34). Ср. также стр. 83—90.

прежнему придерживаться статической концепции языка и продолжать рассматривать исторический язык как совокупность «языковых состояний», упорядоченных во времени. Эта антиномия не может быть преодолена, если решительно не отказаться от отождествления *бытия* языка, которое является историческим (т. е. непрерывным) бытием, с языковым *состоянием*<sup>71</sup> или рядом «состояний» (что, по сути дела, одно и то же).

5.1. Явно более радикальное (но также и более спорное) намерение преодолеть в самом взгляде на действительность языка сосюрговскую антиномию представлено «телеологической» концепцией языкового изменения. Эта концепция сформулирована уже в докладе, который был сделан в Гааге основателями фонологии (ср. 4.1.2). В этом докладе говорится, что вместо традиционной проблемы *причинности* следует выдвинуть проблему *целесообразности* языковых изменений. Вопреки тезису Соссюра о том, что язык ничего не замышляет заранее, утверждается, что по крайней мере некоторые языковые изменения осуществляются «с намерением оказать определенное воздействие на систему». Далее, для преодоления недостатков позиции младограмматиков докладчики предлагают отказаться от механицизма и интерпретировать понятие фонетического закона «телеологически»<sup>72</sup>. В дальнейшем как Якобсон, так и Трубецкой почти в идентичных выражениях неоднократно высказывались по этому поводу. В качестве примера приведем следующее утверждение Трубецкого: «Эволюцией фонологической системы управляет в любой данный момент *стремление к определенной цели*. Не допуская существования телеологического элемента, невозможно объяснить фонологическую эволюцию»<sup>73</sup>.

5.2.1. Сравнительно недавно в среде сторонников диахронического структурализма были высказаны сомнения

---

<sup>71</sup> В связи с этим полезно вспомнить, что А. Мейе — ученый, которого никто не назовет идеалистом или антисоссюрианцем, в своей рецензии на «Курс» (BSLP, XX, стр. 35) справедливо заметил, что, хотя «поперечный разрез», о котором говорит Соссюр, методологически полезен, он не соответствует реальности языка.

<sup>72</sup> «Actes du Premier Congrès», стр. 33, 35, 36.

<sup>73</sup> «La fonología actual», исп. перев. в «Psicología del lenguaje», стр. 159. См. также выступления Трубецкого на конгрессе в Женеве в «Actes du Deuxième Congrès», стр. 110, 124. Ср., кроме того, R. J a k o b s o n, Remarques sur l'évolution phonologique du russe, особенно стр. 17.

по поводу предполагаемого «телеологического элемента». Мы имеем в виду прежде всего А. Мартине<sup>74</sup>, который, к сожалению, полагает, что отвергать «телеологию» — это значит отвергать или ставить под сомнение целевую интерпретацию изменений (ср. 3.2.3)<sup>75</sup>, что неверно: «целенаправленность» в своем примитивном смысле, т. е. как субъективная или свободная причинность, — это нечто совершенно отличное от того, что часто понимают под «телеологией». В самом деле, языковые изменения как результаты свободной деятельности могут иметь только целевую мотивировку, и, однако, абсолютно верно, что язык не «замышляет» и не может замышлять ничего заранее, поскольку он не является субъектом.

5.2.2. Чтобы отграничить то, что в «телеологической» концепции для нас приемлемо, от неприемлемого, необходимо прежде всего избавиться от двусмысленности ее формулировок и определить смысл, который можно приписывать понятию «телеологии». Трубецкой и Якобсон употребляют на равных правах термины «целенаправленность», «намерение», «телеология» и «тенденция» (языка), и даже при поверхностном знакомстве с их рассуждениями обнаруживается, что двусмысленность не является чисто терминологической. Конечно, под «телеологией» можно понимать целенаправленность изменения; именно такова правильная интуиция, на которой основывается телеологическая концепция, поскольку «целенаправленность» противопоставляют «причинам» младограмматиков, а с помощью «телеологии» надеются преодолеть «механицизм». В таком случае целенаправленность следует понимать как нечто присущее каждому индивидуальному акту принятия определенного языкового элемента (ср. 3.2.2), и только в этом смысле так называемая «телеологическая» концепция полностью приемлема. Однако защитники данной концепции, как кажется, интерпретируют ее не так.

---

<sup>74</sup> См. его предисловие к книге A. Haudricourt et A. Juillard, *Essai*, стр. XI и *Économie*, стр. 46, 97.

<sup>75</sup> В этом Мартине согласен с А. Бюрже, который является противником диахронического структурализма и выдвигает против телеологии сосюрровский принцип — «язык ничего не замышляет заранее», — интерпретируя этот принцип в том смысле, что изменения не имеют определенной целенаправленности (цит. статья, стр. 32—33). Однако, как кажется, возражения Мартине носят скорее терминологический характер: он сам часто пользуется понятием «тенденции».

Более того, хотя именно таково было первичное интуитивное представление, на которое опирается «телеология», это представление затемняется и искажается в их формулировках, приводящих к многочисленным смещениям.

Б.2.3. Как кажется с первого взгляда, утверждение, что изменения 'имеют намерение оказать давление на систему', не содержит особого смысла. В самом деле, что оно означает конкретно? Изменения — это не субъекты и не силы, а система — это не то, на что можно «оказывать давление». Несомненно, здесь имеет место метафора: намерение имеют говорящие, а не факты, которые ими создаются. Однако, даже понятое так, это утверждение неприемлемо. Говорящие не имеют намерения оказывать давление на систему, а намерение, субъективно неповторимое, не может «объективно» наблюдаться или выводиться из фактов (ср. 3.4.2); нет никакого основания приписывать говорящим таинственные «неосознанные» намерения. В указанном отношении систему можно понимать как «внутреннюю» систему (совокупность языковых возможностей, технических средств, которыми располагает каждый говорящий) или как «внешнюю» систему — как «язык остальных». Говорящий не оказывает никакого «давления» на свои собственные языковые навыки, а просто модифицирует их в соответствии со своими потребностями выражения. С другой стороны, говорящий как таковой не имеет никакого намерения модифицировать «внешнюю систему», «язык остальных». «Естественное» изменение является результатом многих актов принятия, осуществляющихся в одном и том же направлении, а не намерения воздействовать на язык (ср. 3.2.2)<sup>76</sup>. Смещение, очевидно, возникает из-за того, что не проводится отчетливого различия между «надиндивидуальным» языком и индивидуальными языковыми навыками, где осуществляются изменения. В самом деле, когда язык сводится к *одной-единственной* системе (т. е. многие индивидуальные навыки сводятся к единой совокупности навыков, представляющей все индивидуальные навыки<sup>77</sup>), *изменение неизбежно сводится к принятию*.

---

<sup>76</sup> Даже «искусственные» изменения, обусловленные внешними факторами (вводимые академическими учреждениями, пуристами, преподавателями языка и т. д.), являются изменениями лишь в той мере, в какой каждый говорящий изменяет свою собственную речь в соответствии с предлагаемыми ему моделями. Этот случай (впрочем, сторонники телеологического подхода имеют в виду не его) отличается от случая «естественных» изменений не самой техникой изменения, которая и здесь осуществляется посредством обусловленных определенной целью индивидуальных принятий, а внешним происхождением рассматриваемых языковых элементов: намерение изменять язык проявляется не в самом изменении, а в предложении определенной модели. Таким образом, различие между «естественными» и «искусственными» изменениями зависит от условий, в которых действует языковая свобода, а не от характера индивидуальных принятий, которые являются минимальными единицами изменения.

<sup>77</sup> Здесь вызывает возражение не само сведение как таковое; оно отнюдь не является специфической особенностью структу-

Внедрение нового языкового элемента в отдельные совокупности индивидуальных навыков может восприниматься как «давление» с точки зрения надиндивидуальной системы, равновесие которой косвенно нарушается. Однако речь идет не о намеренном давлении, поскольку намерение имеет место не в плоскости надиндивидуальной системы, а в плоскости конкретных принятий. Таким образом, по сути дела и с точки зрения конкретной языковой реальности рассматриваемое утверждение означает лишь, что принятие — это акт, обусловленный определенным намерением; это действительно важное и фундаментальное положение для понимания языкового изменения не механистическим образом (ср. III, 3.2.2), однако оно не имеет ничего общего с предполагаемой внешней «телеологией».

5.2.4. Напротив, в телеологии, понимаемой как «тенденция к гармонии систем»<sup>78</sup>, трудно найти рациональное зерно. Такое толкование телеологии заставляет понимать прилагательное «телеологический» (применительно к системе) в смысле «упорядоченный для достижения цели, которая является самим порядком». Даже не говоря о субъективности в оценке системы как «гармоничной» и о сомнениях по поводу понятия «тенденция», идея о «тенденции к гармонии» сама по себе противоречива. В самом деле, непонятно, почему, если эта тенденция постоянно существует, она не приводит к окончательному упорядочению систем. Поэтому приходится допустить, что определенные функционально обусловленные изменения идут против «гармонии» и реализованные системы всегда содержат в себе внутренние противоречия (ср. IV, 4.5.4), или, в противном случае, приходится вернуться к «внешним факторам», которые якобы нарушают естественную устойчивость систем (ср. I, 1.1). В таком случае мы возвращаемся к пониманию системы как внутренне «статичной»; тем самым антиномия между синхронией и диахронией не только не преодолевается, а закрепляется.

5.3.1. Однако основной смысл телеологической концепции, как кажется, является иным: ее сторонники имеют в виду *объективную целенаправленность*, внешнюю и predeterminedенную, которой язык подчиняется постоянно под давлением своеобразной внутренней необходимости. Сам Трубецкой подчеркивает близость понятия «телеологии» у фонологов понятию «тенденции языков», которое употребляют Мейе и Граммон. Он заявляет далее, что понятие тенденции является, «по сути дела, телеологическим», и в связи с этим вспоминает К. Лейка (K. Luick),

---

реализма, как часто утверждают его критики, оно обычно необходимо для всей лингвистики и для многих ее целей. Не следует, однако, забывать об уровне абстракции, обусловленном этим сведением.

<sup>78</sup> А. Мартине («Économie», стр. 67) справедливо считает, что «гармония систем» — это «обманчивая этикетка». Ср. также стр. 97—98, 104.

который считал, что эволюция английского вокализма осуществлялась таким образом, «как будто им двигала какая-то внутренняя логика»<sup>79</sup>.

5.3.2. Если бы эта объективная целенаправленность была реальным фактом, то она действительно привела бы к преодолению антиномии «синхрония — диахрония», поскольку в каждый момент язык «стремился бы стать» не тем, чем он является. Но на самом деле такой целенаправленности не существует и ее не следует предполагать: язык как объективный факт, как историческая техника речи ни к чему не стремится и не может стремиться. Вообще телеологические утверждения не являются объяснениями и не имеют познавательной ценности, поскольку «объективная целенаправленность» не может быть доказана. Как установил Кант<sup>80</sup>, телеологические суждения, относящиеся в своей обычной форме к природе, не имеют объективной силы, поскольку в действительности они вообще ничего не утверждают об объектах как таковых, а лишь выражают отношение субъекта к этим объектам. Телеологические суждения не являются *определяющими*, конститутивными в плане объекта суждениями; они целиком относятся к плану *мышления*. Для мышления и познавательной деятельности нормой является принцип упорядочения опыта, соответствующий внутренней потребности человека. В самом деле, чтобы разумно воспринимать природу, человек должен предположить в ней некий «порядок», некую «целесообразность». Однако, если по отношению к природе телеологические суждения выражают «необходимое верование», хотя они и лишены познавательной ценности, то по отношению к миру культуры «телеология», помимо того, что она не имеет познавательной ценности, является еще излишним и неоправданным допущением, поскольку человеку незачем предполагать существование таинственной и недоказуемой «объективной целенаправленности», внешней по отношению к тому, что он свободно делает сам. В самом деле, объективная целенаправленность — это не что иное, как необходимость, проецируемая в будущее, и понятие 'тенденция языка', несомненно, является, «по сути дела, телеологическим», однако тем самым оно является также

---

<sup>79</sup> «La fonología actual», стр. 159.

<sup>80</sup> «Kritik der Urteilskraft», особенно § 75.

по своей сути причинным и антицелевым. Верно, что телеологическая доктрина надеется преодолеть каузалистский механицизм; однако механицизм не преодолевается, а закрепляется, если внешняя причинность заменяется внешней целенаправленностью, а языкам приписываются определенные «тенденции»<sup>81</sup>. В самом деле, телеологический подход к языку — это лишь такая особая форма причинного подхода, при которой допускается «детерминизм системы» (ср. 4.2.3), т. е. мысль, что язык содержит «причины» своего изменения в самом себе (что, как мы видели, логически невозможно). По существу, несмотря на подновленную терминологию, телеологический подход — это просто-напросто новый способ протаскивания старой концепции, утверждающей, что языки являются естественными организмами. Сущность этого подхода не меняется, если, выражаясь более точно, говорить, что тенденции присущи говорящим, а не системе: ведь если эволюция системы считается предопределенной или «неизбежной» (ср. 2.2.3), то действительные отношения оказываются перевернутыми и свобода говорящих выступает как простое орудие внутренней необходимости языка. В этом смысле телеологическая концепция является отрицанием реальности речевой деятельности как ἐνέργεια и языковой свободы: свобода аннулируется, когда появляется внешняя и предопределенная цель.

5.3.3. В силу сказанного телеологический подход, при котором языку приписывается стремление к внешней объективной цели, должен быть отвергнут. Этот подход следует четко отличать от признания подлинной целенаправленности (ср. 3.2.1), поскольку оба подхода не только не совпадают, но противоположны друг другу. Правда, и у телеологической точки зрения есть рациональное зерно: ее сторонники стараются говорить о целенаправленности языкового изменения. Однако они отрывают изменение от говорящих и переносят его в плоскость абстрактной системы. Такой перенос совершенно недопустим,

---

<sup>81</sup> При этом механицизм закрепляется в еще более опасной форме, так как пресловутые «причины» изменения, поскольку они являются наблюдаемыми обстоятельствами, могут быть отвергнуты простым эмпирическим наблюдением (ср. 2.4.2), тогда как невозможно опровергнуть эмпирическими аргументами того, что по определению не может наблюдаться или объяснение чего фактически тавтологично (ср. 5.3.5).

так как целенаправленность не является «фактом», который можно отделить от субъектов и от их намерений. Что касается «внутренней логики» изменения, то она помогает понять, как происходит изменение, но с помощью этой логики нам не удастся узнать, почему оно происходит: нельзя смешивать способ осуществления изменения (его системность) с причиной изменения<sup>82</sup>.

5.3.4. Впрочем, утверждения, которые принимаются за телеологические, могут иметь объективную силу, но как раз не в «телеологическом» смысле. Они верны постольку, поскольку выражают универсальные или общие сведения о каком-либо объекте или упорядочивают конкретный опыт, уже накопленный о данном объекте. Так, например, утверждая, что испанский язык, если на нем будут продолжать говорить, «обязательно изменится», мы не утверждаем ничего конкретного о будущем испанского языка, а подчеркиваем лишь, что изменение вообще является необходимым свойством существования языков. Точно так же, когда говорят, что в языке наблюдается тенденция к сохранению различительных противопоставлений, то речь идет не о какой-то объективной «тенденции», а о наличии такой существенной и конститутивной особенности языка, как различительные противопоставления. Было бы действительно странно и, более того, абсурдно, если бы в языке наблюдалась «тенденция» к утрате различительных противопоставлений, т. е. тенденция к утрате языком его языковой сущности. В других случаях «телеологические» принципы выражают только общие свойства, которые в условиях языковой свободы относятся только к возможным (ср. 2.2.2). Наконец, когда мы говорим о какой-либо «тенденции» в конкретном смысле, то лишь упорядочиваем опыт, уже имеющийся у нас в этом плане. Так, например, когда мы провозглашаем, что «испанский язык в Америке имеет тенденцию к унификации», то лишь утверждаем тем самым, что в настоящее время он представляется более единым, чем пятьдесят лет назад, а не то, что в действительности он стремится к некой внешней цели, которую мы не в состоянии наблюдать. Точно так же, говоря, что некий язык «имеет тенденцию к потере флексии», мы лишь телеологически упорядочиваем данные, которыми располагаем об этом языке. Указанный факт в той мере, в какой он объективен, не может быть опровергнут даже в том случае, если в рассматриваемом языке будет обнаружен возврат к флексии: В самом деле, телеологическое суждение относительно конкретного упорядочивает, предоставляет лишь те данные, которыми мы уже обладаем, а не те, которые еще не добыты. Объективно телеологическое суждение носит характер констатации,

<sup>82</sup> Далее, логика того, как осуществляется изменение, является также относительной, или, точнее, неоднозначной: даже если исходить из единой схематической традиции, то изменение происходит не обязательно в одном-единственном направлении. В последовательные моменты времени наблюдается единство языка — в той мере, в какой говорящие действуют в одном и том же направлении, и вариативность языка — в той мере, в какой говорящие следуют различным импульсам. Ср. обе схемы Ф. С о е с ю р а, CLG, стр. 317.

а не *предвидения*, поскольку оно, собственно говоря, не относится к будущему.

5.3.5. Следовательно, телеологические утверждения, относящиеся к истории конкретного языка, являются простыми констатациями. Если их пытаются выдать за объяснения, то они оказываются тавтологиями или бессмыслицами. Так, например, утверждение, что в вульгарной латыни наблюдается «тенденция к перифрастическим формам», является простой констатацией того факта, что в вульгарной латыни таких форм по сравнению с классической латынью гораздо больше. Если это утверждение представить как «объяснение», то оно окажется тавтологичным, поскольку будет попросту повторять констатацию; оно окажется лишенным смысла, если попытаться объективно соотнести его с внешней целью, к которой якобы стремилась латинская языковая система. В более широком плане «независимое параллельное развитие», о котором говорит Мейе<sup>83</sup>, теоретически<sup>84</sup>, несомненно, возможно; однако возможность эта объясняется не «общими тенденциями языков одной и той же группы» (и тем менее — таинственными «приобретенными наследственными тенденциями»), а тем, что, действуя в условиях языковой свободы, говорящие, которые исходят из похожих систем и сталкиваются с аналогичными проблемами выражения, могут найти также аналогичное решение (впрочем, они могут выбрать и совершенно различные решения). Утверждение, что параллельное развитие объясняется аналогичными тенденциями, в действительности не является объяснением: объективно оно означает лишь констатацию соответствующих фактов.

5.3.6. В силу тех же самых соображений мысль о возможности предвидеть языковые изменения лишена основания. Вообще, будущее не является предметом познания, а предвидение — проблемой науки. Когда же речь идет о речевой деятельности, то указанная мысль означает претензию на логически невозможное: на определение того, как в будущем будет организована свобода говорящих в плане выражения. В самом деле, всякое «предвидение» — это утверждение общего характера: оно показывает, что изменения обычно происходят в определенных условиях. Поскольку в истории обобщение является формальным, а не материальным (ср. 2.2.2), можно утверждать лишь, что в определенных известных нам условиях *могут произойти изменения тех или иных типов*. Однако нельзя сказать точно, какими будут конкретные изменения и произойдут ли они в действительности или нет. Точно так же, сравнивая два последовательных «состояния языка», мы можем констатировать, какие изменения уже происходят. Однако ничто не позволяет нам с уверенностью утверждать, что эти изменения в дальнейшем будут происходить в том же самом направлении.

---

<sup>83</sup> «La méthode comparative», стр. 98 и сл. и «Convergence des développements linguistiques» в «Linguistique historique et linguistique générale», I, стр. 61—75.

<sup>84</sup> Мы говорим «теоретически» потому, что в отдельных случаях, приводимых Мейе, может идти речь об изменениях, начавшихся гораздо ранее, до появления дошедших до нас документов письменности рассматриваемых языков, или об инновациях, перешедших из одного языка в другой после их «разделения».

**5.4.1.** С проблемой «телеологии» (т. е. предполагаемой внутренней необходимости языков) тесно связана проблема *общих законов языковых изменений*. Многие ученые пытались установить такие законы, многие жаловались и все еще жалуются на недостаточность тех законов, которые до сих пор удалось сформулировать. Мнение А. Мейе по этому поводу можно считать типичным: «Развитие языка подчиняется общим законам. Сама история языков доказывает это тем, что в ней наблюдается ряд закономерностей...» «Отыскание общих законов, морфологических и фонетических, должно отныне стать одной из основных целей лингвистики»<sup>85</sup>. Следовательно, законы существуют и надо продолжать искать их. Однако законы эти имеют тот недостаток, что они не являются законами необходимости: «Все уже выведенные общие законы, как и все те, исследование которых только начато и открытие которых еще предстоит, страдают одним недостатком: они утверждают возможность, а не необходимость»<sup>86</sup>. Однако недостаток ли это? Сам Мейе ясно понимал, что характер упомянутых законов не случаен, а внутренне присущ им и необходим (Мейе ясно отдавал себе отчет в том, что *законы, которые будут открыты* в дальнейшем, будут такого же типа). Однако Мейе мечтает о законах другого типа, которые позволили бы предвидеть «будущую эволюцию» языков: «Законов исторической общей фонетики или морфологии недостаточно для объяснения каких-либо фактов; эти законы констатируют постоянные условия, необходимые для развития языковых фактов; но, даже если бы нам и удалось определить их полностью и совершенно точно, мы не могли бы с их помощью предвидеть будущую эволюцию, что является признаком неполного знания; нам оставалось бы открыть переменные условия, которые вызывают реализацию познанных нами возможностей. Как бы ни был важен прогресс, достигнутый в результате становления общей лингвистики, мы не можем, однако, удовлетвориться им»<sup>87</sup>.

**5.4.2.** Однако необходимо примириться, разумеется, не с «общей лингвистикой», которая не может заменить теоретическую лингвистику (ср. II, 4.2), и не с уже открытыми общими законами, а с особенностью этих последних.

<sup>85</sup> «Linguistique historique et linguistique générale», стр. 7—13.

<sup>86</sup> Там же, стр. 15.

<sup>87</sup> Там же, стр. 15—16.

Дело в том, что речь идет именно об *особенности*, а не о преодолимом недостатке. Общие законы языкового изменения *обязательно* являются законами возможностей, т. е. именно таков их необходимый аспект, поскольку он зависит от действительно необходимого закона — от закона свободы речевой деятельности. Верно, что законы, о которых мы говорим, не объясняют изменений, поскольку эти законы вскрывают то, *как* происходит изменение, но не *почему* оно происходит. Открыть законы другого типа — собственно причинные законы — невозможно, так как языковые изменения не имеют «причин» в смысле естественных наук<sup>\*\*</sup>. В самом деле, единственно необходимыми законами речевой деятельности являются законы, утверждающие какую-либо логическую необходимость. Так, например, всякий живой язык изменяется; всякий язык «достаточен» для культурного мира, которому он соответствует; всякое изменение есть распространение инновации; всякое языковое принятие есть целенаправленный акт; никакой языковой факт не имеет природной мотивировки; всякий язык обладает фонетической и грамматической структурой; никакой фактор внешнего порядка не может воздействовать на язык непосредственно и т. д. Те же законы утверждают, что языковое «развитие» — это не «эволюция» естественного объекта, а *построение* культурного объекта и что, следовательно, оно может быть мотивировано только целевой установкой говорящих, а не внешними или внутренними объективными условиями. Это нисколько не уменьшает эмпирической

---

<sup>\*\*</sup> Вопреки мнению Б. Мальмберга (B. Malmberg, *Systeme*, стр. 24—45, сн. 7) не существует и «синхронических причинных законов». «Синхронический закон» является нормой «структуры»: он указывает «как», а не «почему». Таковы синхронические законы фонологии, как они сформулированы в докладе трех авторов в Гааге (стр. 34), и законы морфологических противопоставлений Брендаля. Разумной точки зрения придерживается Перро (J. Perrot, *La linguistique*, Paris, 1953, стр. 130), который осознает различие между «законом» и общей эмпирической констатацией. Несомненно, обнаруживать упомянутые законы, характеризующие нормальные и типичные особенности организации языков, весьма важно. Однако эти законы не имеют характера абсолютной панхронической необходимости. Так, даже если бы удалось совершенно точно доказать, что нет и не было языков, не имеющих открытых слогов, это все равно осталось бы простой обобщающей констатацией, до тех пор пока не удалось бы объяснить данный факт определенной логической необходимостью.

ценности изучения «условий» изменения, поскольку в эмпирическом плане следует изучать, как действует языковая свобода в определенных условиях, а также каковы *способы* и *нормы* такой формы человеческого творчества, как речевая деятельность, — в этой области остается сделать еще очень много. Никто точно не знает, как изменяются языки. Это скорее всего объясняется тем, что внимание исследователей гораздо чаще занимала ложная проблема — «почему они изменяются».

5.4.3. «Предвидение будущей эволюции» — это опасное заблуждение. Принцип «знать, чтобы предвидеть» (и в особенности смещение *«знать»* и *«предвидеть»*) является еще одним вредным пережитком континентального наследия. В действительности ни одна наука не занимается «предвидениями». Даже физические науки не «предвидят» частного, а устанавливают общие законы эмпирической необходимости. Химия не предвидит того, что этот конкретный кусок сахара растворится в воде, а говорит: «сахар растворим в воде»; она указывает, что *вообще* происходит в определенных условиях. Обязательный характер физических законов позволяет, разумеется, делать «предвидения» на практике, т. е. применять общее в частных случаях; но ни одна наука не позволяет вывести из обобщений нечто присущее *индивидуумам*. Кроме того, в науках о человеке можно сказать лишь, что может случиться и что обычно случается в определенных условиях, но нельзя сказать, случится ли это в действительности: осуществление тех или иных событий зависит здесь от свободы, а не от внешней необходимости. Мы в состоянии также сказать, каким должен быть любой язык и что может произойти с ним, поскольку он является *языком*; но мы не можем сказать, какой этот язык и что с ним произойдет, поскольку он является *определенным историческим языком*: такого рода вывод нельзя сделать, исходя из общих соображений. Все это не уменьшает ценности лингвистики, ибо степень развития науки измеряется ее адекватностью изучаемому объекту и числом открытых ею истин, а не ее пророческими способностями. Что касается речевой деятельности, то здесь признаком неполного или, точнее, неадекватного (в наиболее существенном смысле) знания является не невозможность предсказывать, а стремление преодолеть эту невозможность. В самом деле, такая невозможность является не эмпирической и не случайной,

а логической и, следовательно, непреодолимой: она обусловлена не «слабостью» лингвистики, а самой природой изучаемого объекта.

**5.4.4.** Таким образом, с одной стороны, лингвистика не должна «стать» наукой о законах, поскольку она уже является таковой. С другой стороны, лингвистика не может стать такой наукой, поскольку этому препятствует природа ее объекта. Лингвистика должна отказаться от попыток устанавливать причинные законы в плане свободы. Из-за этого она не лишится «точности», а, наоборот, станет по-настоящему точной наукой о человеке. Науки о человеке являются «точными» (ср. 2.3) и даже обладают таким типом точности, которого не могут добиться ни естественные, ни математические науки (так как лишь в науках о человеке совпадают истинное — *verum* и достоверное — *certum* в понимании Дж. Вико); невозможно сделать их более точными, подходя к ним как к наукам физическим. Кроме того, поскольку лингвистика занимается исследованием исторических объектов, она не должна стремиться стать пророческой наукой.

## **VII. СИНХРОНИЯ, ДИАХРОНИЯ И ИСТОРИЯ**

**1.1.1.** Чтобы коренным образом преодолеть антиномию между синхронией и диахронией — в том смысле и в той степени, в какой она преодолима, — необходимо снова вернуться к «Курсу» Соссюра. Как известно, Соссюр считал антиномию между «статическим фактом» и «развивающимся фактом» радикальной: «Отношение между одновременно существующими элементами — это одно, замещение одного элемента другим с течением времени, т. е. следование элементов, — это другое»<sup>1</sup>; синхронические элементы «сосуществуют и образуют систему, в то время как диахронические элементы следуют одни за другими и замещают друг друга, не создавая системы»<sup>2</sup>. Синхронические факты системны; диахронические специфичны, разнородны, изолированы<sup>3</sup> и, кроме того, являются «внешними» по отно-

<sup>1</sup> CLG, стр. 162.

<sup>2</sup> CLG, стр. 174, см. также стр. 231.

<sup>3</sup> CLG, стр. 159: «Изменения происходят только с изолированными элементами»; стр. 165: «Диахроническое следование всегда носит случайный и частный характер»; стр. 289: «Звуковые изменения затрагивают только изолированную фонему».

шению к системе: «В диахронической перспективе мы занимаемся явлениями, которые несколько не связаны с системами, хотя они и обуславливают системы»<sup>4</sup>. Соссюр признает, что синхрония («языковое состояние») зависит от диахронии. Он несколько раз замечает, что любое изменение «отзывается на всей системе» и что синхронная система обусловлена диахронными фактами<sup>5</sup>. Однако Соссюр не допускает наличия обратной зависимости: изменения — это явления, чуждые системам; в частности, звуковые изменения представляют собой, по его мнению, «слепую силу, которая борется с организацией системы знаков»<sup>6</sup>.

В данной работе мы пытались показать, что дело обстоит иначе и упомянутые факты следует рассматривать по-другому. Однако наша цель не в том, чтобы, встав на противоположную точку зрения, просто принять или отвергнуть соссюрскую антиномию, а в том, чтобы установить, какие были основания у Соссюра ввести эту антиномию и могут ли эти основания — и если да, то в какой мере, — считаться убедительными и приемлемыми. Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что хотим преодолеть антиномию «коренным образом».

1.1.2. Прежде всего следует отметить, что Соссюр отчетливо понимал *историчность языкового факта*. Так, например, он пишет, что «данное состояние языка всегда является продуктом исторических факторов» и что произношение определенного слова закрепляется именно историей<sup>7</sup>. Соссюр даже готов признать комплементарность между синхронной и диахронной лингвистикой, ибо он допускает, что исторический метод поможет лучше понять языковые состояния<sup>8</sup>. Более того, по крайней мере в одном аспекте, который, к сожалению, послесоссюровская лингвистика часто не замечает или пытается «преодолеть», Соссюр приходит к пониманию *существенной историчности*

<sup>4</sup> CLG, стр. 155. Ср. также стр. 167—168: «Диахронические исторические факты носят частный характер; изменение системы происходит путем последовательных смен, которые не только чужды системе, но и вообще изолированы и сами не образуют системы».

<sup>5</sup> CLG, стр. 154, 157, 160.

<sup>6</sup> CLG, стр. 160.

<sup>7</sup> CLG, стр. 136, 81. Ср. также стр. 140: «В каждом изменении превалирует сопротивление старого материала; неверность прошлому лишь относительна».

<sup>8</sup> CLG, стр. 151.

языка как объекта культуры. Мы имеем в виду его точку зрения на «языковые законы». Соссюр указывает, что задачей лингвистики является «поиск тех сил, которые всегда и повсюду воздействуют на языки, и извлечение общих законов, к которым можно будет свести все частные явления истории»<sup>9</sup>. Соссюр, однако, понимал, что «законы» эти могут быть только *универсальными принципами*, а не панхроническими причинными законами вроде тех, какие устанавливаются в физических науках. «Панхроническим законом» речевой деятельности является, например, утверждение, что все языки изменяются. Но, добавляет Соссюр, «эти общие принципы существуют независимо от конкретных фактов; когда речь идет о конкретных и осязаемых фактах, панхроническая точка зрения уже не имеет места...» «В языке не может содержаться конкретный (исторический) факт, которому можно было бы дать панхроническое объяснение»<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> CLG, стр. 146.

<sup>10</sup> CLG, стр. 168—169. Ср. также стр. 261, где говорится о невозможности «предсказать, до какой степени распространится подражание тому или иному образцу». См. по этому поводу R. S. Wells, *De Saussure's system of linguistics*, «Word», III, стр. 24. Уэллз, по-видимому, полагает, что системность языка означает возможность выводить из современного состояния языка последующее состояние. Он пишет: «Когда лингвистика сможет предсказывать не только прошлое, но и будущее, она станет настоящей наукой. Утверждая, что 'заранее невозможно предсказать, до какой степени распространится подражание тому или иному образцу и какие факторы вызовут это подражание', Соссюр показывает, что лингвистика еще не достигла своего триумфа». Однако в действительности утверждение Соссюра относится не к *современному состоянию* лингвистики, а к *лингвистике вообще*, где невозможно и, более того, абсурдно предсказывать частное (ср. VI, 5.3.6). В данном случае ошибается именно Уэллз, поскольку науки, изучающие свободную деятельность, не могут и не должны «предсказывать» и не должны стремиться стать «настоящей» (естественной) наукой, ибо это не было бы для них «триумфом» (ср. VI, 5.4.3). Ниже (стр. 30), рассматривая высказывание Соссюра о панхронических законах, Уэллз указывает, что та же самая ситуация имеет место и в остальных «науках о разуме». Но он, по-видимому, полагает, что это временное состояние, так как добавляет: «Далее, Соссюр ничего не сказал о том, что этот недостаток внутренне присущ лингвистике. Он не привел доводов в пользу того мнения, что никогда в дальнейшем не удастся, более полно изучив необходимые условия, формулировать панхронические законы звуковых изменений или других языковых явлений». Однако Соссюр понимал вещи правильно: речь идет не о «недостатке», а о внутренней и необходимой особенности любой науки, изучающей культуру. И поступил он совершенно

Точно так же Соссюр ясно понимает взаимозависимость между языком и речью<sup>11</sup>, и по крайней мере в одном разделе «Курса» — в главе об аналогии — он приближается к пониманию языкового изменения как «создания» языка. Касаясь аналогии, Соссюр фактически различает то, что мы называем *системой* (языковая техника в собственном смысле, «система для того, чтобы делать нечто»), и то, что мы называем *нормой* («готовая система», реализованный язык)<sup>12</sup>. Для Соссюра аналогия — это не «изменение», а «грамматическое и синхроническое явление», поскольку посредством аналогии *создается* нечто новое в соответствии с шаблонами, уже существующими в языке<sup>13</sup>. В самом деле, аналогия — это изменение в «норме», но не в «системе», поскольку это как раз «системное образование», реализация одной из возможностей системы. Поэтому Соссюр смог сказать, что аналогия — это фактор сохранения, так как «она всегда использует для своих инноваций старый материал»; а в таком случае речь идет именно о сохранении «системы». Более того, аналогия действует так же, как «фактор простого сохранения», т. е. сохранения «нормы», ибо формы, хорошо «пригнанные» к системе и тесно связанные с другими формами, остаются идентичными самим себе, «так как они непрерывно воссоздаются по аналогии»<sup>14</sup>.

---

правильно, не приводя аргументов против *мнения*, будто «будущий прогресс науки» позволит предвидеть свободные (т. е. не предсказуемые по определению) факты. Именно тот, кто верит в иррациональное, а вовсе не тот, кто не верит, обязан доказать свою точку зрения. В противном случае, вместо того чтобы просто сказать, что два и два — четыре, нам пришлось бы доказывать, что нет основания полагать, будто два и два — пять, или шесть, или семь и т. д. Единственное возражение, которое мы можем сделать Соссюру, состоит в том, что он ошибается, считая, будто принципы существуют «независимо от конкретных фактов»: на самом деле принципы являются выражением того логически необходимого, что содержится в самих фактах.

<sup>11</sup> CLG, стр. 64—65: «Итак, существует взаимозависимость между языком и речью: язык является одновременно и инструментом и продуктом речи».

<sup>12</sup> Относительно сходных догадок такого же типа, которые можно найти в «Курсе», см. SNH, стр. 33—35.

<sup>13</sup> CLG, стр. 263—267. Вспомним, что, рассматривая аналогю, Соссюр в явной форме говорит об «осознании системы»: «Аналогия предполагает осознание и понимание отношения, соединяющего формы между собой».

<sup>14</sup> CLG, стр. 276—277.

1.1.3. Однако Соссюр не понимал, что аналогия не является единственным системным образованием и что в действительности нет никакого существенного различия между «созданием» языка — «изменением» в собственном смысле — и его «воссозданием», его непрерывностью. Соссюр не отдавал себе отчета, что и в прочих случаях, в том числе в случае звукового изменения, изменение представляет собой прежде всего смещение нормы в сторону других реализаций, допускаемых системой<sup>15</sup>, и новые формы в течение длительного времени должны существовать наряду со старыми (ср. III, 4.4.6). Напротив, рассматривая звуковые изменения, Соссюр считает «системой» не технику, не шаблоны языкового творчества, а «норму», реализованный язык: звуковые изменения, по его мнению, не системны, поскольку они затрагивают не слова, а только отдельные «звуки»<sup>16</sup>. При этом Соссюр признает лишь «субституции» во времени, но не признает сосуществования старых и новых элементов в одном и том же языковом состоянии<sup>17</sup>. Точно так же Соссюр не понял и того, что системность и межидividualность языка являются следствием его историчности и что изменение есть необходимое условие функциональной синхронности языка (ср. II, 1.1), поскольку изменение — это приспособление языка к новым потребностям говорящих в области выражения. Разумеется, Соссюр понимал, что изменение — это фактически общее и необходимое явление, и даже указывал, что изменение не ограничено ни системой, ни временем<sup>18</sup>, однако в глубине души он считал изменение проявлением внешней фатальности, которой невозможно дать разумного объяснения. За исключением того, что было сказано по поводу аналогии, в «Курсе» ничего не говорится о том, как и почему происходит изменение. Там можно найти лишь замечания вроде следующих: «время изменяет быстрее или медленнее языковые знаки»; «непрерывность знака во времени, связанная с его искажением во времени, является принципом общей семиологии»; «время изменяет все»; «непрерывность обязательно предполагает искажение, более или менее заметное смещение отношений»<sup>19</sup>. Подобные замечания означают в действительности отказ от всякого объяснения и даже от понимания изменения.

1.2.1. Все это объясняется прежде всего взглядами Соссюра на языковую систему, которые, как он сам неоднократно указывает, являются точкой зрения говоря-

<sup>15</sup> См. SNH, стр. 65, а также данную работу, IV, 4.3.

<sup>16</sup> CLG, стр. 166—167. Аналогия, которую привлекает Соссюр, скорее опровергает то, что он пытается обосновать с ее помощью: изменение «струны рояля», а не «мелодии» — это именно изменение в «системе», а не просто в «реализации» (ср. III, 4.4.4).

<sup>17</sup> CLG, стр. 263: «Звуковое изменение не вносит ничего нового без ликвидации того, что ему предшествует». См. также стр. 155, 157, 162. Для Соссюра сосуществование двух изофункциональных грамматических или лексических элементов — это факт языка, в то время как сосуществование двух звуковых вариантов является фактом речи (ср. I, 2.4).

<sup>18</sup> CLG, стр. 231, 248, 360.

<sup>19</sup> CLG, стр. 140, 143, 145. Ср. V, сн. 6.

щего или, точнее, *говорящего, который пользуется языком*<sup>20</sup>: «При изучении фактов языка больше всего поражает то, что для говорящего их последовательности во времени не существует»; 'лингвист не может проникнуть в сознание говорящих, иначе как отказавшись от рассмотрения прошлого', «речь всегда имеет дело только с данным состоянием языка, и изменение, происходящее между двумя состояниями, не находит себе места ни в одном из этих состояний»<sup>21</sup>. Конечно, здесь имеется в виду та точка зрения, которая должна быть принята в синхронической лингвистике; однако, по мнению Соссюра, это единственная точка зрения, которая дает возможность *воспринимать* систему. В диахронической перспективе язык *не воспринимается* как система<sup>22</sup>; с другой стороны, для говорящих реальна только синхрония: «Синхронический аспект преобладает над диахроническим, поскольку он является единственно подлинной реальностью»<sup>23</sup>. Очевидно, с точки зрения «функционирования языка» или «говорящего, пользующегося языком», которую Соссюр называет «точкой зрения *языка*»<sup>24</sup>, изменение не может быть воспринято как таковое. Более того, для говорящего как говорящего изменения не существует: говорящий всегда «синхронизован» с языком и не воспринимает его в «движении», поскольку непрерывность языка совпадает с его собственной непрерывностью как исторического субъекта. Таким образом, в этом первом основном смысле изменение является для Соссюра «внешним по отношению к системе», потому что оно не воспринимается говорящим<sup>25</sup>.

---

<sup>20</sup> Ф. Соссюр (CLG, стр. 174 и др.) говорит также о «коллективном сознании», но, поскольку такого сознания не существует (ср. II, 1.3.1), его слова следует понимать просто как 'сознание каждого говорящего как такового'.

<sup>21</sup> CLG, стр. 149, 160. Ср. также стр. 161: «Синхрония знает только одну перспективу — перспективу говорящих. Весь ее метод состоит в собирании свидетельств говорящих; чтобы знать, в какой мере тот или иной факт является реальностью, необходимо и достаточно установить, в какой мере он существует для создания говорящих»; стр. 337: «Синхроническая лингвистика допускает одну-единственную перспективу — перспективу говорящих».

<sup>22</sup> CLG, стр. 161.

<sup>23</sup> Там же.

<sup>24</sup> CLG, стр. 293.

<sup>25</sup> Балли и Сэше (CLG, стр. 235, прим.) правильно интерпретируют мысль Соссюра, отмечая, что эволюция является внешней по отношению к системе в том смысле, что «система никогда не вос-

Но Соссюр в результате допущенного им смешения «состояния языка» и «действительности языка» не учел, что такая точка зрения может быть просто неадекватной для трактовки изменения, и попытался с помощью других аргументов доказать, что изменение действительно «несистемно», т. е. является «внешним по отношению к системе» и «частным»<sup>26</sup>.

1.2.2. Изменение является для Соссюра «внешним по отношению к системе» в силу следующих соображений. Во-первых, потому, что его основания или причины находятся не в самой системе, не в языке, а в речи: «Именно речь заставляет развиваться язык» — «все то, что в языке диахронично, является таковым лишь благодаря речи»<sup>27</sup>. Во-вторых, потому, что система не изменяется непосредственно как система (т. е. в своих внутренних отношениях): «Система никогда не изменяется непосредственно; сама по себе система неизменна; искажению подвергаются лишь отдельные элементы независимо от связей, которые соединяют их со всей совокупностью»; «смещению подвергается не вся совокупность в целом, и система не порождает другую систему, а изменяется один элемент системы, и этого достаточно, чтобы привести к рождению новой системы»<sup>28</sup>. И, наконец, в-третьих, потому, что изменение совершается ненамеренно: «Эти диахронические факты даже не стремятся изменить систему. Желание перейти от одной системы отношений к другой отсутствует; модификация касается не упорядочения, а упорядоченных элементов»; «изменения осуществляются без всякого намерения»; и знаменитое сравнение с шахматной игрой: «Лишь в одном пункте наше сравнение неудачно; шахматист *имеет намерение* выполнить определенное перемещение фигур и изменить их систему на доске, в то время как язык ничего не замышляет. Его фигуры перемещаются или, вернее, изменяются стихийно и случайно»<sup>29</sup>.

---

принимается в своей эволюции; в каждый момент мы находим ее изменившейся». Напомним, кроме того, что для Соссюра лингвистика является прежде всего психологической наукой; ср. II, 1.3.1.

<sup>26</sup> Соссюр, однако, не проводил этого различия. Для него «частное» (и даже «частичное») уже само по себе является «внешним». Ср. CLG, стр. 157, где противопоставляются «частичные факты» и «факты, относящиеся к системе»,

<sup>27</sup> CLG, стр. 64, 172.

<sup>28</sup> CLG, стр. 154.

<sup>29</sup> CLG, стр. 154—155, 160.

Таким образом, система «неподвижна» в том смысле, что она не движется сама по себе (а не в том смысле, что она вообще лишена возможности двигаться) и что «одна система не порождает другую». Конечно, все это именно так<sup>30</sup>, но отсюда еще не вытекает внешний характер изменения. В самом деле, по мнению Соссюра, «внутренним является все то, что в какой-то степени заставляет изменяться систему»<sup>31</sup>. Следовательно, изменение, хотя оно и мотивировано «внешними факторами», должно было бы рассматриваться как внутреннее явление. Но тут выступает другой смысл слова «внешний». Соссюр понимает, что изменение «заставляет изменяться систему», но полагает, что это происходит лишь косвенно: непосредственно изменяются только отдельные элементы системы, а не отношения между ними. Однако это противоречит его собственной концепции языка. Если язык является «сетью противопоставлений» и «в данном состоянии языка все основывается на отношениях»<sup>32</sup>, то элементы, являющиеся членами этих отношений, определяются ими, а не наоборот. Следовательно, изменение может иметь смысл только как модификация отношений: если изменяются только элементы как таковые, то можно сказать, что со структурной точки зрения «ничего не произошло». Так, в примере, приводимом самим Соссюром (отмирание субъектного падежа во французском)<sup>33</sup>, утрачивается, очевидно, именно *противопоставление*, системное отношение, а не просто элемент. Изменение касается только «упорядочения», а не «отдельно взятого субъектного падежа», поскольку этот падеж может существовать только в силу противопоставления другому — «не субъектному» падежу.

<sup>30</sup> Вопреки мнению Р. Уэллза (цит. статья, стр. 2), который считает «идею о том, что изменение, претерпеваемое системой (конкретным языком в определенный момент времени), никогда не порождается самой этой системой», одной из двух «явно неприемлемых» идей «Курса».

<sup>31</sup> CLG, стр. 70.

<sup>32</sup> CLG, стр. 207.

<sup>33</sup> CLG, стр. 165—166. По поводу этого изменения Соссюр замечает: «Оно имеет лишь внешнюю видимость закона, поскольку осуществляется в системе; и далее: «Иллюзия, будто диахронический факт подчиняется тем же условиям, что и синхронический, создается благодаря строгой упорядоченности системы». Однако разве не является внутренним то, что осуществляется в системе? Как может быть получена «строгая упорядоченность системы», если не благодаря системно происходящим изменениям?»

Все остальные аргументы Соссюра по данному вопросу<sup>34</sup> связаны, к сожалению, с его основным заблуждением: с точки зрения системы Соссюр рассматривает не сами изменения, которые его занимают, а только их «отзвуки», являющиеся на самом деле вторичными и косвенными<sup>35</sup>. По поводу же ненамеренности можно сказать следующее: верно, что «язык не замышляет ничего заранее», что он не имеет «объективной целенаправленности» (ср. VI, 5.3.1); однако это еще не означает, будто изменения совершаются ненамеренно. В действительности по самому способу осуществления изменения следует понимать только как процессы, осуществляемые намеренными и целенаправленными актами (ср. III, 3.2.2 и 4.3.3). Кроме того,— и в этом случае аргументация Соссюра основывается на уже упомянутой ошибке — Соссюр даже не ставит проблемы намеренности (звуковых) изменений *как таковых*, он лишь указывает, что эти изменения осуществляются без намерения достичь определенной грамматической организации, которая является лишь их косвенным следствием. Для Соссюра звуковые изменения являются по определению «случайными», «ненамеренными» и «слепыми»<sup>36</sup>.

Таким образом, оказывается, что для доказательства внешнего характера изменения Соссюру пришлось нарушить свою собственную концепцию языка и прибегнуть к неубедительной и противоречивой аргументации. При чем следует помнить, что аргументация эта является существенной для установления антиномии между синхронией и диахронией<sup>37</sup>.

---

<sup>34</sup> CLG, стр. 151—156.

<sup>35</sup> Так, например, в случае французского ударения (стр. 156) изменением, подлежащим объяснению (или «несистемность» которого следовало бы доказать), является не перемещение ударения, которого в действительности и не было, а редукция и падение ударных слогов. «Очевидно,— пишет Соссюр,— система акцентуации не захотела измениться». Это верно, но речь здесь идет об «отзвуке» системного изменения, а не о чистой случайности.

<sup>36</sup> Ср. CLG, стр. 248, 359, 363 и т. д.

<sup>37</sup> Ср., например, CLG, стр. 152: «Эти диахронические факты... не сохраняют никакой связи... с порожденным ими статическим фактом; первые и вторые являются фактами разного порядка»; стр. 153: «Диахронический факт — это событие, причина и оправдание которого заключается в нем самом; вытекающие из него частные синхронические следствия ему совершенно чужды». Очевидно, в обеих перспективах Соссюр имеет в виду *не одни и те же факты*. Ср. также стр. 156, 165, 171, 249 и сл.

1.2.3. Другой «несистемной» особенностью диахронического факта (изменения) является его «частный характер» (ср. сн. 26)<sup>38</sup>. По мнению Соссюра, языковые изменения являются «частными» в следующем смысле: а) они не «глобальны» (т. е. они не затрагивают всю *систему* целиком и не происходят одновременно во всем языковом *коллективе*)<sup>39</sup>; б) они не образуют системы<sup>40</sup>; в) они затрагивают лишь частные и изолированные элементы независимо от системных отношений<sup>41</sup>. Первая характеристика несомненна, и следует подчеркнуть тот факт, что Соссюр решительно отвергает ошибочную идею об «общих инновациях» (ср. III, 3.2.3). Вторая приемлема лишь отчасти: действительно, существуют «изолированные» изменения, например так называемые «спорадические фонетические изменения» или некоторые семантические изменения (которые, впрочем, могут иметь частное системное объяснение); однако такие изменения не являются нормой в истории языков<sup>42</sup>. Третья характеристика является

---

<sup>38</sup> Этот аспект учения Соссюра был тонко проанализирован Р. Уэллзом; цит. статья, стр. 19—22.

<sup>39</sup> Соссюр не проводит в явной форме этого различия, однако его утверждения по данному поводу, очевидно, подразумевают это различие. Ср. CLG, стр. 137: «Исторический фактор передачи полностью господствует в языке и исключает всякое общее и внезапное языковое изменение»; стр. 157: «Искажениям никогда не подвергается целая часть системы, а только тот или иной из ее элементов... Несомненно, что каждое искажение отзывается на всей системе; однако исходный факт затрагивает лишь одну ее точку»; стр. 168: «Диахронические факты... навязываются языку, однако они являются по своему характеру не общими, а частными»; стр. 172: «Именно в речи находится зародыш всех изменений: каждое изменение вначале практикуется исключительно небольшим числом индивидуумов, прежде чем войти во всеобщее употребление».

<sup>40</sup> CLG, стр. 165: семантическое изменение франц. *roulre* «не зависело от других изменений, которые могли произойти в это же время». Ср. также стр. 168, 174.

<sup>41</sup> См. утверждение, приведенное в сн. 3, и, кроме того, стр. 154, 236.

<sup>42</sup> Другие изменения, как, например, изменение, приведшее к «фонологической революции в испанском языке Золотого века», хотя они и не одновременны в определенную историческую эпоху, образуют систему в том смысле, что соответствуют одной и той же общей системной целенаправленности. С другой стороны, когда речь идет о «диахронических фактах», их возможная связь должна рассматриваться также в диахронической перспективе; а в этой перспективе многие изменения сплетаются друг с другом в том смысле, что одно изменение создает новое условие неустойчивости (ср. IV, 4.5).

особенно спорной. В самом деле, под «частным характером» Соссюр понимает именно системный характер (звуковых) изменений, т. е. их регулярность, которую он безоговорочно признает<sup>43</sup>. Изменяется, пишет Соссюр, *одна* фонема, *один* фонетический признак, следовательно, во всяком случае, «изолированный элемент». Разумеется, этот факт означает, что изменение затрагивает системное правило, шаблон реализации (ср. III, 4.4.4), однако Соссюр интерпретирует это не так: «Во скольких случаях ни проявлялось бы действие фонетического закона, все эти факты являются манифестациями одного-единственного частного факта»<sup>44</sup>. С другой стороны, фонема является таковой лишь в силу противопоставления другим фонемам, а различительный признак есть именно «примета» противопоставления, то есть системного отношения. Так, в одном из примеров Соссюра (пример на звонкие индоевропейские аспираты, которые в греческом становятся глухими аспиратами<sup>45</sup>) совершенно очевидным образом изменяется фонемная корреляция и целый фонемный «ряд». Однако, по мнению Соссюра, и в этом случае речь идет не о «системном» факте, а только о модификации определенной «фонетической особенности»<sup>46</sup>. Дело в том, что для Соссюра *системное* означает исключительно *грамматическое*, а «языковое изменение» означает практически «изменение фонетическое». Отождествление «фонетического» и «эволюционного», с одной стороны, и «грамматического» и «синхронического», с другой,— это одно из основных положений «Курса» Соссюра<sup>47</sup>. Следовательно, звуковое изменение является «внесистемным» и «внешним по отношению к языку» только в том смысле, что *оно не является*

---

<sup>43</sup> Ср. CLG, стр. 236: «Преобразуется именно фонема-событие, изолированное, как все диахронические события; однако его следствием является идентичное изменение всех слов, где фигурирует данная фонема; в этом смысле фонетические изменения абсолютно регулярны».

<sup>44</sup> CLG, стр. 166.

<sup>45</sup> CLG, стр. 163.

<sup>46</sup> CLG, стр. 166.

<sup>47</sup> Ср. CLG, стр. 154—156; стр. 232: «Диахронический характер фонетики хорошо согласуется с тем принципом, что ничто фонетическое не является значащим или грамматическим»; стр. 248: «Если бы вмешалась грамматика, фонетическое явление совпало бы с синхроническим фактом, что совершенно невозможно»; стр. 363—364: «...явление фонетическое, подверженное эволюции, а не грамматическое, не постоянное».

грамматическим и затрагивает только «материальную субстанцию слова»<sup>48</sup>; таким образом, в указанном аспекте выдвигаемая антиномия между синхронией и диахронией сводится, в конце концов, к терминологической условности.

1.2.4. Разумеется, эта условность не отменяет системности звукового изменения *как такового*. Наиболее важное достижение диахронической фонологии состояло в доказательстве того, что звуковое изменение затрагивает систему звуковых средств языка, а не изолированные «звуки»; тем самым была доказана и автономность (хотя и относительная) фонологических систем как систем технических средств, «шаблонов реализации» в том, что относится к материальному аспекту языка. Напротив, Соссюр видит в звуках только их материальность, но не видит в них собственно языковой формы. Конечно, Соссюр заметил системность «фонем»<sup>49</sup>, но он не ответил никакому месту в синхроническом исследовании языка. Его «фонология», хотя она занимается также и «описанием звуков в данном состоянии языка», находится в действительности «вне времени» и является наукой о речи<sup>50</sup>. Наукой о языке Соссюр считает «фонетику», которая представляет собой «историческую науку»<sup>51</sup> и практически отождествляется с *диахронической лингвистикой*<sup>52</sup>, тогда как *синхроническая лингвистика* отождествляется с грамматикой<sup>53</sup>.

1.2.5. Если бы существовали только звуковые изменения, антиномия, о которой идет речь, могла бы быть оправдана<sup>54</sup>. Однако если звуковые изменения можно назвать «несистемными» (поскольку они не являются грамматическими), то о грамматических изменениях этого сказать нельзя. Эти последние также существуют. Правда,

---

<sup>48</sup> CLG, стр. 64.

<sup>49</sup> CLG, стр. 86, 201.

<sup>50</sup> CLG, стр. 232, 84.

<sup>51</sup> CLG, стр. 84. На самом деле здесь скрыто противоречие.

Если бы фонемы были просто материальными объектами, а не языковыми формами и принадлежали речи, то они также не могли бы иметь историю, поскольку речь не имеет истории: ее имеет только язык. В современных терминах мы сказали бы, что возможна только историческая («диахроническая») *фонология*. Если понимать под *фонетикой* «науку о звуках речи», то «историческая фонетика» — это противоречие в терминах. Звуковые изменения как процессы, происходящие в языках, все являются «фонологическими». Существуют фонетические *инновации*, но нет *фонетических изменений*.

<sup>52</sup> CLG, стр. 232: «Фонетика, и притом вся фонетика,— вот первый объект диахронической лингвистики».

<sup>53</sup> CLG, стр. 223.

<sup>54</sup> Ср. CLG, стр. 232: «Если бы эволюция языка сводилась к эволюции звуков, противопоставление объектов, присущих обеим частям лингвистики, было бы прозрачным: было бы ясно видно, что диахроническое эквивалентно неграмматическому, а синхроническое — грамматическому».

многие из них «сводятся к фонетическим изменениям» (как косвенные следствия этих последних)<sup>55</sup>. Однако «после устранения фонетического фактора остается некоторая часть, оправдывающая идею «истории грамматики»; именно здесь лежит настоящая трудность»<sup>56</sup>. Таким образом, Соссюр ясно осознает трудность (которая, по сути дела, является противоречием); но он даже не пытается устранить ее и, приводя только дидактические соображения, говорит лишь, что «различие между диахроническим и синхроническим должно всегда сохраняться». В результате условность начинает преобладать над реальностью фактов.

1.3.1. Итак, у Соссюра встречается целый ряд блестящих догадок относительно языкового изменения: в частности утверждение, что причина изменения связана не с «исторически объективным аспектом» речевой деятельности (*языком*), а с ее субъективным аспектом (*речью*)<sup>57</sup>; интерпретация аналогии как «системного творчества»; отказ от «общих инноваций» и т. д. Эти догадки сочетаются с рядом противоречий, которые объясняются не только точкой зрения Соссюра на проблему изменения, но и некоторыми существенными особенностями его учения, а именно: а) отождествлением *состояния языка* и просто *языка* (ср. I, 3.3.1); б) концепцией языка как «готовой системы», как *ἑρῶν*; и в) тем, что Соссюр поместил язык в дюркгеймовскую «массу» (ср. II, 1.3.1), что является проявлением платонизма<sup>58</sup> и приводит к отрыву языка от конкретной языковой деятельности.

1.3.2. В самом деле, Соссюр считает, что синхрония («состояние языка») — это «приближение», «условное упрощение»<sup>59</sup>, и, однако, неоднократно пытается приписать ей постоянство и отождествить ее с «языком» как таковым: «...система значимостей, рассматриваемых в себе, и сами эти значимости, рассматриваемые в зависимости от времени»; «язык — это система, все части которой могут и должны рассматриваться в их синхронной взаимообусловленности»<sup>60</sup>. Соссюр считает, что «все, называемое

<sup>55</sup> CLG, стр. 232—233.

<sup>56</sup> CLG, стр. 234—235.

<sup>57</sup> Ср. A. P a g l i a r o, *Il segno vivente*, стр. 119.

<sup>58</sup> Ср. «Forma y sustancia», стр. 61.

<sup>59</sup> CLG, стр. 177.

<sup>60</sup> CLG, стр. 147, 157.

«общей грамматикой», принадлежит синхронии<sup>61</sup> и, как мы видели, противопоставляет 'фонетическому и эволюционному' 'грамматическое и *постоянное*' (ср. сн. 47). Для Соссюра *система* — это *состояние*; а состояние определенным образом *устойчиво*. Разумеется, диахрония становится чуждой системе и непонятной, если синхронии приписывается «постоянство» и если рассмотрение языка «в себе» отождествляется с *моментом* его истории. В действительности, используемая языковая система всегда является синхронной в двух смыслах: во-первых, в каждый момент каждый из элементов системы находится в определенных отношениях с прочими элементами, а во-вторых, сама система синхронизирована с теми, кто пользуется ею (ср. 1.2.1). Однако именно в силу этого последнего обстоятельства она не статична, а динамична. Кроме того, «статичность», хотя это и может показаться парадоксальным, является не синхроническим, а диахроническим фактом: чтобы обнаружить ее, надо рассматривать язык во временной перспективе (ср. I, 3.3.1).

1.3.3. Изменение является для Соссюра «повреждением», «нарушением порядка», «борьбой» слепой силы против системной организации именно потому, что он понимает язык, по сути дела, как замкнутую систему, «созданную» раз навсегда, как «овеществленную абстракцию». Эта концепция, восходящая непосредственно к Шлейхеру, ясно обнаруживается у Соссюра при сравнении языка с планетной системой: «Дело обстоит так, как если бы одна из планет, находящихся в сфере солнечного притяжения, изменилась в размерах и массе; этот изолированный факт повлек бы за собой общие последствия и нарушил бы равновесие всей солнечной системы»<sup>62</sup>. Данное утверждение явно представляет собой парафразу знаменитого положения Коперника о том, что в солнечной системе все соотнесено и связано и, следовательно, «ни в какой ее части ничто не может быть перемещено без возмущения ее остальных частей и всей вселенной». Приведенная аналогия малоудачна. Язык — это не система

<sup>61</sup> CLG, стр. 175. В действительности, «общая грамматика» относится к универсальному плану речи (ср. II, 2.1), в котором можно определить только звуковые единицы и функции. Ср. «Logicismo у antilogicismo», стр. 21; «Determinación у entorno», стр. 32—33, сн. 63; настоящая работа, III, сн. 42. Не следует смешивать план теории с планом описания языка.

<sup>62</sup> CLG, стр. 154.

вещей, а *система технических средств*, моделей и способов создания вещей (ср. II, 3.1.3); он является не замкнутой, а открытой системой (ср. IV, 4.1.1). Поэтому в языковые системы могут проникать инновации «без возмущения ее остальных частей». Верно, что всякое изменение модифицирует в чем-либо систему или по крайней мере ее равновесие; однако изменение не разрушает системы: как указывает сам Соссюр, изменение не является «глобальным» (ср. 1.2.3). В самом деле, язык представляет собой сложную систему, состоящую из многих структур, сцепленных друг с другом таким образом, что, например, изменение в одной парадигме не должно обязательно и немедленно затрагивать ни отношения между этой парадигмой и другими парадигмами того же порядка, ни внутренних отношений в парадигмах. В противном случае всякое изменение производило бы революцию в системе и система была бы лишена непрерывности. Точно так же изменение не влечет за собой неизбежного упадка и разрушения языков, как полагал Шлейхер, именно потому, что оно является не «повреждением», а «восстановлением».

1.3.4. Наконец, Соссюр заметил, что язык изменяется через речь (ср. 1.2.2) и, более того, что исходным моментом изменения является «принятие»<sup>63</sup>. Однако, с его точки зрения, изменения происходят *между* «состояниями языка» и вне системы, так как в его понимании *речь*, будучи «не социальным», а «индивидуальным» фактом, является сущностью, оторванной от языка<sup>64</sup>. Тем не менее Соссюр осознавал, что изменения оказывают на систему определенное воздействие, и даже указывал, что диахронические факты не имеют линейного расположения, а непрерывно перераспределяются в различных системах (ср. VI, сн. 82). Однако само перераспределение — это уже *результат*: соответствующий процесс осуществляется вне языка, в котором «изменения, происходящие между состояниями, не имеют места» (ср. 1.2.1). Таким образом, Соссюр рассматривает только «законченное изменение», изменение как *сдвиг* и игнорирует *изменение* как таковое, изменение как процесс<sup>65</sup>. Соссюровское изменение — это

<sup>63</sup> Ср. CLG, стр. 64: «Наши языковые навыки изменяются под влиянием впечатлений, которые мы получаем, слушая других».

<sup>64</sup> Ср. II, 1.3.1 и SNH, стр. 29—30.

<sup>65</sup> По этому поводу Р. Уэллз (цит. статья, стр. 23) замечает, что Соссюр оставляет без внимания изменения в частоте употреб-

*замещение* одного элемента другим: чтобы в языке появился новый факт, старый факт должен уступить ему свое место (ср. I.1.3). При этом имеется в виду не язык, понимаемый как языковая техника отдельных говорящих (что было бы приемлемо: ср. II, сн. 53), а именно «язык массы». В самом деле, по мнению Соссюра, «в истории любой инновации наблюдается два различных момента: 1) момент, когда инновация возникает в речи индивидуумов; 2) момент, когда она, оставаясь внешне той же, принимается всем коллективом и становится фактом языка»<sup>66</sup>. Возникает вопрос: к чему следует отнести изменение между этими двумя моментами? «К речи», — ответил бы, вероятно, Соссюр<sup>67</sup>. Но тогда возникает явный парадокс: сколько индивидуумов нужно, чтобы образовалась «масса» или «коллектив»? Предположим, что минимальный языковой коллектив состоит из десяти индивидуумов. Тогда сколько индивидуумов должны будут принять инновацию, чтобы она стала «фактом языка», — четыре, пять, большинство или *все*? А что, если инновация вообще не будет принята всеми десятью и первоначальная система окажется распавшейся на два «диалекта»? В действительности «второго момента» Соссюра как такового не существует: он представляет собой ряд моментов, соответствующих индивидуальным актам принятия нового языкового факта в качестве «модели», т. е. факта языка (ср. III, 3.2.2). «Инновация» начинает принадлежать языку с момента своего «распространения», т. е. когда говорящие начинают принимать ее в качестве нового шаблона выражения. Здесь сталкиваются оба соссюровских противопоставления между *языком* и *речью*<sup>68</sup>: существенное и подлинное противопоставление между «виртуальным» и «актуальным», с одной стороны, количественное и случайное противопоставление между «социальным» и «индивидуальным» — с другой. Соссюр пишет: «Ничто не существует в языке, не будучи испытанным раньше в речи»<sup>69</sup>; однако то, что испы-

ления тех или иных элементов, считая эти изменения «синхроническими фактами», поскольку они не изменяют языка. На самом же деле они не изменяют систему, но изменяют *норму*, т. е. равновесие *системы* (ср. II, 3.1.3), а изменение системы — это полное смещение нормы. Ср. SNH, стр. 64—65.

<sup>66</sup> CLG, стр. 173.

<sup>67</sup> Это не простое умозаключение; ср. CLG, стр. 172—173.

<sup>68</sup> Ср. SNH, стр. 24 и сл.

<sup>69</sup> CLG, стр. 271.

тывается, — это уже «язык», а не просто «речь», а то, что является «исключительной практикой определенного числа индивидуумов» (ср. сноску 39), уже принадлежит языку этих индивидуумов и вошло в «узус»<sup>70</sup>. Чтобы сохранить антиномию между синхронией и диахронией — между «системой» и изменением, — Соссюр пожертвовал реальным разнообразием исторического языка<sup>71</sup> и попытался поместить диахроническое в сферу *речи* (которая отделяется от *языка* посредством еще одной антиномии). Однако это противоречие в терминах, поскольку речь, будучи «случайной» и «моментальной», лишена непрерывности: она по преимуществу «синхронна» (ср. сн. 51). Более того, это является противоречием и в рамках системы Соссюра, так как его «диахроническая лингвистика» — это как раз «наука о языке», а не о речи<sup>72</sup>. Следовательно, изменяется именно язык, но изменение нельзя изучать

<sup>70</sup> Таким образом, изменение фактически представляет собой отрицание «языка массы», ибо оно должно начаться в речи одного индивидуума и распространиться на речь других. Однако в то же время оно является подтверждением социального характера языка в подлинном смысле этого слова (ср. II, 1.3.3).

<sup>71</sup> Вспомним, что соссюровское «состояние языка» — это «сознательное упрощение» и что Соссюр открыто признал трудности, связанные с выделением состояния языка как во времени, так и в пространстве (CLG, стр. 177). Однако вопреки общепринятым представлениям о них сознательные упрощения оправданы и безопасны на практике в процессе эмпирического исследования и описания системы; но они недопустимы в теории, которая должна учитывать все стороны изучаемой реальности. По крайней мере в теории не следует забывать о принятых операционных сокращениях и смешивать принятые условности с действительностью. Естественно, что антиномия, претендующая на отражение действительности, не может основываться на «принятом упрощении», на «приближенном представлении».

<sup>72</sup> А. Сэше (A. S e c h e h a u e, *Les trois linguistiques saussuriennes*, «*Vox Romanica*», V, 1940, стр. 7—9) справедливо утверждает, что антиномия между синхронией и диахронией преодолевается в речи, которая некоторым образом относится к синхронии и к диахронии и является одновременно использованием и преодолением языка. Это несомненно. Однако суть дела в том, чтобы выяснить, как преодолевается эта антиномия в *языке* и при его изучении, а не просто как она решается в языковой деятельности, где в действительности этой антиномии не существует и она даже не предполагается. То, что речь преодолевает язык и в известном смысле предшествует ему, указывалось еще самим Соссюром: «Язык необходим, чтобы речь была понятна и давала все ожидаемые от нее эффекты; но речь необходима, чтобы сформировался язык; исторически факт речи всегда предшествует языку» (CLG, стр. 64). Таким образом, указание Сэше является лишь исходной точкой для

в языке, поскольку оно «является внешним по отношению к системе»; его следовало бы изучать в речи, но это также невозможно, поскольку речь не «диахронна». Если принять соссюрские тезисы, из этого круга невозможно выйти. И в самом деле, Соссюр даже не считал возможным существование специальной дисциплины, изучающей изменение: его «диахрония» (историческая фонетика) — это просто регистрация происшедших изменений<sup>73</sup>.

1.3.5. Подведем итог: Соссюр, стремясь утвердить синхронию и отличить синхроническую точку зрения от диахронической, не замечает, что различие между ними заключается лишь в разном подходе к языку, и не пытается примирить эти точки зрения. Наоборот, он превращает различие подходов в неприемлемую реальную антиномию, не замечая при этом, что «диахронический факт» фактически формирует «факт синхронический» и что «изменение» и «реорганизация системы» — это не два различных явления, а одно-единственное явление<sup>74</sup>. Учение Соссюра часто противопоставляют так называемому «атомизму»

---

преодоления антиномии, но еще не самим преодолением. В самом деле, изменение происходит *благодаря* речи, но оно происходит в языке. Проблема изменения является именно проблемой «языка», а не проблемой «речи»; в речи можно изучать «инновации», но не изменения (ср. III, 3.2.1). Верно, однако, что исходным принципом изменения (и языка) является речь, но не «гетерогенная речь», а речь, конституирующаяся как язык. По этому поводу целесообразно вспомнить глубокую догадку Соссюра о том, что дар речи — это, по сути дела, «способность создавать язык, т. е. систему различных знаков, соответствующих различным идеям» (CLG, стр. 53). Действительно, даже те акты речи, которые абсолютно никогда раньше «не имели места», все равно являются «языком» по своей целенаправленности, так как они предзначают «для другого» (ср. III, 2.3.4). Именно в этом, а не в строго соссюрском смысле следует интерпретировать следующее высказывание Соссюра: «Не столь уж фантастично утверждение, что именно язык обеспечивает единство речевой деятельности» (CLG, стр. 53).

<sup>73</sup> Ср. CLG, стр. 64: «Очевидно, интересно искать причины этих изменений, и здесь нам может помочь исследование звуков; однако этот вопрос не является основным: для науки о языке всегда достаточно зарегистрировать преобразования звуков и вызванные ими следствия».

<sup>74</sup> А. Алонсо в своем предисловии к CLG (стр. 10, сноска) пишет, что «антиномии Соссюра по своему строению и проявляющемуся в них стилю мышления восходят к Гегелю через посредство лингвиста-гегельянца В. Генри». Возможно, это так; однако сходство между Соссюром и Гегелем не заходит очень далеко. Антиномии Гегеля постоянно разрешаются в динамической и конкрет-

младограмматиков. Но это верно лишь отчасти, поскольку сам Соссюр противопоставляет свое учение младограмматикам не в сфере их преимущественных интересов. Их «атомистической» диахронии Соссюр противопоставил системность своей синхронии. Однако в истории языка, т. е. в области, которой посвятили себя младограмматики, он не только не выступил против «атомизма», а, наоборот, попытался закрепить его и оправдать теоретически. Диахрония Соссюра гораздо более «атомистична», чем *Sprachgeschichte* Пауля<sup>75</sup>.

2.1. Антиномия между синхронией и диахронией, как кажется, является отражением той непреодолимой трудности, с которой столкнулся Соссюр, стремясь примирить смысловое («духовное») и материальное в речевой деятельности, а с другой стороны — проявлением внутреннего конфликта в мышлении Соссюра: конфликта между его тонким пониманием языковой действительности и нечеткостью его общей концепции языка. Бесспорно, Соссюр занимает выдающееся место в истории лингвистики не только благодаря многим несомненным достоинствам своего учения, но и потому, что он представляет момент кризиса. Соссюра еще можно причислить к лингвистам-«натуралистам», но вместе с ним начинается кризис натурализма. С одной стороны, Соссюр по-прежнему воспринимает язык как «естественный объект», т. е. объект внешний по отношению к человеку (именно в этом смысле он употребляет словосочетание «язык массы», а не в смысле «социальный»; ср. II, 1.3.2); с другой стороны, он интуитивно чувствует существенную историчность языка (ср. 1.1.2) и, рассматривая «язык в его функционировании», понимает его как конкретную (историческую) технику речи, т. е., по сути дела, как «культурный объект», хотя и не отмечает того, что «язык в его функционировании — это фактически речь»<sup>76</sup>. Далее, вводя

---

ной полноте реального; антиномии Соссюра, напротив, абстрактны и оказываются неразрешимыми.

<sup>75</sup> А. Алонсо (предисловие, стр. 20) пишет относительно соссюровской антиномии: «Двойственная точка зрения сохраняет полную силу для двух направлений исследования: с синхронической точки зрения исследуется говорящий, который живет в рамках функционирования своего языка; диахроническая точка зрения характерна для историка, который наблюдает последовательные преобразования языка». Несомненно, именно таков подлинный смысл рассматриваемого различия (ср. I, 2.3.1); но в этом смысле оно не является соссюровским. Нельзя забывать, что *диахрония* Соссюра — это не *история* и что в лингвистических терминах его антиномия сводится в конце концов к противопоставлению *исторической фонетики* и *описательной грамматики*.

<sup>76</sup> Обычно говорят, что Соссюр пренебрег «лингвистикой речи». Это не совсем верно. В главах его «Курса», посвященных функционированию языка (CLG, II, 5—6, стр. 207—222), можно найти великолепные образцы «лингвистики речи». Так, при рассмотрении схемы ассоциативных связей слова «*обучение*» (стр. 212) речь идет,

понятие 'ценности'<sup>77</sup>, которую, к сожалению, он интерпретирует не как *культурную ценность* (что позволило бы ему правильно трактовать материальное в речевой деятельности), Соссюр отходит от натурализма и в другом направлении. Однако при этом он «движется по касательной» по отношению к культурной действительности языка, стремясь интерпретировать языковые системы как «математические объекты». В этом же направлении ориентированы его положения о том, что «язык» — это форма, а не субстанция<sup>78</sup> и что «в языке есть только различия без положительных признаков»<sup>79</sup>.

Таким образом, последователи Соссюра могли идти весьма различными путями<sup>80</sup>, всегда оставаясь при этом в согласии с теми или иными положениями многогранного учения Соссюра о языке.

2.2. Женевская школа (Балли, Сэше, Фрей) сконцентрировала свое внимание прежде всего на способах функционирования языка, на языке как технике речи, а поскольку «функционирование языка» — это, собственно говоря, речь, то нет ничего удивительного в том, что

собственно говоря, не о связях в «языке», а об отношениях между *сказанным словом* и его «языковым контекстом»; ср. «Determinación y entorno», стр. 48.

<sup>77</sup> CLG, стр. 191 и сл.

<sup>78</sup> CLG, стр. 206. Ср. «Forma y sustancia», стр. 66—67.

<sup>79</sup> CLG, стр. 203. Тезис о чисто отрицательном определении языковых единиц основывается на смешении уровней абстракции: только «различиями» (несмешением одной единицы с другими) характеризуется «языковая единица вообще», а не «определенная единица в определенной системе». Приводя свой пример с буквой t (CLG, стр. 202), Соссюр имеет в виду условия, необходимые для того, чтобы «быть буквой», а не условия, необходимые для того, чтобы «быть буквой t» (хотя в приведенном примере и говорится именно об этих последних), поскольку в конкретном (частном) смысле «различие» означает *определенные пределы варьированности* в реализации функциональной единицы (ср. сн. 8). Точно так же, для того чтобы фонема была *фонемой*, достаточно противопоставить ее другим фонемам, т. е. чтобы она была «тем, чем не являются другие»; однако, чтобы стать *определенной фонемой*, она должна быть «тождественной сама с собой», что является положительным признаком; ср. «Forma y sustancia», стр. 53. Например, исп. /b/ является фонемой потому, что оно отлично от прочих испанских фонем; но оно является фонемой /b/, а не /f/, /g/, /o/ и т. д. потому, что соответствует определенной функциональной зоне и, следовательно, определенной зоне звуковых реализаций. Вообще, не только в лингвистике, а в любой науке «класс» является классом потому, что он отличен от других классов; но он является именно данным, определенным классом благодаря внутренней связности его элементов, которые конституируют его как класс и противопоставляют его другим классам: абсурдно утверждать, что кошки являются кошками только потому, что они не собаки. В более глубоком смысле утверждение, что в «языке есть только различия, без положительных признаков», означает, что в речевой деятельности внутренняя связность «классов» определяется единством функции и что «границы» не существуют сами по себе (в «субстанции») до тех пор, пока их не установит языковая форма; ср. «Forma y sustancia», стр. 32 и сл.

<sup>80</sup> SNH, стр. 30, 31, сн. 2.

женевцы развили именно «лингвистику речи». Подобный подход позволил им наблюдать и изучать механизм преобразования языка в речь и отбор материала, предлагаемого языком для различных целей выражения (актуализация, «стилистика языка»), речь как использование языка (*parole organisée*) и «системное» преодоление «нормы» через посредство речи в его первоначальных и многообразных аспектах, еще не подвергшихся историческому отбору (*grammaire des fautes*). Это, несомненно, «синхрония», но синхрония подвижная, живая, пульсирующая. Среди последователей Соссюра женевицы более других приблизились к пониманию языка как «культурного объекта»; они наиболее внимательны к смысловым оттенкам и к их субъективным значимостям, наиболее расположены к регистрации и изучению «вертикального» разнообразия (ср. VI, сн. 67) и «стилистики» языка. Однако именно эти в высшей степени положительные аспекты подхода наряду с недостаточным вниманием к изучению материальной стороны речевой деятельности с точки зрения ее системности и с пренебрежением к ее «пространственному» разнообразию помешали женевицам выйти за пределы повседневного создания языка и встать на точку зрения, в соответствии с которой это создание наблюдалось бы как исторический процесс<sup>81</sup>.

2.3. Напротив, глоссематика, сосредоточившись на изучении абстрактных языковых структур, оторванных не только от речи как таковой, но и вообще от любой реализации в субстанции, решительно взяла курс на интерпретацию языка как «математического объекта»<sup>82</sup>. В самом деле, «язык» Ельмслева — это «сеть функций», понимаемых в математическом смысле как отношения между «функционами», т. е. чисто формальный объект, независимый от его манифестации в какой-либо «субстанции» (звуковой, графической и т. д.). Центральным пунктом глоссематики является соссюровский тезис «язык — это форма, а не субстанция» и сведение языка к чисто «формальной» (реляционной) структуре: все, что не есть «чистая форма» в глоссематическом смысле, — это не собственно «язык» (*схема*), а реализация, «речь» (*узус*)<sup>83</sup> и — по отношению к чистой форме — «субстанция»; так, например, звуковой язык является субстанцией по отношению к схеме, которую он манифестирует.

<sup>81</sup> В концепции женевицев есть один аспект, который часто становится недостатком: они хотят любой ценой сохранить и отстоять «чистоту» учения Соссюра и считают непониманием или враждебным выпадом любое расхождение с ним. Соссюр высказал столько глубоких и стимулирующих дальнейшее развитие науки положений, что вовсе незачем защищать его ошибки и противоречия.

<sup>82</sup> Критический обзор принципов глоссематики см. в «Forma y sustancia», стр. 38 и сл. Там же можно найти необходимые библиографические ссылки. См. также В. Siertsema, A study of glossematics, Гаага, 1955. О проблеме формы и субстанции см. F. Hintze, Zum Verhältnis der sprachlichen «Form» zur «Substanz», «Studia Linguistica», III, 1949, стр. 86—105.

<sup>83</sup> Именно в этом смысле Ельмслев (L. Hjelmslev, Langue et parole, «Cahiers Ferdinand de Saussure», 2, 1942, стр. 32—33, 40, 43, 44) интерпретирует и исправляет соссюровское различие. Ср. его же: «Prolegomena», стр. 51—52, 68; «La stratification du langage», «Word», X, 1954, стр. 188, где различаются, с одной стороны, «схема», а с другой — «норма», «узус» и собственно *речь*.

Однако этот пункт не является неуязвимым. Во-первых, в глоссематике субстанция «содержания» (семантическая субстанция) не может занимать симметричную позицию по отношению к субстанции «выражения». Субстанций реализации может быть несколько, и в известном смысле язык можно рассматривать как независимый от любой конкретной субстанции (хотя и не от субстанции вообще)<sup>84</sup>. Но есть только одна субстанция «содержания», и языковая форма явно не может считаться независимой от нее. Употребляя глоссематические термины, можно сказать, что с субстанцией содержания языковая форма связана функцией «интердепенденции» (отношением между двумя постоянными)<sup>85</sup>, поскольку языковая форма не существует и не может мыслиться без субстанции «содержания»; нет языка без значения. Во-вторых, субстанция «выражения» также никоим образом не является безразличной. Различие между «формой» и «субстанцией», введенное в лингвистику Гумбольдтом<sup>86</sup>, есть не что иное, как известное аристотелевское различие между μορφή и ὕλη. Комбинируя это различие с различием, которое установил Вико между основными типами объектов и которое, впрочем, намечено уже у самого Аристотеля<sup>87</sup>, можно сказать, что: а) у *естественных объектов* форма определяется субстанцией, т. е. эти объекты представляют субстанции, принимающие определенную форму (например, определенная субстанция (вещество) кристаллизуется определенным образом); б) у *математических объектов* конкретная субстанция совершенно безразлична: математические объекты являются чистой формой, которая никоим образом не зависит от ее реализации в той или иной субстанции; в) у *культурных объектов* субстанция определяется (избирается) формой — они суть формы, воплощающиеся в определенной субстанции. Для этих последних объектов, к которым относятся также речевая деятельность, субстанция безразлична и ею нельзя пренебречь<sup>88</sup> не потому, что она является «определяющей», а именно потому, что она определяется формой: форма избирает наиболее

<sup>84</sup> Даже и в этом смысле субстанция может быть «безразличной» только по отношению к *другой субстанции*, но не по отношению к форме, что, как кажется, Ельмслев понимает. Отношение «детерминации» (отношение постоянной и переменной) имеет место между формой и конкретной субстанцией (которая может быть той или иной); но между формой и субстанцией *как таковой* имеет место «интердепенденция», поскольку языковая форма всегда является формой субстанции.

<sup>85</sup> Форма и субстанция содержания являются *постоянными* как «функтивы» отношения интердепенденции — в том смысле, что они не существуют одна без другой (т. е. в смысле единства языка и мышления); но в смысле идентичности каждой из них с самой собой они являются переменными, и обе взаимно определяют (обуславливают) друг друга.

<sup>86</sup> Ср. «Sprachbau», в частности стр. 47—49.

<sup>87</sup> См., например, «Physica», II, 2.

<sup>88</sup> Ф. Уитфилд (F. J. Whitfield, Linguistic usage and glossematic analysis, в кн. «For Roman Jakobson», Гаара, 1956, стр. 671) в своих глубоких и доброжелательных замечаниях по поводу некоторых пунктов моей интерпретации глоссематики указывает, что Ельмслев различает «материю» как таковую (purport)

подходящую для себя субстанцию, заранее считаясь с возможностями избираемой субстанции. Мы снова встречаемся с аналогичными ситуациями в речевой деятельности и в искусстве: статуя, безусловно, является «формой», но она с самого начала задумана как организующая форма определенной субстанции — она задумывается для бронзы, мрамора, дерева или камня, но не для любой материи. Разумеется, форму можно частично перенести и в другую субстанцию; например, с мраморной статуи можно снять бронзовую копию. Но в новом материале форма перестает быть «той же самой». Реализация в различных субстанциях влечет за собой различие не только в субстанции, но и в форме. Сам Ельмслев признает, что «в нормальном случае таких языков, как французский или английский», в результате фонемного и морфемного анализа мы получили бы две различные «семiotические формы». Но, чтобы доказать независимость «формы», он прибегает к таким «аномальным» случаям, как произношение и соответствующая фонологическая транскрипция<sup>89</sup>, не замечая условности этих случаев (поскольку рассматривать данную вторичную субстанцию как манифестацию именно этой, а не другой формы — явная условность). Но даже и в этих случаях в графику переводится не вся звуковая форма, а лишь та ее часть, которую решено рассматривать как переносимую и которую могут представлять графические средства<sup>90</sup>. Это означает, что субстанция «безразлична» лишь тогда, когда (и в той мере, в какой) мы договариваемся считать ее таковой. Следовательно, игнорировать субстанцию и заниматься только так называемой «чистой формой»<sup>91</sup> — значит *по соглашению* превращать язык в «математический объект».

и «субстанцию» (substance), т. е. материю, сформированную языком. Замечание Уитфилда справедливо. Однако, во-первых, употребление термина «ruptor» в «Prolegomena» и вообще в глоссематике непоследовательно, что частично объясняется асимметрией между планом содержания и планом выражения: что касается содержания, то этот термин применяется к неоформленной и неосознанной материи (к так называемому «аморфному мышлению»); что же касается выражения, то он применяется к уже оформленной и известной материи (звуковой, графической и т. д.). Во-вторых, глоссематика требует, чтобы при анализе языковой формы игнорировалась также «материя, манифестирующая форму» («субстанция»), а не только материя как таковая. Ср. «Prolegomena», стр. 50, 67—68.

<sup>89</sup> «La stratification», стр. 174. Ср. также «Prolegomena», стр. 66.

<sup>90</sup> Ср. «Forma y sustancias», стр. 57—59.

<sup>91</sup> Ф. Уитфилд (цит. статья, стр. 674—675) замечает, что на практике глоссематика не исключает обращения к субстанции и что анализ самой субстанции (как «языкового узуса») также не исключается, а лишь переносится на другие этапы исследования, осуществляемые после «схематического» анализа. Однако разве это не означает признания на практике того, что в теории отрицается, т. е. того, что язык не является чистой формой? Заметим, что, когда речь действительно идет о чистых формах (например, о математических объектах), проблема субстанции не ставится вообще ни на каком этапе. Впрочем, мои аргументы против глоссематики носят не практический, а теоретический характер: они направлены против глоссематической концепции языка. Язык не является ни чистой формой, ни формой, организованной *между* двумя субстан-

Здесь нет ничего опасного, если это соглашение формулируется явно, поскольку все объекты, в том числе и культурные, можно изучать математически — как математические объекты. Но это становится опасным, если полагать, что такой способ рассмотрения языка является 'самым правильным' (или единственно правильным) и соответствует подлинной реальности изучаемого объекта<sup>92</sup>, потому что все это в действительности означает сведение культурного объекта к математическому, то есть превращение языка в то, чем он не является<sup>93</sup>. Во всяком случае, в интересующем нас аспекте подход к языку как к математическому объекту, т. е. как к структуре не просто синхронной, а постоянной, статической, вневременной, мешает глоссематике увидеть историчность и динамизм языковых систем и поставить проблему изменения. Глоссематика взяла на себя вполне законную и важную задачу — определить постоянные свойства языковых систем — то, 'благодаря чему язык является языком' и может функционировать как таковой. Возникает, однако, вопрос, не нужно ли включить в исследование наряду с изучением указанных свойств также и проблему изменения, поскольку с эмпирической точки зрения именно изменение отличает языки от псевдоязыковых систем. Адекватная теория языка не может быть сведена к простой методологии описания. Несомненно, «каждому процессу [речи] присуща соответствующая система»<sup>94</sup>, а каждой языковой системе присущ свой исторический процесс, «развитие». Поэтому система должна быть описана посредством таких характеристик, которые понятным и непротиворечивым образом объясняли бы ее развитие.

---

циями; он есть форма, *организующая* субстанции. В «Forma у substantia» я указывал главным образом на то, что формальное в языке не может быть познано и описано без обращения к материальному, поскольку формальное дано в материальном, а материальное заключено в форму, организующую его. Субстанцию нельзя игнорировать, так как она определяется (избирается) формой и воплощает ее.

<sup>92</sup> Таково мнение Ельмслева, который считает, что его концепция «языка» соответствует обычному пониманию этого термина (ср. «Langue et parole», стр. 36), и прямо пишет, что «схема» является реальностью (там же, стр. 43).

<sup>93</sup> Глоссематический «математизм» сохраняет, однако, натуралистические пережитки. Так, Ельмслев говорит, что «функцивы», обнаруженные анализом схемы, можно рассматривать как единицы физической природы («Prolegomena», стр. 79). Но здесь возникает значительная трудность: так, например, непонятно, какую физическую природу могут иметь кенемы. Относительно попытки уклониться от ответа на вопрос, чем же являются элементы языка (как если бы речь шла о некоем внешнем объекте), см. VI, сн. 22. Сам Ельмслев («Prolegomena», стр. 14) несколько иронически говорит о «наивном реализме», рассматривающем объекты как таковые, а не как пересечения зависимостей. Однако «у наивного реализма» есть на это определенные основания, так как в случае языка речь идет не о *постулированных* объектах, а об объектах, *созданных* человеком.

<sup>94</sup> «Prolegomena», стр. 5.

2.4. Лишь Пражская фонологическая школа, сосредоточив свое внимание на критической точке системы Соссюра (вопросе о звуковом материале языка) и сумев включить материальное в рамки системности, последовательно сделала все выводы, касающиеся соссюровской антиномии, и с самого начала утверждала необходимую взаимозависимость между синхронией и диахронией. Однако, стремясь сохранить концепцию языка как «внешнего объекта», Пражская школа незаметно впала в иллюзию «причинности» или «объективной целенаправленности» (телеологии) системы. Таким образом, появился риск подставить вместо языка, который «навязывается говорящим субъектам», изменение, которое навязывается им как внешняя необходимость. В самом деле, фонология преодолевает натурализм в частном (поскольку считается, что каждый элемент системы определяется его функцией); однако фонология еще не сумела преодолеть натурализм на историческом уровне, по отношению к языку как целому, который по-прежнему понимается как «продукт», а не как внутренняя техника языковой деятельности. Этим объясняется, что некоторые фонологи стремятся приписать различию между «внутренними» и «внешними» факторами определенный смысл и что фонология все еще допускает нефункциональные («фонетические») изменения, которые в действительности не должны допускаться. Далее, благодаря стремлению сохранить другую соссюровскую антиномию — между «языком» и «речью» — и благодаря неизбежной схематизации, присущей всякому структуральному исследованию (ср. VI, 4.3.3), фонология все еще рассматривает изменение как явление, происходящее *между* состояниями языка. Без сомнения, диахронический структурализм, продолжая развивать идеи Якобсона, уже пришел к динамической концепции языка, о чем свидетельствуют прежде всего труды А. Мартине<sup>95</sup>. Однако это эмпирическая, «фактическая» динамичность, не имеющая исчерпывающего теоретического объяснения. Диахронический структурализм должен сделать еще один шаг вперед, чтобы понять следующее: язык является динамичным не потому, что он изменяется (т. е. не потому, что изменение является «фактом»), а изменяется потому, что является динамичным по своей природе: речевая деятельность — это свободная, т. е. творческая, деятельность. Далее, освободившись от каузализма, диахронический структурализм должен полностью отказать от взгляда на язык как на уже реализованную систему, в которой происходят изменения, и прийти к пониманию изменения как становления системы. Наконец, в соответствии с выводами из его собственных достижений диахронический структурализм должен из простой «диахронии» превратиться в *структуральную историю*.

3.1.1. Таким образом, с теоретической точки зрения соссюровская антиномия может быть коренным образом преодолена только благодаря пониманию языка

---

<sup>95</sup> См. его высказывания в «Ésopomé», стр. 194. Среди лингвистов, не связанных с идеализмом, Мартине в настоящее время подошел ближе всех к концепции языка как *ἐνέργεια*. В ряде аспектов он приблизился к данной концепции больше, чем некоторые ученые, называющие себя идеалистами, но продолжающие работать с аморфными и нефункциональными фрагментами языка.

как ἐνέργεια, т. е. посредством рассмотрения изменения не просто как модификации уже реализованной системы, а как непрерывного создания системы. Обычно, чтобы объяснить изменение, исходят из системы: систему рассматривают как данное, а изменение — как проблему. Однако, строго говоря, более логично поменять систему и изменение местами: «становление» языкового элемента предшествует его «реализованному состоянию». Для того чтобы понять образование системы (а не для того, чтобы описать *определенную* систему в *определенный* момент), следует исходить из изменения: ведь реальность системы, разумеется, не менее проблематична, чем реальность изменения. Точнее говоря, следует исходить из создания языка вообще (что включает и его воссоздание). На вопрос «как устроена данная система?» отвечают, описывая эту систему в настоящий момент; ответы можно обобщить и таким образом установить, какими бывают обычно языковые системы. Но на вопрос «почему в языке существует система?» можно ответить, лишь сказав, что система существует потому, что она создается. Следовательно, если в каждый момент язык является системой и если в каждый данный момент «мы находим его изменившимся», то, значит, он изменяется как система, т. е. создается системно (ср. IV, 2.3). А это последнее, как мы видели, означает, в конце концов, что деятельность, создающая язык, сама является системной (ср. III, 4.4.7): то, «благодаря чему язык является языком», — это не просто его структура (которая лишь обуславливает его функционирование), но языковая деятельность, творящая язык и сохраняющая его как традицию. Если понимать изменение в качестве системного создания языка, то, очевидно, никакого противоречия между «системой» и «изменением» не существует и, более того, тогда следует говорить даже не о «системе» и «движении» как о противопоставленных друг другу вещах, а о «системе в движении»: развитие языка — это не постоянное «изменение», произвольное и случайное, а постоянная *систематизация*. Каждое «состояние языка» обладает системной структурой именно потому, что оно является моментом этой систематизации. Используя понятие «систематизации», антиномии между диахронией и синхронией удастся преодолеть коренным образом, поскольку одновременно устраняется как несистемность диахронического, так и статичность системного. Таким

образом, становится ясно, что для понимания языка как системы незачем устранять или игнорировать изменение: ведь изменение не противостоит системе. Наоборот, отрицание системности, присущей языковым системам, т. е. динамической системности,— это статичность, которая постепенно делает невозможным функционирование языковых систем как таковых и способствует превращению этих систем в «мертвые языки» (ср. II, 1.1).

3.1.2. С другой стороны, сосюрровская антиномия *преодолевается* указанным образом в подлинном смысле этого слова, т. е. она «снимается» как противоречие, но не аннулируется, ибо сохраняется как различие. Она сохраняется не только в различии точек зрения (между *описанием* и *историей*), но и в реальном различии: между *функционированием* и *созданием* языка или, с точки зрения отдельного говорящего и минимальной единицы изменения,— между *употреблением* и *принятием* языкового элемента. Язык функционирует синхронно, а создается диахронно. Однако эти термины не антиномичны и не противоречивы, поскольку создание осуществляется для функционирования. Поэтому исследования, описывающие синхронию и диахронию, оставаясь по своей сути различными, должны предполагать преодоление указанной антиномии как таковой.

3.2. Практическое преодоление антиномии всегда является недостаточным в таком *описании*, которое, рассматривая «состояние», актуальность некоторой системы, не может обратиться к предшествующим этапам, не теряя при этом логической связности; задача такого описания состоит в том, чтобы учесть функционирование рассматриваемого языка в настоящий момент. Однако само это функционирование обуславливает возможное преодоление «состояния языка» *по направлению к будущему*. В самом деле, для говорящих современный язык — это не только совокупность уже реализованных форм и моделей, которые надлежит употреблять как таковые (*норма*), но также и техника, позволяющая выйти за пределы уже реализованного, т. е. «система возможностей» (*система*; ср. II, 3.1.3 и IV, сн. 32). Следовательно, описание должно учитывать открытые возможности — все то, что является «продуктивным шаблоном», схему, с помощью которой можно реализовать то, что еще не существует как норма; все это относится не только к морфологии, но и к синтаксису,

к лексике (словопроизводство и словосложение)<sup>96</sup> и даже к фонетической системе, где амплитуда возможных реализаций неодинакова для всех функциональных единиц. Таким образом, описание должно рассматривать язык как *открытую систему*, поскольку для говорящих язык является открытой системой: он позволяет им преодолеть традицию, продолжая ее. Далее, описание должно учитывать тот факт, что описываемое «состояние» — это момент «систематизации», т. е. динамической реальности, и фиксировать все то, что в самой системе является проявлением ее неустойчивости, т. е. реальной динамичности языка. Так, описание должно вскрывать внутренние противоречия системы (ср. IV, 4.4) и ее «слабые точки» (элементы, стоящие вне структур, и элементы с малой функциональной нагрузкой). Оно не должно пытаться представить как «уравновешенное» то, что не уравновешено; например, не следует уравнивать с помощью так называемой «симметрии системы» то, что функционально не находится в равновесии (ср. VI, сн. 44). Наконец, описание должно учитывать как «интенсивное», так и «экстенсивное» разнообразие изучаемого состояния языка, поскольку и то и другое является отражением динамичности языка в синхронной проекции (ср. IV, 2.4) и представляет для говорящих наличную возможность выбора. Следует отказаться от стремления описывать 'абсолютно единообразные'<sup>97</sup> типы речи, потому что объективно таких типов не существует: реальный говорящий всегда имеет перед собой многочисленные традиции и может свободно располагать ими для различных целей выражения. Структуральные схемы должны служить для осознания и упорядочения языкового разнообразия, а не для уничтоже-

---

<sup>96</sup> В одном из тезисов Пражской школы (TCLP, I, 1929, стр. 8) справедливо подчеркивается, что различие между продуктивными и непродуктивными схемами — это 'факт диахронии', который необходимо учитывать при синхронном описании. С другой стороны, Ф. де Соссюр (CLG, стр. 149—150) указывает, что словообразование относится к грамматике (т. е. к синхронической лингвистике), и считает синхронической задачей 'фиксирование норм для языкового узуса', что относится уже к будущему. О различии между «системой» и «нормой» в разных областях языка ср. SNH, стр. 42—54.

<sup>97</sup> Например, *идиолекты* (ср. II, 3.5.2), или в формулировке Д. Джоунза («The phoneme», стр. 9) 'язык, выведенный из речи одного-единственного индивидуума, говорящего в определенном и однородном «стиле»'. Ср. «Forma y sustancia», стр. 70—71.

ния его<sup>98</sup>. Вспомним, кстати, что благодаря сосуществованию разных систем в одном и том же «состоянии языка» определенные аспекты этого разнообразия могут относиться к «архисистеме» (ср. II, 3.5.1).

3.3.1. Однако, что касается *возможностей* дальнейшей систематизации, которые могут и не осуществиться, описание как таковое не отражает конкретной динамичности языка. Поэтому действенное преодоление сосюрской антиномии в плане исследования языков возможно только в *истории*, поскольку лишь история «рассматривает факты в их становлении» (ср. VI, 4.3.3) и охватывает единым подходом как становление, так и функционирование, или, выражаясь терминами Соссюра, как «следование», так и «состояния». Другими словами, только история может полностью учесть динамическую реальность языка, рассматривая его как «создающуюся систему» и в каждый момент его развития — как актуальность традиции. Однако историю языка надо понимать не как «внешнюю историю», а как «внутреннюю историю», как изучение самого языка в качестве исторического объекта: история языка должна полностью охватить и растворить в себе так называемую «историческую грамматику»<sup>99</sup>. Известно,

---

<sup>98</sup> Ср. замечание Мальмберга («Acta Linguistica», III, стр. 43): «Нужно начинать с построения схемы. Это очевидно. Но на этом не следует останавливаться. Надо продолжать анализ, чтобы выяснить все факторы, которые, если собрать их вместе, образуют рассматриваемый язык». В той же самой связи А. Мартине указывает, что выделение структур не означает игнорирования сложности языковой действительности: это просто установление иерархии фактов («Écopotie», стр. 13); он пишет далее, что фонология должна заниматься также неразличительными звуковыми фактами (там же, стр. 37). В самом деле, установить функциональные структуры важно, поскольку в каждый момент существования языка ими определяются пределы варьировемости реализаций. Однако важно также изучать «нормальные» варианты реализации, поскольку эти последние представляют неустойчивое равновесие системы. В этом отношении оказывается полезным статистическое исследование их относительной частоты; ср. SNH, стр. 63. Известно, что одна из основных трудностей для фонологической истории языков, сохранившихся только в письменности, состоит в том, что мы не знаем подлинной фонетической реализации и ее разнообразия.

<sup>99</sup> «Историческая грамматика» в классическом (младограмматическом) смысле не является какой-либо конкретной лингвистической дисциплиной. В качестве простого схематического перечня «диахронических соответствий» она является просто систематически упорядоченным сводом данных для истории.

что история языковых элементов, которые частично сохраняются, а частично изменяются или замещаются, является, очевидно, историей традиции, т. е. историей культуры. Однако она является историей не только *другой*, внеязыковой культуры, отражающейся в данных элементах (прежде всего в лексике), но в первую очередь историей той специфической и важной формы культуры, которую образуют сами эти элементы (ср. II, 3.3).

3.3.2. Соссюр сводит историю языков к простой «атомистической» диахронии и противопоставляет последней системность синхронии, потому что при его понимании языка как «готового объекта», а языкового изменения как «случайного повреждения» понятие истории как таковой лишается смысла. Однако, встав на точку зрения реальности языка, приходится признать, что чистая диахрония лишена смысла, если только не трактовать ее как простой перечень свершившихся материальных фактов. Мы уже показали, что игнорировать грамматические изменения нельзя и что если под «грамматическим» понимать системное, то и фонетические изменения становятся грамматическими. Мы видели также, что изменения не являются ни «изолированными», ни «внешними по отношению к системе», ни «случайными» (ненамеренными). Однако необходимо напомнить еще и следующее: чтобы оставаться логически связанной, диахрония (диахроническая лингвистика) рассматривает только изменение и игнорирует непрерывность языка, а это серьезная ошибка, поскольку при новом упорядочении элементов, возникшем в результате изменений, сохраняемое не остается неизменным, даже если оно материально и не меняется. Например, недостаточно отметить, что в так называемой «вульгарной латыни» был утрачен средний род, ибо мужской и женский род, не противопоставленные среднему роду, не идентичны мужскому и женскому роду классической латыни: в вульгарной латыни произошло не просто исчезновение среднего рода, а перестройка всей системы рода. Точно так же в тех романских языках, где утратилась одна из трех степеней дейксиса латинского языка (т. е. где не сохранились все три значения *hic-iste-ille*), происходит полная перестройка системы указательных местоимений. Изменение не может быть воспринято вне непрерывности языка. Поэтому соссюровская диахрония, игнорирующая то, что сохраняется, не соответствует никакой реальности.

Соссюр считал, что диахрония соответствует звуковому изменению; однако это также неверно<sup>100</sup>.

3.3.3. В самом деле, абстрактный язык Соссюра лишен как разнообразия, так и исторической непрерывности. Соссюр понимал, что в действительности языки историчны (*geschichtlich*), но не понимал, как может быть историчной (*historisch*) лингвистика. Это объясняется тем, что его интуитивное представление о языке не совпадало с его концепцией языка. Интуитивно Соссюр представлял себе язык непрерывным во времени; однако в его концепции язык — это «состояние» или ряд «состояний», между которыми происходят изменения. В одном месте Соссюр указывает, что задачей лингвистики является «построение описания и истории всех языков»<sup>101</sup>. Но в дальнейшем он даже не допускает терминов *история* и *историческая лингвистика*: поскольку, пишет он, «политическая история включает как описание эпох, так и сообщения о событиях», употребление указанных терминов могло бы создать впечатление, будто, «описывая последовательные состояния языка, мы изучаем язык на оси времени», хотя в действительности мы занимаемся только синхронией. Занимаясь историей, «мы должны были бы рассматривать по отдельности явления, заставляющие язык переходить из одного состояния в другое»<sup>102</sup>. Однако при этом нарушается логичность исследования, так как приходится попеременно обращаться то к оси «следований», то к оси «одновременностей». По мнению Соссюра, исследования, начатые Боппом, логически не безупречны: «они лежат между двух областей из-за отсутствия должного различения состояний и их последовательности»<sup>103</sup>.

---

<sup>100</sup> Р. Уэллз (цит. статья, стр. 24) справедливо замечает, что диахроническая лингвистика «не может игнорировать синхронические отношения, ибо диахроническое тождество между знаком состояния  $S_1$  и знаком более позднего состояния  $S_2$  может быть установлено только с помощью рассмотрения как фонемного состава этих знаков, так и их отношений с другими современными им знаками».

<sup>101</sup> CLG, стр. 46.

<sup>102</sup> CLG, стр. 148—149.

<sup>103</sup> CLG, стр. 151. Ср. также стр. 233: Нужно помнить о различии между синхронией и диахронией и «не утверждать легкомысленно, будто мы создаем историческую грамматику, когда на самом деле мы последовательно продвигаемся сначала в области диахронии, изучая фонетическое изменение, а затем в области синхронии, исследуя вызванные этим изменением последствия»; стр. 147: на

Таким образом, для Соссюра история языков — это просто логическая несообразность. Эта несообразность может быть необходимой, потому что «каждый язык практически образует единый объект исследования, и сила вещей заставляет нас попеременно рассматривать язык исторически [диахронически] и статически<sup>104</sup>», но от этого она не перестает быть теоретической несообразностью. Однако почему же тогда каждый язык представляет собой единый объект исследования? Соссюр не учел, что если нечто навязывается «силой вещей» (т. е. действительностью), то тут не может быть несообразности; такое явление должно быть теоретически мотивировано и объяснено. Соссюр не учел, далее, что все его затруднения отпадают, если признать, что изменения не могут происходить «между состояниями» и вне языка, что нет чистого «следования» и что «состояния языка» — это не статические этапы, а моменты непрерывной «систематизации». Для Соссюра язык находился в особом положении, отличном, например, от ситуации, в которой находятся объекты, изучаемые политической историей: «Политическая история государств движется только во времени; однако, когда какой-нибудь историк рисует картину определенной эпохи, нам кажется, что мы не выходим за пределы истории»<sup>105</sup>. Таким образом, Соссюр не заметил своей ошибки, которая состоит как раз в обратном: в предположении, будто, строя описание «состояния языка», мы выходим за пределы истории<sup>106</sup>. В действительности описание исторического объекта — это момент его истории.

---

оси последовательности «невозможно наблюдать более одной вещи одновременно»; и стр. 148: в лингвистике множественность знаков «полностью лишает нас возможности одновременно изучать отношения знаков во времени и отношения знаков в системе». Ср. 1.2.2.

<sup>104</sup> CLG, стр. 174.

<sup>105</sup> CLG, стр. 146. История языков, разумеется, отличается от политической истории (потому что язык вопреки тому, как иногда утверждают, — это не «установление»), но не в соссюровском смысле.

<sup>106</sup> «Внеисторической» (в том смысле, что она не рассматривает какой-либо *определенный* исторический объект) является теория языка — изучение языка в «универсальном плане», т. е. «языка как рода». Это, разумеется, не означает, что теория должна игнорировать историчность языка. Однако, к сожалению, Соссюр допустил смешение между планом описания и планом теории; ср. сн. 61. Это смешение сохраняется и в определенном смысле даже усугубляется в глоссематике. Этим объясняется недоверие глоссематики к истории, которая рассматривается как история случай-

3.3.4. Антиномия, или разрыв, между синхронией и диахронией (между синхронической и диахронической лингвистикой) основывается, по существу, на ложном понимании истории и отношений между историей и описанием. Соссюр полагает, что как синхрония игнорирует диахронию (прошрое), так и диахрония должна игнорировать синхронию («состояния языка»). Однако лишь первое из этих утверждений является правильным. Действительно, при синхронном исследовании определенного «состояния языка» невозможно одновременно рассматривать другие состояния и смешивать в одном моменте целый ряд моментов истории языка; это может привести к логически несвязному и хаотическому описанию. Диахрония, напротив, не может игнорировать синхронию или, точнее, «синхронии» — бесчисленные «состояния языка», упорядоченные по так называемой «оси последовательностей»; дело не в том, что диахрония зависит от синхронии как таковой, а в том, что игнорировать синхронию при диахроническом исследовании — это значит игнорировать язык, непрерывно развивающийся во времени, т. е. оказаться вне исследуемого объекта. Один момент истории языка может быть описан без обращения к другим моментам в том же смысле, в каком часть может быть отделена от целого или один этап от всего процесса. Однако при описании целого нельзя игнорировать его частей, а при описании процесса нельзя игнорировать его этапов. Аналогичным образом исследование «систематизации» не может игнорировать моментов этой систематизации. Описание «независимо» от истории в том смысле, что оно не включает ее в себя; однако описывать момент в развитии исторического объекта — значит уже заниматься историей, «хотя бы и не осознавая этого». Обратное, история

---

ных фактов (ср. L. Hjelmslev, *Prolegomena*, стр. 4—5), а также убеждение, что в теории необходимо игнорировать изменение, поскольку изменение не нарушает, а только закрепляет «постоянное» в языке. Представители глоссематики полагают, что, изучая только структуры и игнорируя движение, они окажутся на уровне современной научной мысли. Однако и здесь лингвистика еще раз опоздала. Уже давно современная научная мысль, отчетливо осознав роль структур, снова стала рассматривать действительность как бесконечный процесс. Основная проблема современности — это проблема включения структур в процессы. В настоящее время больше чем когда-либо настаивают на историчности человека и его творений.

противопоставлена описанию, но в особом смысле: история не является описанием, но «охватывает» его и предполагает его. Поэтому соссюрэвская синхрония (за исключением ее претензии выйти за пределы описательного) совершенно законна и необходима; она представляет собой ценный вклад в лингвистическую науку. Что же касается его диахронии, то она полностью неприемлема. Поэтому даже нечего и пытаться примирить диахронию с синхронией: от соссюрэвской диахронии необходимо отказаться. Чистая диахрония не имеет смысла; она должна быть превращена в историю языка. В самом деле, история языка преодолевает антиномию между синхронией и диахронией, поскольку является отрицанием атомистической диахронии и в то же время не противоречит синхронии.

3.3.5. Термины «синхроническая лингвистика» и «диахроническая лингвистика», ведущие к противоречиям и ошибкам, также неприемлемы и их следует избегать. Термины «описательная лингвистика» и «историческая лингвистика», несомненно, лучше; однако и они являются спорными, так как вызывают представление о двух различных противопоставленных лингвистиках, тогда как в действительности описательная лингвистика — это лишь часть (причем первая часть) лингвистики исторической. Следовательно, было бы лучше говорить просто об *описании* и *истории языка*. Как описание, так и история языка соответствуют историческому уровню речевой деятельности (ср. II, 2.1) и вместе образуют *историческую лингвистику* (исследование языков), которая в свою очередь соотносится с *лингвистикой речи* и *лингвистикой текста*, соответствующими прочим уровням<sup>107</sup>.

4. Понимание развития языка как непрерывной «систематизации» позволяет извлечь рациональное зерно из утверждений о «синхронной природе» языка и о «неизменчивости» языковых систем.

Язык всегда «синхроничен» — в том смысле, что он функционирует синхронно, т. е. что он всегда «синхронизирован» с говорящими; историчность языка совпадает с историчностью говорящих. Но это не означает, что язык «не должен изменяться»; напротив, он должен непрерывно изменяться, *для того чтобы продолжать функционировать*. Во-вторых, система сама по себе «неизменна» в том смысле, что она не содержит причин изменения и не развивается сама по себе: система не «эволюционирует», а создается говорящими в соответствии с их потребностями выражения. В-третьих, язык изменяется непрерывно,

---

<sup>107</sup> Ср. «Determinación y entorno», стр. 33.

но изменение не разрушает его и не отнимает у него свойства «быть языком», которое постоянно сохраняется. Однако это не означает, что свойство «быть системой» не зависит от изменения; совсем наоборот, изменение в языке — совершенно не то, что изменение в мире природы. Естественные объекты и организмы «разрушаются» изменением: оно превращает их в нечто новое или убивает их. Что же касается изменения в языке, то это не «искажение» или «повреждение», как говорят, используя натуралистическую терминологию, а восстановление, обновление системы, которое обеспечивает ее непрерывность, ее функционирование. *Язык создается посредством изменения* и «умирает» как таковой, когда он перестает изменяться. Наконец, было бы ошибкой полагать, что язык изменяется непосредственно или путем «непрекращающихся флуктуаций». Непрерывно изменяются реализации языка и, следовательно, его равновесие. Однако *система* как «система возможностей» всегда сохраняется и за рамками синхронии; и в каждом конкретном случае она остается «той же самой», до тех пор пока не произойдет «мутация», полный переворот *нормы* в том или ином направлении. Однако устойчивость системы во времени не означает, будто язык по своей природе «синхроничен» или «неизменчив»: устойчивость системы является следствием ее историчности. Язык создается, но его формирование является *историческим*, а не повседневным формированием — формированием в рамках устойчивости и непрерывности. Таким образом, язык, рассматриваемый в два последовательных момента его истории, не является «ни совершенно другим, ни в точности тем же самым». Именно то, что язык остается частично идентичным самому себе и одновременно включает в себя новые традиции, обеспечивает его функционирование как языка и его характер «исторического объекта». Исторический объект является таковым только в том случае, если он одновременно есть непрерывность и следование. Напротив, объекты, представляющие собой только непрерывность (например, идеальные виды) или только следование (например, фазы луны или приливы и отливы), не могут иметь никакой истории.

## СОДЕРЖАНИЕ

I. Явный парадокс языкового изменения. Абстрактный язык и синхронная проекция . . . . .	5
II. Абстрактный язык и конкретный язык. Язык как исторически обусловленное «умение говорить». Три проблемы языкового изменения . . . . .	18
III. Логические основы изменения. Импровизация и принятие. Фонетические законы . . . . .	45
IV. Общие условия изменения. Системная и внесистемная обусловленность. Устойчивость и неустойчивость языковых традиций . . . . .	77
V. Языковое изменение как историческая проблема. Смысл и границы «генетических» объяснений . . . . .	101
VI. Причинные и целевые объяснения. Диахронический структурализм и языковое изменение. Смысл «телеологических» интерпретаций . . . . .	126
VII. Синхрония, диахрония и история . . . . .	171

## Издательство УРСС

специализируется на выпуске учебной и научной литературы, в том числе монографий, журналов, трудов ученых Российской Академии наук, научно-исследовательских институтов и учебных заведений.



### **Уважаемые читатели! Уважаемые авторы!**

Основываясь на широком и плодотворном сотрудничестве с Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом, мы предлагаем авторам свои услуги на выгодных экономических условиях. При этом мы берем на себя всю работу по подготовке издания — от набора, редактирования и верстки до тиражирования и распространения.

Среди недавно вышедших книг мы предлагаем Вам следующие.

#### **Серия «Новый лингвистический учебник»:**

*Баранов А. Н.* Введение в прикладную лингвистику.

*Бурлак С. А., Старостин С. А.* Введение в лингвистическую компаративистику.

*Кобозева И. М.* Лингвистическая семантика.

*Плунгян В. А.* Общая морфология: Введение в проблематику.

#### **Серия «Лингвистическое наследие XX века»:**

*Балли Ш.* Общая лингвистика и вопросы французского языка. 2-изд.

*Иванов А. И., Поливанов Е. Д.* Грамматика современного китайского языка.

*Иванов В. В.* Хеттский язык.

*Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении.

*Пизани В.* Этимология (история, проблемы, метод).

*Рерих Ю. Н.* Тибетский язык.

*Селищев А. М.* Старославянский язык.

*Улуханов И. С.* Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания.

*Шахматов А. А.* Синтаксис русского языка.

#### **Серия «Школа классической филологии»:**

*Нидерман М.* Историческая фонетика латинского языка.

*Шантрен П.* Историческая морфология греческого языка.

*Эрну А.* Историческая морфология латинского языка.

#### **А так же следующие книги:**

**Язык: теория, история, типология.** Ред. *Бабенко Н. С.*

*Звегинцев В. А.* Предложение и его отношение к языку и речи.

*Звегинцев В. А.* Язык и лингвистическая теория.

*Золотова Г. А.* Коммуникативные аспекты русского синтаксиса.

По всем вопросам Вы можете обратиться к нам:  
тел./факс (095) 135-44-23, тел. 135-42-46  
или электронной почтой [urss@urss.ru](mailto:urss@urss.ru).  
Полный каталог изданий представлен  
в Интернет-магазине: <http://urss.ru>

**Издательство УРСС**

Научная и учебная  
литература



Э.Косериу — профессор Тюбингенского университета, в прошлом руководитель отделения лингвистики в Монтевидео (Уругвай) — является автором большого количества работ, затрагивающих наиболее острые проблемы современного теоретического языкознания.

Предлагаемая читателям книга, как и все теоретические работы Э.Косериу, отличается широким научным кругозором, хорошей документированностью и смелостью мысли. Э.Косериу, будучи в курсе как старой, так и самой новейшей лингвистической литературы, для решения собственно лингвистических вопросов нередко прибегает к общефилософским посылкам (используя труды философов от Аристотеля и св. Августина до Дюркгейма и Хайдеггера). Он делает немало тонких разграничений и замечаний. Употребляя несколько условное разделение, его работу следует отнести не столько к теоретическому (или общему) языкознанию, сколько к философии языка.



### Эдиториал УРСС

научная и учебная литература



Тел./факс: 7 (095) 135-44-23  
Тел./факс: 7 (095) 135-42-46  
E-mail: [urss@urss.ru](mailto:urss@urss.ru)  
Каталог изданий  
в Internet: <http://urss.ru>